



ТЕМНЫЙ КАРНАВАЛ

СПУСТЯ ПОЛВЕКА ЭТИ РАССКАЗЫ
НИСКОЛЬКО НЕ УТЕРЯЛИ
СВОЕЙ ВОЛШЕБНОЙ СИЛЫ.

КЛАЙВ БАРКЕР

РЭЙ БРЭДБЕРИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР. ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЛЕР



ТЕМНЫЙ
КАРНАВАЛ

РЭЙ БРЭДБЕРИ

Санкт-Петербург
ДОМИНО



ЭКСМО
Москва
2011

УДК 82(1-87)
ББК 84(7США)
Б 89

Ray Bradbury
DARK CARNIVAL

Copyright © 1947, 2001 by Ray Bradbury

Перевод с английского Людмилы Бриловой, Сергея Сухарева

Составители серии Александр Гузман, Александр Жикаренцев

Оригинал-макет подготовлен Издательским домом «Домино»

Брэдли Р.
Б 89 Темный карнавал : рассказы / Рэй Брэдли. — М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. — 496 с. — (Интеллектуальный бестселлер).

ISBN 978-5-699-45738-0

Книга, которую вы держите сейчас в руках, поистине уникальна — это самый первый сборник Брэдли, с тех пор фактически не переиздававшийся, не доступный больше нигде в мире и ни на каком языке вот уже 60 лет! Отдельные рассказы из «Темного карнавала» (в том числе такие классические, как «Странница» и «Крошка-убийца», «Коса» и «Дядюшка Эйнар») перерабатывались и включались в более поздние сборники, однако переиздавать свой дебют в исходном виде Брэдли категорически отказывался. Переубедить мэтра удалось ровно дважды: в 2001 году он согласился на коллекционное переиздание крошечным тиражом (снабженное несколькими предисловиями, авторским вводным комментарием к каждому рассказу и послесловием Клайва Баркера), немедленно также ставшее библиографической редкостью, а в 2008-м — на российское издание.

УДК 82(1-87)
ББК 84(7США)

© Л. Брилова, перевод на русский язык, 2011
© С. Сухарев, перевод на русский язык, 2011
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2011

ISBN 978-5-699-45738-0

Посвящается Гранту М. Бичу



*Спасибо Джулии Шварц, которая пристраивала
многие из этих рассказов, за ее поистине герои-
ческие старания.*

Заметки издателя

*

Донн Олбрайт

На дворе стоял 1950 год. Дело происходило в Манси, штат Индиана. Мне было тринадцать; прошлым летом я влюбился в рассказы Рэя Брэдбери. Мы с нашей приятельницей Адой Маккинли направлялись в Йорктаун, на праздничный обед в рождественский сочельник. Ада обернулась к заднему сиденью нашего «меркьюри» сорок седьмого года выпуска и протянула мне небольшой пакетик.

Это был «Темный карнавал». Он стал первой книгой Брэдбери, которая попала мне в руки. Открыв страницу с содержанием, я удивился. Названия не походили на научную фантастику. Добравшись до ресторана, мы расположились в уютной кабинке в глубине зала. Сделали заказ, и я начал читать «Когда семейство улыбается». И тут отключилось электричество. Рождественский сочельник, горят свечи, я читаю «Темный карнавал». Красота, да и только.

Что Рэй Брэдбери — один из лучших американских мастеров малоформатной прозы XX века, широко известно; практически все его романы и сборники рассказов до сих пор допечатываются, иные в нескольких изданиях одновременно. При столь устойчивой популярности книг Брэдбери с трудом веришь, что самое раннее его собрание рассказов, «Темный карнавал», вышедшее ограниченным тиражом в 1947 году (издательство «Аркхем-Хаус») и еще меньшим тиражом в 1948 году (английское издательство «Хеймиш

Гамильтон»), с тех пор не перепечатывалось. Ныне, полвека спустя, мне выпала честь выпустить в свет первое после долгого перерыва издание этой книги.

Вернуть эту книгу в руки читателей Брэдбери было совсем не просто: свыше трех с половиной десятилетий Рэй и его литературный агент упорно отказывались от переиздания «Темного карнавала». Они всегда стояли на том, что этот сборник рассказов ужасов почти полностью повторен в позднейшей «Октябрьской стране», однако я с ними не соглашался. В «Октябрьской стране» выпущена чуть ли не половина историй «Темного карнавала» и добавлены четыре новые, написанные в пятидесятых годах. Все оставшиеся рассказы «Темного карнавала» в той или иной степени переработаны, многие попросту переписаны. В прошлом году, после некоторых споров, Рэй наконец уступил — более того, воодушевился идеей перепечатать в исходном виде его первый сборник рассказов.

У меня имеется немало случайных материалов, относящихся к «Темному карнавалу», а также к журналам (и «палповым», и «глянцевым»), где впервые увидели свет многие рассказы, и я думал, не использовать ли кое-что из этих сведений в новом издании. Энн Хардин предложила воспроизвести здесь обложки «Таинственных историй», и мне пришло в голову: будет занятно, если иллюстрациями к рассказам послужат обложки журналов, где эти рассказы впервые появились. Это послужит наглядным свидетельством того, как, опубликовав в 1947 году сборник, Рэй в буквальном смысле распрощался с дешевыми палп-журналами. Мне подумалось также, что книгу украсили бы воспоминания самого Рэя — хотя бы самые краткие — о каждом из рассказов, и он любезно согласился дать мне интервью; его комментарии приводятся здесь в качестве вступлений.

Благодарности

Глубоко признателен профессору Джону Эллеру из Индианского университета за предисловие и разнообразное прочее содействие, в особенности за помощь в записи на бумагу и редактировании интервью, взятого мною у Рэя Брэдбери. Спасибо Клайву Баркеру за умное и содержательное послесловие, красиво завершившее настоящее издание «Темного карнавала». Спасибо Энн Хардин и Форри Акерману: они значительно облегчили мне жизнь с фотокопированием. Спасибо Джейсону Марки за помощь в записи интервью с Рэем. Корректору Пэм Герхарт — за то, что не пожалела времени и внимания. От души благодарю Бадди Мартинеса: я воспользовался его информацией при подготовке книги и техническими знаниями при разработке макета долгожданного нового издания «Темного карнавала». Благодарю, разумеется, и Барри Хоффмана: три года он не устал меня подталкивать, чтобы я уговорил Рэя дать разрешение, и он же посодействовал с организацией. И всегдашняя моя благодарность Мэгги, которая дважды в год терпит мои «гастроли» под их кровом, привечая меня как родного.

Спасибо и Вам, Рэй.

*Донн Олбрайт
Уэстфилд, Нью-Джерси
Август 2001*

Темный карнавал

История

*

Джонатан Эллер

Еще до своей публикации (весной 1947 года) первая книга Брэдбери вылилась в ретроспективный обзор первоначального (и, возможно, наиболее важного) этапа его творческого пути. К 1946 году писатель успел раскрыть себя как автора «черной» прозы; в отцовом гараже, под гул местной электростанции, расположенной по соседству, он лепил из метафор и собственного опыта все новые истории, которые все чаще приобретали у него солидные мейнстримовые журналы. Однако летом того же года 26-летний Брэдбери составил сборник «Темный карнавал», где продемонстрировал свои первые успехи в качестве автора весьма необычных рассказов, относящихся к данному жанру. Его лучшие рассказы 1943–1946 годов основаны не на традиционных для жанра сюжетных схемах, а на собственных детских надеждах и страхах. Более чем десятью годами спустя Брэдбери в интервью для Южнокалифорнийского университета в Лос-Анджелесе вспомнит и глубоко проанализирует причины своего первого успеха: «Во многих отношениях я был наивен чуть ли не до глупости, но одно я знал хорошо. Я знал собственные кошмары и страхи, боязнь бытия...»*

* Cunningham Interview, 1961 UCLA Oral History Program transcript, p. 128. (Интервьюер — Каннингем, 1961, ЮКЛА. Программа устной истории, расшифровка стенограммы, с. 128.)

Многие из рассказов «Темного карнавала» имели бы успех и у более широкой публики, и, пока сборник находился в печати, три рассказа появились в «глянцевой» периодике. Но и прочие, напечатанные в палп-журналах, пользовались устойчивой популярностью. «Озеро», «Толпа», «Крошка-убийца» многократно переиздавались, а в 1980-х годах Брэдбери переработал их все для телесериала «Театр Рэя Брэдбери». «Ночь» и «Постоялец со второго этажа» относятся к самым ранним историям о Гринтауне, они составили в конечном счете часть более крупного полотна, откуда возникнет «Вино из одуванчиков». В «Возвращении», «Страннице», «Дядюшке Эйнаре» Брэдбери обобщил первые «семейные» рассказы о вампирах; в результате полувекового развития они сложились в самостоятельный роман — «Из праха восставшие» (2001).

Истории эти положили начало нескончаемым сериям рассказов, выходившим в то время, когда о дешевых журналах давно уже было забыто, и неудивительно, что Брэдбери при работе над «Темным карнавалом» внес изменения в большую часть первоначальных журнальных вариантов. Начиная с данной подборки Брэдбери принялся также пересматривать и модифицировать содержание целых своих томов. Эта склонность сохранилась у него и в дальнейшем; собственно говоря, он никогда не прекращал работу над первой своей книгой. За месяцы, предшествующие публикации, он добавлял в сборники одни рассказы и изымал другие; в последующие пятнадцать лет «Темный карнавал» составил основу двух сборников: «Октябрьская страна» (1955) и «Крошка-убийца» (вышел в Англии в 1962-м). Брэдбери переделывал рассказы, иные — не один раз, часто публиковал их в журналах и антологиях. Отно-

шение к проекту «Темный карнавал» как к переходному звену отражало стремительные перемены, происходившие в те годы с писательской судьбой самого автора; его стремление перерабатывать и обнародовать заново рассказы из этого сборника расходилось иной раз с пожеланиями его друга и первого издателя — Огаста Дерлета, основателя «Аркхем-Хауса».

Переписка с Дерлетом началась, когда Брэдбери еще не был профессиональным литератором. В 1939 году Дерлет с партнером Дональдом Вандреем основали «Аркхем-Хаус», чтобы опубликовать собрание сочинений (а со временем и писем) Г. Ф. Лавкрафта. Всеми издательскими и финансовыми делами Дерлет занимался в своем доме в Сок-Сити (штат Висконсин); в ноябре 1939 года туда поступил восторженный отклик Брэдбери на первый вышедший в свет том Лавкрафта — «Изгой и другие»*. Помимо общих вкусов в жанре «черной» прозы у них обнаружились сходные склонности в музыке, поэзии и даже в газетных комиксах: возникла заочная дружба. А с 1942 года, когда в «Таинственных историях» (самый долговечный и широко известный из американских палп-журналов, печатавших фэнтези) стали появляться рассказы Брэдбери, симпатия Дерлета перешла в искреннее восхищение.

Проза Брэдбери изрядно отличалась от того, что обычно предлагалось читателю «Таинственных историй», однако редактор Дороти Маклрейт, ценя уникальный стиль и талант Брэдбери и желая сотрудничать с ним на постоянной основе, с готовностью поступа-

* Peter Ruber. *Arkham Masters of Horror*, p. 262 (Питер Рубер. «Аркхемовские мастера ужасов», с. 262). Письма Брэдбери, которые цитирует Рубер, хранятся, возможно, в архиве «Аркхем-Хауса», однако в томе не содержится ссылок на источники. Рубер приводит дату восторженного отзыва Брэдбери — 23 ноября 1939 г.

лась ради него обычными издательскими принципами. Огаст Дерлет, печатавшийся в «Таинственных историях» с середины 1920-х годов, очень скоро оценил выдающийся масштаб дарования своего юного друга. Их произведения появились одновременно в мартовском выпуске «Таинственных историй» за 1943 год; в майском, июльском и ноябрьском номерах того же года также имелись рассказы Брэдбери. Из двенадцати выпусков журнала за 1944 год рассказы Брэдбери появлялись в шести; еще тринадцать рассказов он поместил в другие палп-журналы, посвященные жанрам научной фантастики, фэнтези и детектива. В конце того же года Дерлет обратился к Брэдбери за подборкой рассказов для антологии «Кто стучится?», которую он готовил для издательства «Райнхарт». Отобранные рассказы понравились Дерлету, и в начале января 1945 года он предложил опубликовать сборник нетрадиционных «черных» рассказов Брэдбери, если молодой автор приищет для него какую-нибудь единую концепцию*. По этому предложению можно судить, насколько высоко Дерлет ценил талант Брэдбери: к тому времени он не ограничивался одним Лавкрафтом, а публиковал произведения знакомых авторов, уже известных как мастера «черного» жанра, однако при скудном бюджете фирмы такой риск, как ставка на новичка, можно было себе позволить лишь в редких случаях.

Вскоре Брэдбери предложил в качестве названия, а равно и концепции «Темный карнавал»; на супер-

* Ruber, p. 263. О предложении Дерлета Рубер, вероятно, догадался исключительно по отклику Брэдбери (письмо, надо полагать, хранится в архивах «Аркхем-Хауса»), однако ссылок на источник он снова не дает. Главный библиограф Брэдбери, Донн Олбрайт, замечает в интервью от 1 июня 2000 г., что Дерлет вначале желал определить концепцию сборника.

обложке он задумал изобразить сюрреалистический карнавал, отдавая главное место гротескной карусели: «Мне кажется, книга с подобной обложкой и названием ТЕМНЫЙ (то есть загадочный, странный и нечестивый) КАРНАВАЛ (то есть процессия, празднество, действо) должна хорошо продаваться»*. Однако, чтобы определить окончательный состав, пришлось еще немало потрудиться. Осложняло дело то, что спрос на рассказы Брэдбери стремительно возрастал, причем интересовались ими все больше и мейнстримовые журналы. Автор негласно признал эту смену направления, посвятив «Темный карнавал» Гранту Бичу, близкому приятелю, который в 1945 году убедил Брэдбери обратиться со своими рассказами в «глянцевые» журналы. Совет Бича быстро принес плоды: за одну лишь неделю в августе 1945 года у Брэдбери приняли три рассказа в крупные журналы (все три произведения относились к фантастике, рассчитанной на широкий круг читателей; они были перепечатаны в более поздних сборниках). Гонорара хватило, чтобы той осенью съездить вдвоем на два месяца в Мексику**. За этими событиями последовал его постепенный отход от палп-журналов, однако с мексиканскими странствиями был связан и другой, мрачный, опыт, который скажется на лучшем, возможно, из рассказов «Темного карнавала» — «Следующий». Кроме того, после поездки Брэдбери будет иначе представлять себе суперобложку книги: сцена карнавала с каруселью в центре

* Набросок письма Брэдбери к Дерлету от 8 марта 1944 [1945] г. из личного эпистолярного архива Брэдбери. Датирован 1944 г., однако внутренние ссылки на публикации рассказа не оставляют сомнений в том, что на самом деле черновик составлен в 1945 г.

** Cunningham Interview, pp. 164–167. Проданы были: «В дни вечной весны» («Коллиерз»), «Чудотворец» («Чарм») и «Мальчик-невидимка» («Мадемуазель»).

уступит место фотографическому коллажу из примитивных масок, собранных во время мексиканской одиссеи.

В ноябре 1945 года, когда обсуждение договора близилось к концу, Брэдбери впервые показал, что желает от издателей большей гибкости. Обычные условия, предлагавшиеся издательством «Аркхем-Хаус», временами вызывали трения между Дерлетом и авторами: предусматривалось, что Дерлету принадлежит право на все будущие публикации книги и половина дохода от будущих перепечаток отдельных рассказов. Брэдбери предположил, вполне справедливо, что делить в отношении пятидесяти на пятьдесят следует доходы от тех перепечаток в антологиях и журналах, что последуют за публикацией «Темного карнавала», но отнюдь не тех, что ей предшествовали. У Брэдбери в то время наступил подъем творческой энергии, оттого-то он и добивался максимально гибких условий; об этом особом творческом настрое как нельзя лучше свидетельствует и его постоянная работа над содержанием книги. Он продолжал удалять из перечня старые или не столь интересные рассказы, заменяя их новыми, более удачными, которые еще не появлялись в журналах. В июне 1946 года он представил Дерлету на рассмотрение полную машинописную рукопись «Темного карнавала»; одновременно он продолжал отсылать новые рассказы в мейнстримовые «глянцевые» издания. Таким образом Брэдбери сумел продать в крупные журналы «Возвращение», «Постояльца со второго этажа», «Водосток» и «Следующего»*.

* Именно эту дату представления рукописи указывает Рубер (с. 265). В интервью Каннингему (с. 144–150) Брэдбери описывает переговоры, которые вел тогда с крупными журналами.

Все эти продажи предшествовали публикации книги и не повели к особым трениям между автором и издателем. Споры возникали из-за поправок. Бюджет у Дерлета был ограниченный, издатель не рассчитывал на столь обширную правку гранок. Что касается рассказов, публиковавшихся прежде, немалая часть из них прошла правку заранее, однако новые рассказы автор еще не правил. В «Темный карнавал» вошло восемь новых рассказов, и некоторые из них были представлены в ноябре, как раз когда появилась страничная корректура*. Вероятно, Дерлет смирился с тем, что по истечении срока сдачи рукописи Брэдбери дополнил сборник еще несколькими рассказами, однако авторские поправки он терпел лишь до поры до времени. Этим, несомненно, объясняется тот факт, что вслед за сдачей рукописей в издательство три рассказа из сборника были проданы в журналы. Надо сказать, эти три рассказа («Возвращение», «Постоялец со второго этажа» и «Водосток») особенно озадачивают исследователей творчества Брэдбери. Все три журнальные публикации *предшествовали* книге, и все же при сравнении выясняется, что журнальные тексты представляют собой *более позднюю* редакцию. Дерлет все более строго подходил к правке, Брэдбери все более интересовался мейнстримовыми журналами — в результате тексты «Темного карнавала» были законсервированы на стадии корректуры, а работа над журнальными версиями продолжалась.

* Рубер, не приводя документальных свидетельств, утверждает, что к набору текста приступили в конце ноября (с. 265). Однако в письме Дерлету от Фредерика Даннэя от 12 ноября 1946 г. (у Брэдбери имеется его копия) содержится ссылка на Дерлета, утверждавшего, что страничная корректура «Темного карнавала» была готова уже в начале ноября.

Тем временем книга медленно, но верно готовилась к печати. Анонс «Темного карнавала» появился уже в весеннем каталоге «Архкем-Хауса» за 1946 год, однако само издание задержалось до весны 1947 года. Причиной послужили уже упомянутые пересмотр содержания, переработка корректуры, а также ограниченный бюджет издательства, определявший его планы. 10 мая 1947 года том был передан для депонирования, теперь Дерлету принадлежали права на перепечатку книги и 50% дохода от перепечатки отдельных рассказов, но он решительно возражал против того, чтобы Брэдбери самостоятельно продвигал книгу. Дерлет привык работать с авторами, по большей части его старыми приятелями, проза которых пользовалась спросом исключительно в рамках «черного» жанра; в отношении продаж он всецело полагался на своего давнишнего друга, в прошлом сотрудника палп-журналов, Отиса Адельберта Клайна. Но Брэдбери уже ему не подчинялся — как, впрочем, и всегда. С 1945 года он начал склоняться в сторону мейнстрима, один его рассказ был опубликован в «Лучших новеллах американских писателей за 1946 год», к 1947 году на популярных радиостанциях прошло уже несколько передач по его рассказам. По иронии судьбы, он повторял путь самого Дерлета, которого называли восходящей звездой десяток лет назад — до того, как тот, основав «Архкем-Хаус», взвалил на себя рискованное бремя мелкого издателя. Дерлет не завидовал успеху Брэдбери, он гордился его достижениями, но не хотел уступать решающее слово в коммерции ни ему, ни его новому агенту, Дону Конгдону.

В начале мая 1947 года, накануне дня выпуска книги в свет в Америке, европейский агент Дерлета договорился с Хеймишем Гамильтоном о публикации

«Темного карнавала» в Англии. Несомненно, Гамильтон оказался самым подходящим издателем для молодого автора: будучи наполовину шотландцем, наполовину американцем, он, до того как основать свое издательство (в 1931 году), возглавлял лондонское отделение издательского дома Харпера. С самого начала он выпускал по преимуществу художественную прозу и интересовался в первую очередь английскими и американскими сочинителями. Публикация «Темного карнавала» в Соединенном Королевстве была назначена на 1948 год. Это был последний год нормирования бумаги, из-за которого с 1940 года британские издатели вынуждены были свести ее потребление к 60% от довоенного*. В таких условиях Гамильтон не мог опубликовать сборник полностью; соответственно, семь названий было изъято, и урезанный сборник из двадцати рассказов был напечатан мелким шрифтом на тонкой бумаге. Три из устраненных рассказов относились, можно сказать, к незначительным наброскам: одностраничная «Дева» и двухстраничные «Срок» и «Ночь». Из лучших рассказов изъято было только два — «Гроб» и «Попрыгунчик», но они не были окончательно доработаны: впоследствии, перед включением в «Октябрьскую страну», Брэдбери подверг их значительной переделке. Еще двумя жертвами суровых послевоенных времен стали «Воссоединение» и «Коса».

Новые задержки случились из-за двух пожаров (в конторе Гамильтона и в его типографии), но в ноябре 1948 года «Темный карнавал» наконец добрался до английского книжного рынка (письмо Гамильтона

* Norrie, Ian, *Mumby's Publishing and Bookselling in the Twentieth Century*, 6th edtn (London: Bell & Hyman, 1982, p. 91) (Норри, Иэн. «Книгоиздание и книжная торговля в XX веке. Составлено Мамби». 6-е издание. Лондон. «Белл и Хайман», 1982, с. 91).

к Брэдбери от 15 августа 1949 года). На задержки досадовать не приходилось: главное, несмотря на послевоенное вялое состояние издательского бизнеса в Британии, Гамильтон был готов опубликовать сборник оригинальных рассказов, а также уделить личное внимание молодому американскому автору. Британское издание было в конце концов распродано, однако Гамильтона не интересовали плохо расхвалившиеся книги и он не стал переиздавать «Темный карнавал»*. У Брэдбери, как правило, завязывалась длительная дружба с его основными редакторами и издателями, и Гамильтон не стал исключением, но свои следующие книги, в том числе и «Октябрьскую страну», молодой американский автор стал отдавать для публикации Руперту Харт-Дэвису.

Огаст Дерлет тоже после «Темного карнавала» ничего из Брэдбери не публиковал. Первая его книга в Америке не переиздавалась; при единственном тираже, едва превышавшем 3000 экземпляров, «Темный карнавал» сделался самым редким из художественных произведений Брэдбери, изданных у него на родине**. Дерлет был добрым другом, сыграл полезную роль как издатель, но Брэдбери просто перерос профессиональную сторону их отношений. Он писал уже для гораздо более широкой аудитории; кроме того, поскольку права на переиздание «Темного карнавала» принадлежали Дерлету, реализация книг Брэдбери была затруднена,

* Norrie, p. 131. В переписке Брэдбери с Рупертом Харт-Дэвисом по поводу «Октябрьской страны» имеется указание, что к 1954 г. «Темный карнавал» в Англии был распродан.

** В выходных данных указан тираж 3000, однако в «Thirty Years of Arkham House» («Тридцатилетие Аркем-Хауса») Дерлет приводит число 3112. Почти таким же редким является рекламное издание «Октябрьской страны» в твердой обложке, за ним следуют твердообложечные «Марсианские хроники» и «451° по Фаренгейту».

а его литературный агент, Дон Конгдон, был практически отстранен от повторных продаж его наиболее удачных ранних рассказов. Со своей стороны Брэдбери всегда был верен духу их с Дерлетом договора, отчисляя обусловленные проценты, однако из-за Дерлета он упускал одну возможность за другой, и это было досадно. О честности и искренности обоих свидетельствует то, как они умели разделять личные и деловые взаимоотношения; Брэдбери всегда был благодарен Дерлету за его добрые чувства и уважительное внимание; дружба их продлилась всю жизнь. Однако в вопросах маркетинга их взгляды расходились и разногласия возникали постоянно, пока в 1954 году, на фоне растущего коммерческого успеха книг Брэдбери, складской запас сборника не был исчерпан. К тому времени Дерлет осознал, что прощание Брэдбери с «Аркхем-Хаусом» неизбежно. В 1953 году он отказался от всех прав на переиздание книги, а на следующий год изъяс «Темный карнавал» из своего каталога и товарного перечня, сохранив за собой только право на перепечатку рассказов из этого сборника в журналах и антологиях. Когда Брэдбери начал править и переименовывать свои ранние рассказы, чтобы подготовить их к новым изданиям у других издателей, Дерлету оставалось только надеяться, что тот когда-нибудь — хоть ненадолго — вернется к тому разряду литературы, с которого начинал:

Конечно, я желал бы украсить свой каталог хорошей книгой Брэдбери, однако мне ясно, что Ваши текущие соглашения с агентами и другими издателями это исключают. Но может, Вам как-нибудь вздумается сочинить нечто из разряда нестандартной фантастики, длиной в пятнадцать—двадцать пять

тысяч слов, не подходящее для других издательств, и тогда мы могли бы выпустить эту книгу ограниченным тиражом*.

Этому пожеланию не суждено было исполниться; собственно, Дерлет и сам понимал, что не может соперничать с более широким рынком, куда успешно вышли к началу 1950-х годов Брэдбери с Конгдоном**. Брэдбери в самом деле приспособил свои «черные» истории для более широкого читателя, заменил часть рассказов новыми и заново их упорядочил при включении в сборник, названный «Октябрьская страна».

Для «Октябрьской страны» автор существенно пересмотрел концепцию книги, но это не снижает значения пересмотра, сделанного во время работы над «Темным карнавалом». Из двадцати семи рассказов «Темного карнавала» шестнадцать были напечатаны прежде в палп-журналах, и при внимательном сравнении журнальных и книжных текстов обнаруживается, что все они в той или иной степени подверглись правке. Последним журнале был напечатан в «Кукольник»; неудивительно, что для «Темного карнавала» Брэдбери внес в него лишь две небольшие поправки. Еще одиннадцать рассказов были переделаны незначительно: «Скелет», «Банка», «Озеро», «Надгробный камень», «Когда семейство улыбается», «Крошка-убийца», «Толпа», «Воссоединение», «Поиграем в “отраву”», «Ночь» и «Мертвец». Брэдбери переработал описания и сократил диалоги, однако сюжета и персонажей почти не касался. Три текста подверглись на пути от журналов к «Темному карнавалу» более существенной пе-

* Письмо Дерлета к Брэдбери от 26 июня 1954 г. Это письмо, а также другое, от 9 мая 1953 г., хранятся в личном архиве Брэдбери.

** Письмо Дерлета Нельсону Бонду, дата неизвестна; цитируется у Рубера, с. 268.

ределке: в «Страннице», «Косе» и «Жила-была старушка» пересмотрены описания и диалоги. Брэдбери прошелся по ним с начала и до самого конца, но общий замысел всюду сохранил.

И только один журнальный рассказ, «Ветер», был переписан для «Темного карнавала» полностью. Это был один из самых ранних рассказов, включенных в сборник, и можно с уверенностью предположить, что Брэдбери переписал его до лета 1946 года, когда сдал Дерлету рукописи «Темного карнавала». К шестнадцати рассказам, публиковавшимся ранее, он добавил три, предназначенные для гляцевых журналов («Постоялец со второго этажа», «Возвращение» и «Водосток»), и завершил сборник восьмью новыми историями, которые никогда не появлялись в периодической печати. В 1955 году, когда Брэдбери в сотрудничестве с издателем Иэном Баллантайном готовил обновленную версию «Темного карнавала» к представлению в новой земле теней — «Октябрьской стране», эти двадцать семь рассказов вновь подверглись перделке. Пятнадцать текстов «Темного карнавала» были перенесены в «Октябрьскую страну», и с тех пор по сей день они постоянно допечатываются как в США, так и за границей.

Однако при внимательном сравнении двух сборников обнаруживается, что расхождения между ними отнюдь не ограничиваются содержанием. Брэдбери внес во все пятнадцать рассказов небольшие стилистические изменения, однако он серьезно пересмотрел и отчасти переписал шесть из них — хотя версии давно не переиздававшегося «Темного карнавала» были весьма хороши. В «Октябрьскую страну» вошли журнальные варианты «Постояльца со второго этажа», «Возвращения» и «Водостока» — три рассказа, которые Брэдбери переработал для «гляцевых» журналов,

в то время как более ранние варианты (более длинные, но, несомненно, не менее тщательно отделанные) проходили корректуру для «Темного карнавала». Позднее, готовя для Баллантайна «Октябрьскую страну», Брэдбери полностью переписал три истории, впервые увидевшие свет в составе «Темного карнавала»: «Гонец», «Попрыгунчик» и «Дядюшка Эйнар». Также и в данном случае более ранние версии (из «Темного карнавала») ничем не уступали поздним: произошла всего-навсего смена концепции.

Данное издание «Темного карнавала», принятое издательством «Гонтлет», означает, что первый сборник Рэя Брэдбери после более чем полувекового забвения возвращается к жизни. Но оно значит еще больше: в новом издании шесть хорошо известных рассказов Брэдбери восстановлены в варианте более раннем, чем тот, который вошел в «Октябрьскую страну», — а соответственно, недоступном большинству молодых читателей. Новое издание является полным: в него включена и дюжина рассказов «Темного карнавала», не включенных в «Октябрьскую страну», в том числе одни из лучших у раннего Брэдбери — «Мертвец» и «Гроб». На страницах этого сборника читатель вновь обнаружит любимые в детстве, а ныне забытые страшилки, и истории эти представлены в варианте, содержащем в себе зародыши прозы Брэдбери 50-х годов в жанре научной фантастики и фэнтези. Эти «черные» рассказы были его первыми детищами, и некоторые из них он продолжал взращивать и позднее. Ныне, впервые за полвека, они предстанут перед нами в прежнем виде — как странные прогулки по темным карнавалам сознания.

Возвращение на Темный карнавал

*

Рэй Брэдбери

По предложению Донна Олбрайта я должен открыть здесь то, о чем никогда прежде не рассказывал.

В какой мере наша жизнь определяется генетикой и в какой — окружением, случайным или неслучайным? Я вот в десять лет надел на нос очки с толстыми, как бутылочное, стеклами: не этот ли толчок или пинок заставил меня свернуть на стезю писательства?

А те драчуны — может, я не видел их подслеповатыми глазами, а они все время караулили, чтобы наброситься на меня, когда я созрею?

Ждали, затаив вонючее дыхание, пока этот Крошка Летучая Мышь, этот Маленький Квазимодо свалится с дерева-убежища, чтобы с криками «Четырехглазый!» гнать меня от школьного двора до самого дома?

Похоже, такой размазня просто напрашивался на неприятности: однажды я явился в школу в новом костюмчике, и не прошло и часа, как меня сбили в грязь и мой лучший друг (возможно ли это?) хохотал, взгрозившись мне на грудь.

Я сдуру совершил промашку: пустился бежать. Они промашки не совершили: кинулись вдогонку.

Только в семнадцать лет я понял: нужно встать как вкопанный и отбиваться. Но было уже поздно, я удра-

пал в профессиональное сочинительство и скрывался там всю свою жизнь.

Надо добавить, что учась в школе, я скрывался в сочинительстве во время перерыва на ланч. Дома у меня не было пишущей машинки, а слова так и просились наружу, и потому я отправился к своей учительнице машинописи и попросил разрешения проводить полуденные часы у нее в пустой классной комнате. За неделю я начинал и заканчивал один-два рассказа, а за окном, на солнышке, гонялись забияки, хохотали, толкались и воображали, будто это весело; знали бы они, что мне в их смехе слышится смерть, в стуках же пишущей машинки — подобие бессмертия.

Дойдя до выпускного класса, я купил у Перри Льюиса из Лос-Анджелесского общества любителей научной фантастики подержанную портативную пишущую машинку. Она стоила пятнадцать долларов, и, чтобы ее купить, я пятнадцать недель экономил на ланчах, откладывая по двадцать пять пенсов в день, но это вложение оказалось самым удачным за всю мою жизнь. За последующие восемь лет я настукал на этом устройстве четыре сотни рассказов.

Я не однажды говорил, что начал учиться тому, как не попадаться на зуб динго, гиенам и барракудам в человеческом облике, перед самым окончанием учебы, когда пробовал устроиться на работу в различные нефтяные компании. Еще я побывал в нескольких банках. Будь то в коридоре бензиновой корпорации или в окошке латунной клетки, где заперты служащие Американского банка, стоило мне завидеть местную особь мужского пола, сердце у меня начинало отчаянно колотиться от страха. Я знал: если придется выживать в окружении таких же, как в школе, самцов, я задохнусь и умру.

Это было лишним мотивом, чтобы сочинять по две тысячи слов в день — из них свивалась веревка, чтобы вылезти из болота с алчущими тварями.

Итак, я вел жизнь отшельника, хотя не употреблял этого слова, не думал, что оно имеет ко мне отношение, и никому не признавался, чем руководствуюсь в жизни. Почти до тридцати лет я жил дома, делал свою работу, женился как раз в нужное время. И еще я ходил на вечеринки с друзьями — любителями научной фантастики, пил там кока-колу, заходил в незнакомые дома, присматривая себе пишущую машинку. Пока другие занимались пустыми разговорами, выпивкой или тем и другим вместе, я писал короткие рассказы и вырабатывал себе в жизни высокие цели и принципы. Спешу добавить: мораль тут ни при чем. Это был страх, детская боязнь потеряться в толпе, быть убитым в кровати. Что касается выпивки, я, подобно женщинам, открыл ее для себя в середине третьего десятка и она оставалась моим добрым спутником последние полсотни лет.

Мексика.

Прежде всего, какого черта меня туда понесло?

Вина и долг.

Вина состояла в том, что я всю жизнь, до самых двадцати пяти лет, просидел дома. А долг?

Меня пригласил в Мехико Грант Бич. Вторая мировая война закончилась, причин для отказа не было. За исключением денег. При удачном раскладе я зарабатывал сорок долларов в неделю — плюс-минус. В понедельник я сочинял первый черновой вариант рассказа, во вторник — второй, в среду, четверг и пятницу — третий, четвертый и пятый, утром в субботу отсылал свой опус по почте, в субботу вечером и воскресенье устраивал себе выходные, отправлялся в Сан-

та-Монику на пляж Масл-Бич, там наблюдал, как Ли Бреккет играет в волейбол с приятелями-мачо, читал ее новейший шедевр, пока она рвала на клочки мой негодный продукт или перевозносила его до небес; поздним воскресным вечером возвращался домой, а в понедельник правил прежний рассказ или начинал новый. Неделя шла за неделей, Мексика ждала, мой банковский счет оставался пустым.

Грант Бич стал меня подначивать. «У тебя в закромах куча хороших рассказов. Не тех, что для дешевых журналов, а хороших. Почему бы тебе их не перепечатать и не послать куда-нибудь? Купят хотя бы один — хватит денег для нашей поездки. Доставь себе удовольствие. Новая жизнь, новое окружение, новые люди. Ну как?»

«Идет», — сказал я и перепечатал три рассказа: «В дни вечной весны», «Мальчик-невидимка» и «Чудотворец». 19 августа «Чарм» приобрел «Чудотворца», 21 августа «Мадемуазель» — «Мальчика-невидимку», 22 августа, в мой день рождения, «Коллиерз» — «В дни вечной весны».

«Дорогой мистер Элиот, — говорилось во всех трех извещениях, — посылаем Вам чек на двести долларов, триста долларов, пятьсот долларов».

В панической спешке я отправил ответы.

«Меня зовут не Уильям Элиот. Пожалуйста, отправьте чек на имя...»

Почему я взял себе псевдоним?

Я боялся, как бы издатели этих журналов не увидели мое имя на обложке «Таинственных историй» и не подумали: черт, ну какой писатель из того, кто печатается в «Таинственных» и живет в Венеции, штат Калифорния.

Оказалось, однако, что никому даже не попадались на глаза «Таинственные истории», а уж о том, чтобы

прочитать ту высокохудожественную продукцию, какою я их пополнил, речи и вовсе не шло.

Чеки прибыли, я сделался богачом.

Тысяча долларов в банке тогда — это как десять тысяч нынче. Мать вскрикнула. Брат фыркнул. И у отца, когда он меня разглядывал за завтраком, светился в глазах непривычный огонек. Так может, из ребенка все же выйдет толк?

«Ну вот, — сказал Грант Бич, — теперь тебе не отвертеться. Твой путь лежит в Мексику. Если б я тебя не допек, ты бы все так же работал на “Таинственные” по тридцать баксов за рассказ».

Чем мне оставалось крыть? Он был прав. Вся моя жизнь перевернулась, оттого что он оглоушил меня моим собственным талантом. Я скукожился, пожал плечами и стал складывать багаж — свежие рубашки и белье, и все время меня не покидало предчувствие, что живым мне не вернуться. Вечно одно и то же: однажды я в последнюю минуту отказался съездить с родителями в Тусон. Меня все не покидало воспоминание о пяти жертвах дорожной аварии, которых я видел, когда мне было пятнадцать. Раз за разом мне снились машина, вблизи лос-анджелесского кладбища врезавшаяся в телефонный столб, и пять растерзанных, безголовых трупов, мужских и женских. Чтобы избавиться от этих воспоминаний, я написал рассказ «Толпа». Но четыре-пять раз в году сон посещал меня вновь, и я пробуждался в холодном поту. И вот впереди Мексика, два с лишним месяца на колесах, и гибель, стерегущая на шоссе.

Я отправился.

Это были худшие два месяца за всю мою жизнь.

В Симапане, Таско, Куэрनावаке мне за каждым углом встречались похороны. По большей части я видел

маленькие, покрытые серебристой фольгой гробики; отцы, балансируя груз на голове, несли на погост своих любимых, только что умерших малюток.

Дни я кое-как переживал, но ночи были ужасны. Перед моими закрытыми глазами тянулись погребальные процессии, я ненавидел нищету, ненавидел власти, которым нет до нее дела (как прежде, так и сейчас), ненавидел детские похороны.

Отдохнуть душой удалось однажды утром, в особнячке по адресу: улица Лерма, дом 76, в Мехико, когда за завтраком напротив меня уселся Джон Стейнбек. За ним следовала его собака, большая овчарка, один глаз карий, другой голубой. К завтраку Стейнбек успел набраться. Он жил наверху и пользовался одной ванной комнатой с моей приятельницей, женщиной-фотографом, загромоздившей ванную фотографическим оборудованием.

— Мне известно, что вы затеяли, — скосился на нее Стейнбек. — Прошлой ночью забрались ко мне в спальню, сфотографировали меня с подружкой, а теперь собираетесь шантажировать!

— Ничего такого я не делала, — вскинулась моя приятельница, не замечая, что ей на мозги сыпется пудра. — Выдумки!

— Не отпирайтесь! — продолжал Стейнбек. — Знаю я вашего брата. Щелк-щелк — гони монету. Постыдились бы!

Приятельница за омлетом оправдывалась и ершилась. Я молчал. Я не признался Стейнбеку, что я сам новоявленное светило и со школьных дней люблю его книги. Не фотографировал, не получил автографа. Я довольствовался тем, что сидел, наблюдал его беззловонное пьяное шутовство и ощущал близость гения, такую тесную, что мог бы протянуть руку и коснуться его, но не коснулся.

После завтрака он, не извинившись, немного нетрезвой походкой отправился работать над фильмом «Жемчужина», замечательной, но ужасно грустной картиной — по этой причине она не окупилась. Больше я его не видел. Много лет спустя я отправил ему письмо, где напоминал о нашей встрече, но, пока оно было в пути, он умер.

Как бы то ни было: Мексика, смерть на каждом шагу; моя первая в жизни поездка; постоянный эскорт из нескольких пар, которые при переезде из конца в конец страны всплывали по совпадению то в одной, то в другой маленькой дорожной гостинице; парочка лесбиянок — их саморазрушение мне приходилось наблюдать сначала в Куэрनावаке, потом в Монтерее; несчастная неосторожность — я согласился, чтобы мне показали мумии из Гуанахуато. После этого я так и не оправился. Пять коротких рассказов и одна новелла о мумиях плюс люди, погибшие в автокатастрофе, когда мне было пятнадцать, наводили на меня ужас и три десятка лет спустя.

Кроме встречи со Стейнбеком была у меня еще одна короткая захватывающая встреча. В ночь на День мертвецов я нанял долбленое каноэ до острова Ханитсио. Было туманно, и мы с Грантом кутались в шерстяные одеяла. Добравшись в каноэ до острова вместе с одной французской дамой и ее дочерью, мы провели ночь на кладбище, где при свете свечей сидели на могилах две или три сотни матерей и плели цветочные гирлянды, меж тем как их живые дети играли поблизости, мужья же пили, пели песни и играли на гитарах у кладбищенских стен. Все было очень красиво и трогательно.

За эту долгую ночь у меня завязалась дружба с упомянутой француженкой и ее дочерью. Она была замечательная собеседница, знала все о церемонии, которую мы наблюдали, рассказывала нам о Париже и

Франции. На рассвете мы вернулись в Пацкуаро и проспали до полудня.

В полдень я один отправился пешком в город, чтобы купить безделушек. На одном из перекрестков рядом со мной внезапно затормозил большой лимузин. Из окошка выглянула женщина и окликнула меня. Я поспешил пожать протянутую руку.

— Помните меня? — спросила она.

— Как не помнить? — рассмеялся я. — Я ведь всю эту ночь провел с вами на кладбище!

— Ну тогда вот моя карточка. Я — жена французского посла в Мексике. Будете в Париже — звоните!

И лимузин укатил в сторону Мехико.

В тот же год я посетил ее во французском посольстве в Пасадене и с тех пор сорок шесть лет отправлял ей письма на Хеллоуин. Во второй раз мы встретились в сентябре 1953 года, когда мы с женой и детьми, по пути к написанию сценария «Моби Дика», заехали в Париж. Нашей третьей дочери мы дали второе имя Франсьон, в честь жены французского посла в Мексике. Дружбе с этой чудесной женщиной, мадам Мана Гарро-Домбаль, посвящена повесть «Канун Всех Святых». Ныне ей за девяносто, она живет в Довиле, и не далее чем через неделю мы собираемся нанести ей визит. Ее внучка Ариэль Домбаль — одна из крупнейших звезд французского театра и кинематографа.

Более чем достойная компенсация за поход по знойной пыльной дороге в Пацкуаро в начале ноября 1945 года, не правда ли?

Но довольно о Мексике. Вокруг сплошные смерти, браки, кипенье страстей, путешественник и знаток человеческих отношений я никакой, плюс еще длинные ночи — я решил, что никогда ничего не напишу об этой жуткой стране, похожей на ходячего мертвеца, и о своей тоске по дому.

В Гвадалахаре я получил письмо из дома: редактор издательства «Саймон энд Шустер» восхищался моим рассказом «Мальчик-невидимка», который только что появился в журнале «Мадемуазель», а также «Чудотворцем», вышедшим в «Чарм». Редактор спрашивал, имеется ли у меня замысел романа.

Замысла у меня не было, но я ответил этому джентльмену (его звали Дон Конгдон). Следующим летом я встретился с ним в Нью-Йорке, и вот уже 54 года он сотрудничает со мной как литературный агент. Он вошел в мою жизнь в сентябре 1947 года, в том же месяце, когда я женился на Мэгги. Получив в жены Маргерит и в литературные представители — Дона, я почувствовал себя надежно защищенным и способным к выживанию.

Однако, как уже было сказано, довольно о Мексике. Через два месяца я оттуда сбежал, бросив пишущую машинку и кое-что из одежды. Я сел на грейхаундовский автобус, шедший в Лос-Анджелес, покинув Гранта Бича. Он так меня и не простил.

Я же был так рад оказаться дома, что простил себя в тот же миг.

В апреле 1946 года я отправился в книжный магазин «Фаулер бразерс» в центре Лос-Анджелеса: мне нужен был первый выпуск антологии «Рю Морг», где был напечатан мой рассказ «Наблюдатели» — первый, напечатанный в книге.

Я обратился к юной леди, которая заинтересовалась и помогла мне разыскать книгу. Я узнал, что ее зовут Маргерит Макклюр, она не первый день работает у «Фаулера» и согласилась мне помочь не только из интереса, но и еще по одной причине: она заподозрила во мне воришку, который несколько месяцев

таскал из магазина книги. Я выглядел подозрительно, потому что в теплую погоду носил плащ, а кроме того, таскал за собой по магазину портфель и клал его на книги. Выяснилось, разумеется, что я не вор, однако чем дольше я беседовал с Маргерит Макклор, тем больше она меня интересовала как молодая барышня.

Через неделю я наконец набрался храбрости пригласить ее на кофе, потом на ланч, на обед — и через два месяца у нас состоялась помолвка.

В сентябре 1947 года мы поженились, и Маргерит, чтобы выйти за меня, принесла обет бедности. Она происходила из довольно обеспеченной семьи, получала еженедельное содержание, от которого отказалась, и к дню свадьбы, 27 сентября 1947 года, у нас на счету в банке лежало восемь долларов. Пять долларов я вложил в конверт и дал в церкви священнику, и он спросил: «Что это?» Я сказал: «Это ваш гонорар за свадебный обряд». — «Вы ведь писатель?» — «Да». — «В таком случае вам это понадобится самому». Он протянул конверт мне обратно, я взял. Через несколько лет, получая приличный доход, я послал ему чек на кругленькую сумму.

Маргерит Макклор, или Мэгги, как мы стали ее именовать, поселилась в Венеции, в квартирке за тридцать долларов в месяц, без телефона. Напротив находилась бензозаправочная станция с наружной телефонной будкой, окно моей квартирки никогда не закрывалось, и, заслышав телефон, я кидался через дорогу и отвечал, словно по собственной телефонной линии. Звонили обычно продюсеры из Эн-би-си, Си-би-эс, иногда кто-нибудь с киностудии. Мы были так бедны, что в первый год телефон нам был не по карману.

Это были славные годы: с деньгами у нас было плохо, но с любовью — очень хорошо.

Мэгги пошла работать в бюро проката «Эбби» и приносила по сорок два доллара в неделю; я, когда посчастливится, тоже зарабатывал сорок долларов за свои рассказы.

Именно в эти годы, с 1947-го по 1949-й, я написал большую часть рассказов, вошедших в «Марсианские хроники».

Уму непостижимо, но всю жизнь Донн Олбрайт за мной что-нибудь подбирает. Так уж получалось. Часто он зарывался в бумаги, сложенные у меня в подвале или в гараже, выныривал на поверхность с рукописью в кулаке и с криком «Эврика!» протягивал мне рассказ, который я написал четыре десятка лет назад и давно забыл о его существовании. «Допиши его!» — говорит он в таких случаях, и я покорно слушаюсь.

Нередко я посмеивался над этим внушенным безумием, но тут же умолкал, подумав: как бы я причесывался по утрам без такого зеркала, как Донн Олбрайт?

Эта книга — свидетельство его привязанности ко мне.

Это предисловие — свидетельство моей привязанности к нему.

Лос-Анджелес

Темный карнавал



Возвращение

*

Mademoiselle

Октябрь 1946

«Возвращение» — рассказ завлекательный, потому что я писал его для «Таинственных историй» — в те дни я был у них одним из «главных» авторов. Я дорос до 20 долларов за рассказ, мне светило богатство, раньше мне платили по полцента за слово, теперь — по пенни. Я написал этот рассказ, отослал его издателем, и они его ВЕРНУЛИ: сказали, такой нам не нужен, он не похож на традиционные рассказы о привидениях. [Я послал] рассказ в «Мадемуазель» — они ответили телеграммой: такой рассказ не подходит нашему журналу, а потому мы изменим под него журнал. Они сделали выпуск, посвященный Хеллоуину, пригласили и других писателей; Кей Бойл написала статью, Чарлз>Addams согласился сделать иллюстрацию на целый разворот. Это помогло мне войти в литературное сообщество Нью-Йорка: мой рассказ нашел в библиотеке «Мадемуазели» Трумен Капоте. Курьер как-никак.

*

— Они уже в пути,— сказала Сеси, лежа в кровати.

— А где они? — крикнул Тимоти из дверей.

— Кто над Европой, кто над Азией, кто над Островами, а кто-то над Южной Америкой,— отозвалась Сеси.

Веки ее были опущены, длинные темные ресницы трепетали, губы шевелились, быстрым шепотом выговаривая слова.

Тимоти сделал шаг по голому дощатому полу верхнего этажа.

— И кто они?

— Дядя Эйнар, и дядя Фрай, и кузен Уильям, еще вижу Фрульду и Хельгара, и тетю Морджанну, и кузину Вивиан; вижу и дядю Йоханна! Все спешат.

— Они все в небе?

Серенькие глазки Тимоти загорелись. Стоя у кровати, он выглядел ничуть не старше своих четырнадцати. За окном дул ветер, в доме было темно, мрак рассеивали только звезды.

— Кто летит по воздуху, кто бежит по земле, так и эдак,— продолжала Сеси, не просыпаясь. Она лежала неподвижно и, погружаясь мыслями в себя, рассказывала, что там видит.— Вижу вроде бы волка; он по отмелям перебегает темную реку чуть выше водопада; на шкуре играют отблески звезд. Вижу, высоко в небе ветер гонит бурый дубовый лист. Пролетает мелкий нетопырь. Вижу много всяких тварей в лесу: скользят под деревьями, прыгают высоко в кронах, и все держат путь сюда!

— К завтрашнему вечеру доберутся?

Пальцы Тимоти вцепились в одеяло. На отвороте куртки у него качался в бурном танце паучок, похожий на черный маятник. Тимоти склонился над сестрой:

— К Возвращению поспеют?

— Да-да, Тимоти, да,— вздохнула Сеси. Ее тело напряглось.— Хватит спрашивать. Ступай. Я хочу побродить по любимым местам.

— Спасибо, Сеси.

Выйдя в коридор, Тимоти бегом кинулся к себе. Поспешно убрал постель. Он проснулся считанные минуты назад, на закате, с первыми звездами встал и отправился к Сеси, чтобы разделить с ней свое волне-

ние из-за предстоящего приема. Теперь она крепко спала, из ее комнаты не доносилось ни звука.

Когда Тимоти умывал лицо, с его худой шеи свесился на серебристом лассо паук.

— Только подумай, Паучина: завтра ночью — канун Дня всех святых!

Тимоти поднял подбородок и взглянул в зеркало. Оно было единственным — других в доме держать не позволялось. Эту уступку мать сделала ввиду его «болезни». Вот ведь, прицепилась напасть! Тимоти открыл рот и обозрел ряд жалких зубов, все, чем его одарила природа. Ни дать ни взять бобы: круглые, мягкие и бледные. Клыки вообще ни на что не похожи! Настроение у Тимоти подпортилось.

Тьма стояла полная, и Тимоти зажег свечу. Силы его покинули. Последнюю неделю вся семья жила по расписанию своих родных краев. Спали днем, шевелиться начинали ближе к закату солнца. Под глазами у Тимоти образовались синие круги.

— Никуда-то я не гожусь, Паучина, — пожаловался он маленькой твари. — Спать как остальные — и то не приучиться.

Он поднял свечу. Иметь бы сильные зубы, острые резцы. Или даже сильные руки, или сильный ум. Вот бы уметь, как Сеси, во время сна, лежа в кровати, отправлять свой разум в свободный полет. Но нет, он экземпляр несовершенный, хворый. Он даже (Тимоти вздрогнул и придвинул к себе свечу) боится темноты. Братья презрительно фыркают, на него глядя. Билл, и Леонард, и Сэм. Их сместило, что он спит в *постели*. Сеси — другое дело, ей требуются льготные условия, в частности постель, без этого невозможны странствования разума. Но Тимоти — отчего бы ему, подобно прочим, не спать в замечательном полиро-

ванном ящике? Но нет! Мать позволяет ему все: собственную кровать, комнату, собственное *зеркало*! Неудивительно, что семья сторонится его, как святого с распятием. Хоть бы крылья проросли из лопаток! Тимоти обнажил и осмотрел спину. И снова вздохнул: ничего похожего. Не дождешься.

Снизу доносились интригующие звуки. Во всех коридорах, на потолках и дверях шуршал черный креп. По лестнице с балюстрадой вползал запах горящих черных свечей.

Голос матери, высокий и твердый. Голос отца, отдающийся эхом в сыром погребке. В старый загородный дом входит Бион, волоча за собой большущие, в два галлона, кувшины, в которых булькает жидкость.

— Мне нужно на прием, Паучина,— сказал Тимоти.

Паук закрутился на шелковой нити, и Тимоти почувствовал себя одиноко. Он будет наводить глянец на ящики, искать поганки и пауков, развешивать креп, а когда начнется прием, никто не посмотрит в его сторону. Чем меньше обращать внимание на неудачного отпрыска, тем лучше.

В нижнем этаже из конца в конец дома пробежала Лора.

— Возвращение! — кричала она весело. — Возвращение! — Ее шаги звучали одновременно всюду.

Тимоти снова миновал комнату Сеси; она спокойно спала. Она редко когда спускалась вниз. Большую часть времени проводила в постели. Милая Сеси. Тимоти хотелось спросить: «Где ты сейчас, Сеси? И в ком? И что происходит? Ты за холмами? А там что делается?» Но он молча отправился в комнату Эллен.

Та сидела за столом, перебирая локоны разнообразных цветов — светлые, рыжие, темные, — а также

обрезки ногтей, которые собрала, когда работала маникюршей в салоне красоты Меллин-Тауна, в пяти милях отсюда. В углу лежал крепкий ящик красного дерева с ее именем.

— Ступай прочь, — сказала она, не поднимая взгляда. — Мне не работается, когда ты глазеешь.

— Канун всех святых, Эллен! — Тимоти старался быть приветливым. — Только подумай!

— А! — Эллен раскладывала обрезки ногтей в белые мешочки и снабжала этикетками. — Тебе-то что за радость? Перетрусишь только! Возвращайся-ка в постель.

Тимоти зарделся.

— А кто за меня будет драить ящики, украшать дом и прислуживать за столом?

— Если не пойдешь, будет тебе завтра в постель дюжина сырых устриц, — прозаическим тоном пообещала Эллен. — До свиданья, Тимоти.

Со злости Тимоти кинулся по лестнице сломя голову и наткнулся на Лору.

— Смотри, куда тебя несет! — выкрикнула она сквозь стиснутые зубы, откуда выглядывали головки миниатюрных гвоздиков; она развешивала на дверях — забавно, правда? — искусственные букетики аконита. — У дяди Эйнара душа уйдет в пятки! — кричала она всем, кто ей встречался.

Она умчалась. Тимоти подбежал к открытой двери подвала и втянул ноздрями шедший оттуда дух сырой земли.

— Папа?

— Пора! — крикнул снизу отец. — Скорей сюда, а то не успеем подготовиться к их приходу!

На миг задержавшись, Тимоти прислушался к бесчисленным шумам в доме. Братья, под разговоры и

споры, прибывали и отбывали, как поезда на станции. Если долго простоять на одном месте, перевидаешь всех домочадцев, проходящих мимо со всякой всячиной в бледных руках. Леонард с черным медицинским чемоданчиком. Сэмюэл — под мышкой его привычная черная книга, большая и пыльная, — несет запас черного крепа. Бион то и дело наведывается на улицу, к фургону, и приносит новые бутылки.

Отец, начищавший ящик, остановился, бросил хмурый взгляд и протянул Тимоти тряпку. Постучал по большому ящику красного дерева.

— Давай-ка отполируй вот этот, чтобы нам перейти к следующему. На сон без просыпу.

Навошенная поверхность, Тимоти заглянул внутрь.

— Дядя Эйнар — мужчина крупный, да, папа?

— Угу.

— Какого роста?

— Скажем, как раз с ящик.

— Семь футов?

— Хватит болтать языком.

Тимоти довел ящик до блеска.

— А весит он двести пять.

Отец присвистнул.

— Двести пятнадцать.

— Для крыльев тоже нужно место!

Отец пихнул его локтем.

— Халтуришь. Вот так надо. Смотри.

Около девяти Тимоти вышел на улицу, где стояла обычная октябрьская погода. Под порывами то теплого, то холодного ветра он два часа бродил по лугам, собирая поганки и пауков.

Он миновал фермерский дом. «Знать бы вам, что в *нашем* доме творится!» — сказал он, обращаясь к осве-

щенным окнам. Взобрался на холм и стал смотреть на далекий город, готовившийся ко сну, на далекий белый круг церковных часов. Город тоже ни о чем не знал.

Домой Тимоти принес много банок с поганками и пауками.

В подвальной часовне устроили краткую церемонию, отец читал нараспев таинственные строки; красивые, белые, как слоновая кость, руки матери чертили в воздухе благословения наоборот, дети присутствовали все, кроме Сеси, которая лежала наверху в кровати. Впрочем, Сеси тоже присутствовала. Она выглядывала из глазниц то Биона, то Сэмюэла, то матери; чувствуешь, что-то стронулось, и вот она уже в тебя вошла и вышла мимолетом.

Тимоти истово молился Темному Богу.

«Молю, молю тебя, сделай так, чтобы я вырос и стал как мои братья и сестры. Не хочу быть наособицу. Вот бы уметь, как Эллен, вкладывать волосы в фигурки, или, как Лора, привораживать к себе кого хочешь, или, как Сэм, читать непонятные старинные книги, или иметь бы хорошую работу, как Леонард с Бионом. Или даже, как мать с отцом, вырастить бы детей...»

К полуночи явились первые родичи!

Бабушка и дедушка, прямиком из родных краев; веселые, словоохотливые. Приветствиям не было конца!

После этого, что ни час, являлся кто-нибудь новенький. Дребезжание окна, стук в переднюю дверь, удары в заднюю. Шум в подвале, шелест на чердаке, свист осеннего ветра в дымовой трубе. Мать наполняла большую хрустальную чашу для пунша. Отец сновал из комнаты в комнату, зажигая свечи. Лора с Эллен

развешивали новые букетики аконита. Тимоти стоял среди этой суматохи с бесстрастным лицом, вытянув по швам дрожащие руки и быстро-быстро шныряя вокруг глазами! Увидеть все! Хлопанье дверей, смех, темнота, звонкая струя вина, вой ветра, топот, радостные возгласы в дверях, четкое постукивание окон, тени, что скользят туда-сюда, кружатся, исчезают.

Прием начался!

Пять человек, десять, пятнадцать, тридцать! И будут еще шестьдесят!

— О, а это, похоже, Тимоти?

— Что такое?

Ледяные пальцы берут его ладонь. Над Тимоти склоняется длинное бородатое лицо.

— Славный парнишка, славный,— говорит гость.

— Тимоти,— поясняет мать.— Это твой дядя Джейсон.

— Привет, дядя Джейсон.

— Ой-ей, что-то голосок у тебя невеселый, племянник Тимоти.

— У меня все нормально.

— Спасибо, что сказал, мой мальчик. Выше голову.— Холодный кулак гостя легонько вздернул подбородок Тимоти.

— А там...— Мать увлекла дядю Джейсона прочь.

Пустой, как стекло, глаз дяди подмигнул Тимоти поверх плеча, окутанного пелериной.

Тимоти остался в одиночестве.

Из неведомой дали, куда вел во мраке ряд свечей, донесся похожий на флейту голос; это была Эллен.

— И мои братья, ума им не занимать. Угадайте, теть Морджанна, чем они занимаются.

— Понятия не имею.

— Заведуют городским моргом.

— Да что ты! — Тетя Морджанна ахнула.

— Да-да! — Пронзительный смех. — Премило, правда?

— С ума сойти!

Все захохотали.

Тимоти стоял по стойке «смирно».

Смех смолк.

— Знаешь ли, мы все кормимся с их работы.

Лора выкрикнула:

— Верно-верно! Ты ведь представляешь себе, тетя, дорогая, в чем состоит работа санитара из похоронного бюро?

Тетя Морджанна не знала подробностей.

— Что ж, — тоном ученого начала Лора. — Они втыкают в тело серебряные иголки, соединенные с красной резиновой трубкой, чтобы вытянуть кровь. И впрыскивают консервант. Как правило, санитары сливают кровь в канализацию. Но не Леонард с Бионом! Они носят ее в бутылках домой для мамы и папы и для всех нас. Но, конечно, Тимоти...

У Тимоти дернулся уголок рта.

— Нет-нет, — проворно зашептала Лоре мать.

— Тимоти... — протянула Лора, не зная, чем закончить фразу.

Наступило неловкое молчание. Его прервал требовательный голос дяди Джейсона:

— Да? Продолжай. Что насчет Тимоти?

— Ох, Лора, язык у тебя... — вздохнула мать.

Лора продолжила. Тимоти закрыл глаза.

— Тимоти, он... ну, он не любит кровь. Такой уж он... разборчивый.

— Он еще научится, — пояснила мать. — Вопрос времени. — Она сказала это твердым голосом. — Он мой сын, и он научится. Ему всего четырнадцать.

— Но меня на крови взрастили. — Голос дяди Джейсона переместился в соседнюю комнату. Снаружи ветер играл на деревьях, как на струнах арфы. Оконное стекло обрызгал дождичек. — На крови взрастили... — Звуки истаяли вдали.

Тимоти, покусав себе губы, открыл глаза.

— Ну, это была моя вина. — Мать провела гостей в кухню. — Я заставляла его. Но ребенка не принудишь, только навсегда отобьешь ему вкус к блюду. Вот Бион до тринадцати лет не притрагивался к...

Конец фразы потонул в шуме ветра.

— Понятно, — пробормотал дядя Джейсон. — Тимоти дозреет позже.

— Ничуть не сомневаюсь, — с вызовом ответила мать.

Свечи пылали, по дюжине затхлых комнат прыгали тени. Тимоти стало холодно. Втянув в себя запах горящего сала, он инстинктивно схватил свечу и отправился блуждать по дому под предлогом того, что поправляет креп.

— Тимоти. — Чей-то голос за рисунчатой стеной шепотом, с присвистом и вздохами, выговаривал слова. — Ти-мо-ти-боис-ся-тем-но-ты. — Голос Леонарда. Чертов Леонард! — Так что мать — иной раз — позволяет ему — брать свечу. Так и ходят, неразлучные, по всему дому — огонек свечи и два серых глаза Тимоти; и светится вся троица одинаково.

— Мне нравится эта свеча, только и всего, — с упрямством прошептал Тимоти.

— Все образуется. Дети они и есть дети, — долетели из глубины темной столовой слова тети.

И снова шум, снова хохот, дикий хохот! Раскат за раскатом! Хлопки и стуки, выкрики, шуршанье плать-

ев, шелест пелерин! В парадную дверь, подобно пороховому дыму, повалил мокрый туман. И оттуда, складывая крылья, гордо выступил высокий мужчина.

— Дядя Эйнар!

Нырнув напрямик в туман, под сплетенье зеленых теней, Тимоти на тонких ногах рванулся вперед, в объятия дяде Эйнару. А тот поднял его в воздух!

— У тебя крылья, Тимоти! — Легко, как пушинку, он подбросил мальчика в воздух. — Крылья, Тимоти, лети!

Внизу побежал хоровод лиц. Тьма закружилась. Дом сдуло прочь. Тимоти ощущал себя ветром. Он замал руками. Пальцы дяди Эйнара поймали его и снова подбросили к потолку. Потолок рухнул, как обугленные стены.

— Лети! Лети! — потребовал дядя Эйнар гулким басом. — Крыльями! Крыльями!

Лопатки пронзило острой болью, словно коренившиеся там ростки пробились наружу, распускаясь не цветами, а свежими перепонками, длинными и влажными! В горле у Тимоти заклокотало; дядя Эйнар подбросил его еще выше!

В дом хлынул поток осеннего ветра, на крышу обрушился дождь, балки тряслись, недовольные свечи грозили выпасть из канделябров. Из магической черноты ниш и дверей таращилась в две сотни глаз, клонила к центру круга большая и малая родня, а в середине, в гудящем от смеха пространстве, Эйнар, как куклой, жонглировал ребенком: «Бей крыльями! Взлетай!»

— Ну все, довольно! — крикнул наконец Эйнар.

Мягко опустившись на половицы, Тимоти восторженно и устало привалился к дяде Эйнару.

— Дядя, дядя, дядя, — счастливо всхлипывал он.

— Ну, хорошо полетал, Тимоти? — Эйнар погладил племянника по голове. — Хорошо, хорошо.

Близился рассвет. Большая часть гостей уже собралась и готовилась отправиться в постель, чтобы недвижно и беззвучно проспать светлое время суток. С закатом они выпрыгнут из своих ящиков красного дерева, начнется пиршество.

Дядя Эйнар во главе толпы родственников двинулся в подвал. Мать вела их вниз, к тесным рядам отполированных до блеска ящиков. Шаги Эйнара сопровождались странным свистом и шорохом, крылья напоминали синевато-зеленую палатку, вздувшуюся на спине; касаясь чего-нибудь, они издавали слабый барабанный стук.

Наверху Тимоти устало улегся и погрузился в мысли, стараясь полюбить темноту. В темноте тебя никто не видит, не заругает, делай что хочешь. Да, Тимоти любил ночь, но не то чтобы сильно. «Временами ночи уж слишком много!» — кричал он, взбунтовавшись.

В подвале бледные пальцы тянулись к крышкам красного дерева, задвигая их изнутри. Иная родня совершала перед сном трехкратный круг и устраивалась по углам, уложив головы на лапы и сомкнув веки.

Взошло солнце. Все спали, никто не храпел.

Закат. Начало пиршества походило на взрыв; так разлетается, с криками, хлопаньем крыльев, потревоженный выводок летучих мышей! Крышки ящиков откинулись! В подвальной сырости засновали шаги! В парадную и заднюю дверь колотили припозднившиеся гости, их впускали, принимали извинения.

Погода стояла дождливая, промокшие посетители нагружали Тимоти сырыми накидками, шляпами,

забрызганными вуалями, он относил их в чулан; повешенные на стены для просушки, они выглядели как мумифицированные летучие мыши. Комнаты были забиты народом. В прихожей засмеялась одна из кухон, смех завернул за угол в дверь гостиной, скрикошетил, заложил вираж и из четвертой комнаты вернулся к Тимоти, отчетливый и циничный. За ним последовал залп хохота!

По полу пробежала мышь.

— Лейберсраутер, племянница, я тебя узнал! — воскликнул отец.

Прошмыгнув меж женских туфель, мышка скрылась в углу. И тут же там возникла из ничего красивая женщина и одарила всех белозубой улыбкой.

Кто-то приник к мокрой наружной поверхности кухонного окна. Оттуда неслись вздохи, плач и стуки, но что там было, Тимоти не видел. Ему представилось, что это он сам заглядывает в окно. Его мочит дождем, хлещет ветром, хочется внутрь, в приветливую тьму, усеянную огоньками свечей. Вытянутые фигуры танцоров проносились в вальсе, скользили и кружили под чужестранную музыку. На бутылках играли отсветы, с винных бочонков падали комочки земли, на пол свалился паук и молча заторопился прочь.

Тимоти вздрогнул. Он перенесся обратно в дом. Его окликала мать: сбегай туда, сбегай сюда, подсоби, подай, живо в кухню, принеси то, принеси се, гляди под ноги, не споткнись, взад-вперед... давай-давай... вокруг шло веселье, но Тимоти в нем не участвовал. Поблизости теснились десятками черные тени-великаны, толкали его локтями, и никто им не интересовался.

Наконец Тимоти повернулся и ускользнул по лестнице наверх.

Он остановился у постели Сеси. На ее узком и белом, абсолютно спокойном лице не дрожал ни единый мускул. Грудь не вздымалась. Однако кожа была теплой на ощупь.

— Сеси, — тихонько позвал Тимоти.

Сеси молчала и, только когда Тимоти позвал в третий раз, слегка раздвинула губы.

— Да. — Голос ее звучал устало, счастливо, мечтательно и как будто с большого расстояния.

— Это Тимоти.

— Знаю, — откликнулась она после долгой паузы.

— Где ты сегодня, Сеси?

На повторный вопрос последовал ответ:

— Далеко на западе. В Калифорнии. В долине Империял, у озера Солтон, близ грязевых котлов. Пар, тишина. Я — фермерская жена, сижу на веранде. Солнце медленно закатывается.

— И как там, Сеси?

— Слышно, как бормочут котлы, — неспешным шепотом, как в церкви, отозвалась Сеси. — Раз, и вынырнут со дна лысые головки маленьких человечков — это пузырьки пара, облитые грязью. Раздуются, как воздушный шар, лопнут и опадут. С эдаким причмоком. А изнутри вырвется струйка пара. Пахнет серой, гарью и стариной. Тут варится динозавр, уже десять миллионов лет.

— Но теперь он готов, да, Сеси?

Расслабленные в мирном сне губы Сеси вытягиваются.

— Да-да. Сварился. — Рот шевелится, медленно выдавливая слова. В остальном Сеси неподвижна. Только дергаются губы, когда она отвечает. — Представляешь себе, Тимоти, крышу экипажа «сарри»? Вот так на эти мелкие воды, окруженные горами, ложится ночь.

Солнце отступает, расстилая за собой темный покров. Я сижу в голове этой женщины и смотрю через маленькие дырочки у нее в черепе. Я не знаю даже ее имени, я слушаю тишину. Волны не набегают на берег, озеро так недвижно, что становится страшно. Я безмятежно вдыхаю его соленый запах. В небе, где зажглись первые звезды, пролетает несколько бомбардировщиков и истребителей. Они похожи на птеродактилей с громадными крыльями. Поодаль, в трясине, виден железный хребет парового экскаватора — бронтозавр, застывшая картина из металла, наблюдает снизу полет алюминиевых рептилий. И я слежу за этими доисторическими сценами, ощущаю запах доисторической кухни. До чего же тут тихо, до чего спокойно...

— Надолго ты в ней останешься, Сеси?

— Пока не надоест слушать, смотреть, чувствовать. Пока не изменю так или иначе ее жизнь. Жить в ней — это что-то особое. Ее долина и бревенчатый домик — это первобытный мир. На западе, севере, юге высятся черные горы, меж ними заключена громадная мрачная долина. Вдоль озера бегут две дороги с бетонным покрытием, окрестность опустошила война. Раз в полчаса мимо проезжает машина, вижу свет ее фар. Но за нею ковчег закрывается. Я сижу на веранде весь день, наблюдаю, как на закате из-под деревьев выползают тени, сливаются воедино в сплошную необъятную ночь. Жду мужа, он должен вернуться из города. Озеро омывает берег, соленое и бесшумное. Изредка, бывает, выпрыгнет рыба, блеснет чешуей и снова под воду. Долина, озеро, редкие автомобили, веранда, моя качалка, я сама, тишина.

— А теперь, Сеси?

— Я встаю.

— Правда?

— Схожу с веранды, иду к грязевому котлу. Снова пролетают самолеты, пропеллеры вспарывают тишину. Шум раздражает мне уши.

— А теперь?

— Теперь я иду по дощатой дорожке к тому месту, откуда до войны туристы следили обычно за серыми пузырьками. Доски под ногами постукивают — тук-тук.

— Теперь?

— Теперь меня всю окутало серными парами. Скопления пузырьков всплывают, лопаются, растекаются. Над головой с жалобным криком пролетает птица. И вот я в ней, в этой птице! Я улетаю! И в полете, сквозь новые гляделки-бусинки, вижу: женщина внизу, на дощатой дорожке, делает шаг, другой, третий к грязевому котлу! Звук такой, словно в расплавленную глубину свалился тяжелый камень! Но мне нет дела до этого звука, я лечу. Описываю круг. А когда возвращаюсь, вижу белую руку — дергаясь, как паук, она исчезает в луже серой лавы. И лава смыкается над нею... Теперь я лечу домой, лечу как молния!

Что-то громко забарабанило в стекло.

Сеси распахнула глаза — широко, восторженно, счастливо, радостно.

— Теперь я дома! — объявила она.

Не поднимая головы с подушки, Сеси обвела взглядом комнату. И наконец заметила Тимоти.

— Ну, как там Возвращение? — спросила она.

— Все собрались.

— Тогда почему ты наверху? — Сеси взяла брата за руку. — А? — Ее губы тронула лукавая улыбка. — Хорошо, проси. Ну, выкладывай, ради чего пришел.

— Да я не собирался ни о чем просить. Ну, почти ни о чем. Ну ладно, Сеси! — Слова полились из него долгим стремительным потоком. — Мне хотелось сотворить на вечеринке что-нибудь эдакое, чтобы на меня обратили внимание, чтобы им угодить, чтобы сблизиться с ними, но ничего не придумывается. Настроение у меня неважное, и я подумал, что ты могла бы...

— Могла бы. — С едва заметной, обращенной внутрь улыбкой Сеси закрыла глаза. — Выпрямись и стой смирно.

Тимоти повиновался.

— А теперь закрой глаза и ни о чем не думай.

Он стоял по стойке «смирно» и ни о чем не думал или, во всяком случае, думал, что ни о чем не думает, а это почти то же самое.

Сеси вздохнула.

— Теперь пойдем вниз, Тимоти?

Как рука в перчатке, Сеси была внутри его.

— Смотрите все!

Тимоти поднял хрустальный бокал с теплым красным вином — вином, что процежено через вены, разогнано мускулами сердца, прокачено сквозь мыслящий мозг.

Он поднял бокал таким движением, что все, кто был в доме, на него обернулись. Тетки, дяди, братья, сестры, двоюродные, родные!

И опрокинул в себя вино.

Махнул рукой сестре Лоре. Не отпуская ее взгляда, зашептал что-то тихим голосом — она слушала молча, застыв на месте. Шагнув к ней, Тимоти ощутил себя великаном, ростом с дерево. Водоворот веселья замедлился. Со всех сторон к нему были обращены насто-

рожденные глаза. Из всех дверей смотрели лица. Никто не смеялся. Мать удивленно подняла брови. Отец был поражен, но приятно; он все больше преисполнялся гордости.

Подойдя со спины, Тимоти взял руки Лоры, она не сопротивлялась, глаза ее остекленели. Под шепот он осторожно отвел назад ее голову, потянулся к длинной белой шее.

Тихонько куснул в шейную вену.

Огоньки свечей пьяно шатнулись. По крыше разгуливал ветер. Родственники смотрели, перемещались в тени, снова смотрели.

Тимоти отпустил Лору, запихнул себе в рот поганку, проглотил. А когда действовало, забегал, молотя себя руками по бокам.

— Гляди, дядя Эйнар! Я наконец полечу!

Хоп-хоп — ходили его руки. Хоп-хоп — подпрыгивали ноги! Лица гостей так и мелькали вокруг!

На вершине лестницы, сам не помня, как там очутился, Тимоти услышал мать, окликавшую его снизу: «Стой, Тимоти!»

«Эге-гей!» — закричал Тимоти и, взмахивая руками, прыгнул в лестничный пролет.

На полпути вниз крылья, ему пригрезившиеся, растворились в воздухе. Он вскрикнул.

Его поймал дядя Эйнар.

Попав к нему в объятия, Тимоти продолжал по инерции махать руками. Из рта незвано-непрощено полетели чужие слова.

— Я Сеси! Я Сеси! — объявил резкий голос. — Сеси! Милости прошу ко мне! Наверх, первая комната налево!

Слова заключил раскат хохота. Напрягая язык и губы, Тимоти старался его оборвать.

Все засмеялись. Эйнар поставил Тимоти на пол. Поток родни устремился наверх, поздравлять Сеси, Тимоти же, проложив себе путь в заполненной толпою темноте, распахнул ногой парадную дверь. Сзади послышался встревоженный оклик матери.

Бац! На холодную землю шлепнулся его обед.

— Ненавижу тебя, Сеси, чтоб тебе провалиться!

В глубокой тени сарая Тимоти заходилась плачем и колотил кулаками по пахучему сену. Потом он затих. Из кармана блузы, где лежало безопасное убежище — спичечный коробок, выбрался паук. Пустился в путь по руке Тимоти. Обследовал шею, добрался до уха, залез туда и стал щекотать.

Тимоти затряс головой.

— Не надо, Паучина. Не надо.

Ощувив на барабанной перепонке легонькое ощупывающее касание паучьей ножки, Тимоти вздрогнул. «Не надо, Паучина». Он рыдал уже не так громко.

Паук пропутешествовал вниз по щеке, устроил остановку под носом мальчика, заглянул в ноздри, словно любопытствовал, как там в мозгу, неспешно вскарабкался на нос и там уселся, обосновался, разглядывая Тимоти блестящими зелеными глазками. Тимоти вдруг стало смешно.

— Убирайся, Паучина!

В ответ паук соскользнул на губы и легко прошелся по ним шестнадцатую зигзагами, запечатав рот мальчика серебристой нитью.

— Ммммммм! — крикнул Тимоти.

Шелестя сеном, Тимоти встал. Дождь отправился отдыхать, окрестность ярко освещала луна. От большого дома доносились слабые отголоски разгула: там играли в «зеркало-зеркало». Игра состояла в том, что

к стене прислоняли громадное зеркало. Видя там закутанную фигуру, участники должны были угадать имя того, кто никогда, ни прежде, ни теперь, в зеркале не отражался и отражаться не будет!

— Что будем делать, Паучина? — Тенета на рту повались.

Упав на пол, Паучина засеменил по направлению к дому, но тут Тимоти поймал его и возвратил в карман блузы.

— Ладно, Паучина. Пошли обратно. Что б там ни было, это будет забавно.

За дверью на Тимоти обрушился с платана зеленый брезент, сковав его ярдами шелковистой ткани.

— Дядя Эйнар!

— Тимоти. — Громоухая, как литавры, крылья расправились, подергались и сложились. Легко, как пушинку, подхватив мальчика, Эйнар посадил его себе на плечо. — Не вешай нос, племянник Тимоти. Каждому свое. Твой мир лучше, чем наш. Богаче. Наш мир — мертвый. Поверь мне, мы навидались. В нем только одна краска — серая. Чем короче жизнь, тем выше ее стоимость. На единицу времени. Попомни, племянник, мои слова.

Пробило полночь; дядя Эйнар, покачивая племянника на плече и что-то напевая, носил его из комнаты в комнату. Опоздавшие являлись толпами, и это давало старт новому веселью. Присутствовала прапрапра-(и неизвестно сколько еще раз пра-)бабушка в египетских погребальных одеждах; на хрупкие птичьи косточки темно-бурого цвета навернуты длинные полотняных бинтов. Она не говорила ни слова, только стояла, прислоненная к стене и похожая на порывевшую гладильную доску; в глубине глазных впадин светились далекие, исполненные немой мудрости

огоньки. За завтраком в четыре часа многократная прабабка сидела, словно проглотив аршин, во главе длинного стола, где там и сям в ее честь поднимались рдяные бокалы.

Дедушка Том допоздна бродил в толпе, останавливал юных девиц, щипал, прихватывал деснами шею. От досады и отчаяния его лицо все гуще наливалось багрянцем. Бедняга дед — при его роде занятий не иметь зубов!

Большая группа молоденьких кузин бражничала, сгрудившись вокруг хрустальной пуншевой чаши. Над столом мелькали блестящие, как маслины, глаза, заостренные бесовские мордочки, бронзовые кудряшки; в столкновении тел, то ли нежных, то ли крепких, то ли девичьих, то ли мальчишеских, все больше замечалась пьяная неуступчивость.

Лора и Эллен, и с ними дядя Фрай, не обращая внимания на хмельной разгул, разыгрывали домашний спектакль. Они изображали невинных юных дев на прогулке; из-за дерева (кузина Анна) выходит Вампир (дядя Фрай) и улыбается невинным овечкам.

А куда это они направляются?

Да вот, к тропе вдоль реки.

А не позволят ли они их проводить?

С превеликим удовольствием.

Ухмыляясь в сторону и облизывая губы, Вампир сопровождает девиц.

У реки он готов уже напасть на одну из них, но тут девицы на него набрасываются, сбивают с ног и осушают его вены до последней капли. Расположившись на останках, как на скамейке, они заливаются смехом.

Так поступали и все на этом празднике Возвращения.

Ветер крепчал, звезды горели все ярче, шум становился оглушительным, пары кружились проворней, вино текло рекою. Тимоти не успевал всматриваться и вслушиваться. В сгущениях тьмы кипело и бурлило веселье, мелькали лица, появляясь, исчезая, сменяя друг друга. Мать, грациозная, высокая, красивая, легкой походкой попевала повсюду, кланяясь направо и налево, отец следил за тем, чтобы потиры всегда были полны.

Дети играли в «гробики». Гробы были поставлены в ряд, дети маршировали вокруг них. Тимоти тоже участвовал. Марш продолжался, пока играла флейта. Гробов становилось все меньше. В борьбе за их полированное нутро выходят победителями двое, четверо, шестеро, восьмеро игроков, остался последний гроб. Тимоти обходит его настороженно, соперник у него один — его чудаковатый кузен Роби. Флейта замолкает. Как суслик в норку, Тимоти ныряет в гроб, зрители аплодируют.

И снова бокалы наполняются вином.

— Как Лотта?

— Лотта? А вы разве не слышали? Лучше некуда!

— Мама, кто такая Лотта?

— Тихо ты. Сестра дяди Эйнара. Из крылатых. Рассказывай дальше, Пол.

— Лотта недавно летела над Берлином, и ее сбили: приняли за британский самолет.

— Сбили вместо самолета?

Раздувая щеки, напрягая легкие, хлопая себя по бедрам, гости хохотали до упаду. Грохот стоял, как в пещере ветров.

— А что слышно о Карле?

— О малютке, который ютится под мостами? Бедняга Карл. Во всей Европе осталось ли для него хоть

единственное прибежище? Все мосты разрушены. Карл теперь либо покойник, либо бездомный. Европа нынче наводнена беженцами — подобного никогда не бывало.

— Да уж. Неужели все мосты до единого? Бедный Карл.

— Тсс!

Гости затаили дыхание. Издали долетел звон городских часов: они били шесть. Вечеринка подходила к концу. Как бы в ответ часам, в их ритме, стоголосый хор присутствующих затянул древние, возрастом в четыре века, песни, которых Тимоти и знать не мог. Переплетя руки, гости пошли медленным хороводом, а где-то в зябких утренних далях городские часы пробили последний удар и замолчали.

Тимоти пел.

Он не знал ни слов, ни мелодии, но слова и напев складывались сами, правильные, гармоничные, торжественные.

Под конец Тимоти перевел взгляд на верхнюю лестничную площадку, на закрытую дверь.

— Спасибо, Сеси,— шепнул он.

Прислушался. И произнес:

— Хорошо-хорошо, Сеси. Прощаю. Я тебя узнал.

Расслабившись, он дал своим губам свободу, слова вылетали в естественном ритме, голос звучал чисто и мелодично.

В суете и шорохе стали прощаться. Мать с отцом, братья и сестры торжественно-счастливым строем встали у двери, чтобы крепко пожать руку каждому отбывающему и коснуться поцелуем щеки. Небо за открытой дверью окрашивалось голубизной, на востоке разливалось сияние. В дом проник холодный ветер.

Тимоти снова пришлось напрячь слух. Выслушав, он кивнул:

— Да, Сеси. Хочу. Спасибо.

И Сеси помогла ему вселиться в тела родственников, одного за другим. Для начала — в тело дяди Фрая, который, склоняясь у дверей, прижимал губы к бледным пальцам матери; глаза Тимоти глянули на мать с измятого дядиного лица. Он шагнул на улицу, ветер подхватил его и понес в водовороте листьев над домом, над утренними холмами. Внизу промелькнул и скрылся город.

Бац — и вот он в ком-то другом. В кузене Уильяме, который тоже стоял в дверях и раскланивался.

С кузеном Уильямом, стремительный, как облачко дыма, он поскакал вниз по грунтовой дороге: красные глаза горят, на меховой шкуре отблески рассвета, размеренные движения мягких лап, свободное шумное дыхание. Вот новый холм, вот новая низина, а вот он растворяется в воздухе...

...только чтобы забраться в прохладное просторное нутро дяди Эйнара, взглянуть на мир его снисходительным, любопытным взглядом. Дядя как раз тянул руки к невзрачному, бледному тельцу Тимоти. Поднять самого себя руками дяди Эйнара!

— Будь хорошим мальчиком, Тимоти. Ну, еще попадаемся.

На звонких перепончатых крыльях, быстрее листа в потоке, проворней волка на проселочной дороге, с такой скоростью, что местность внизу расплылась и последние звезды закрутились, как галька во рту у дяди Эйнара, — так летел Тимоти, недолгий спутник дяди в его паразитическом путешествии.

И вернулся в свое тело.

Выкрики и смех постепенно стихли. Заметно рас-
свело. Все обнимались, плакали, жаловались на то, что
в этом мире им все труднее становится существовать.
Бывали времена, когда они встречались каждый год,
а теперь десять лет проходит и все не сговориться.

— Помни, встречаемся в Салеме в тысяча девять-
сот семидесятом! — крикнул кто-то.

Салем. Тимоти вертел это слово в своем оцепенев-
шем мозгу. Салем — 1970. Там будут дядя Фрай, и ба-
бушка, и дедушка, и многождыпрабабушка в иссох-
ших погребальных одеждах. И мать, и отец, и Эллен, и
Лора, и Сеси, и Леонард, и Бион, и Сэм, и все осталь-
ные. А он-то сам будет? Доживет ли? Как можно быть
уверенным, что доживет?

Последний опустошительный порыв ветра, и все
разбежались по сторонам: шарфы, пугливые млеко-
питающие, сухие листья, резвые волки, собачий вой,
пчелиное гуденье, полночи, мысли, безумства.

Мать затворила дверь. Лора взялась за метлу.

— Нет,— сказала мать.— Уборка подождет до зав-
тра. Первым делом нужно выспаться.

Отец сошел в подвал, за ним последовали Лора,
Бион и Сэм. Эллен отправилась наверх, Леонард тоже.

С опущенной головой Тимоти пересек прихожую,
усеянную обрывками крепа. Проходя мимо зеркала,
у которого развлекались гости, он увидел себя: блед-
ного представителя смертной породы. Он дрожал от
холода.

— Тимоти,— позвала мать.

Он остановился у лестницы. Мать подошла и по-
гладила его по щеке.

— Сынок,— начала она.— Мы любим тебя. Не за-
бывай об этом. Мы все тебя любим. Что с того, что ты

не такой и можешь однажды нас покинуть. — Мать поцеловала его в щеку. — И если ты когда-нибудь умрешь, твои кости никто не потревожит, мы за этим присмотрим, ты будешь покоиться мирно до скончания века, и каждый Хеллоуин я буду тебя навещать и подтыкать тебе одеяло.

По дому прокатились эхом гулкие хлопки и скрипы отполированных деревянных дверей.

Дом затих. Издалека с холма донесся писк: ветер спешил прочь с последним грузом — партией летучих мышей, мелких и темных.

Роняя слезы, Тимоти стал потихоньку взбираться по ступеням.

Скелет

*

Weird Tales

Сентябрь 1945

У меня болело горло, я скверно себя чувствовал и отправился к врачу, а он, заглянув мне в глотку, сказал: «Ничего страшного, легонькое покраснение... примите пару таблеток аспирина и ступайте домой, на прием больше не ходите». Я ответил: «Как же, доктор, я ведь чувствую там мускулы и связки». Доктор сказал: «Ну и что, в нашем теле вообще много всего, что мы обычно не чувствуем: локти, колеблющиеся ребра, продолговатый мозг». Когда я выходил из кабинета, я чувствовал в себе и колеблющиеся ребра, и продолговатый мозг, и надколенники в придачу. Эти мысли не отпускали меня и дома, и я сказал: «Боже, а ведь у меня внутри СКЕЛЕТ». Название было готово, я сел и написал рассказ. На это у меня ушло два дня.

*

Очередной визит к знакомому врачу ничем не отличался от предыдущих. Мистер Харрис свернул, волоча ноги, в парадное и по пути наверх покосился на стрелку-указатель и надпись над ней золочеными буквами — «Доктор Берли». Что сделает доктор, увидев его? Вздохнет? Ведь это уже десятый за год визит. Но Берли не должен быть в обиде, осмотры, как-никак, не бесплатные!

Подняв глаза на мистера Харриса, медсестра улыбнулась немного удивленно, прошла на цыпочках к

остекленной двери, открыла ее и просунула голову в помещение. Харрису почудилось, что он слышит слова: «Угадайте, доктор, кто там?» И следом за ними не прозвучал ли язвительный шепот доктора: «О боже, опять?!» Харрис нервно сглотнул.

Когда Харрис вошел, доктор Берли чуть приметно фыркнул.

— Снова боли в костях? Ну и ну! — Он бросил на Харриса хмурый взгляд и поправил очки. — Дражайший Харрис, ваш организм прочесан самым частым гребнем, какой известен науке, ни одной вредной бактерии в нем не осталось. У вас просто не в порядке нервы. Покажите-ка ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дыхните. Слишком много протеинов. Посмотрим-ка глаза. Недостаточно спите. Что я посоветую? Постель, отказ от протеинов и от курения. Десять долларов, пожалуйста.

Харрис не сходил с места и морщил брови.

Доктор поднял взгляд от бумаг.

— Как, вы еще здесь? У вас ипохондрия! Тогда будет *одиннадцать* долларов.

— Но почему же у меня болят кости? — спросил Харрис.

Доктор заговорил тоном, каким обращаются к детям:

— Бывает ведь такая штука: заноеет у тебя мышца и ты давай ее так и сяк щупать да растирать? И чем больше стараешься, тем хуже ноет. А оставишь мышцу в покое — и боли как не бывало. Пойми: ты сам виноват в том, что у тебя болит. Так-то, сынок. Перестань думать о своем организме. Принимай слабительное. Съезди в Финикс, а то месяцами маринуешь себя в помещении. Отправляйся в путь, сделай себе такой подарок!

Спустя пять минут мистер Харрис в аптеке на углу принялся листать телефонный справочник. Дурень набитый этот Берли, дождешься сочувствия от ему подобных, как же! Проследив пальцем рубрику «Специалисты по заболеваниям костной системы», он нашел в конце фамилию и инициал: М. Мьюнигант. Буквы Д. М., равно как и другие указания на профессиональную квалификацию, отсутствовали, однако приемная находилась в удобном, близком месте. Пройти три квартала, свернуть, и еще один...

Подобно своей приемной, М. Мьюнигант был маленьким и темным. Опять же подобно своей приемной, пах йодом, йодоформом и другими непонятными субстанциями. Однако же он оказался хорошим слушателем и его блестящие зрачки следили за собеседником с заинтересованным вниманием. Когда доктор открыл рот, выяснилось, что говорит он с акцентом и словно бы присвистывает при каждом слове — несомненно, из-за неудачных зубных протезов. Харрис выложил доктору все.

М. Мьюнигант кивнул. Ему встречались подобные случаи. Костная система. Человек не воспринимает свои кости. Ну да, кости. Скелет. Сложная история. Речь идет о нарушении баланса, благоприятной координации между душой, плотью и костями. Запутанный случай, тихонько присвистнул мистер Мьюнигант. Харрис слушал как зачарованный. Вот он, врач, который разобрался в его болезни! Психологический, сказал М. Мьюнигант. Проворно, изящными шажками он переместился к неопрятной стене и с грохотом развернул плакаты — полдюжины рентгеновских снимков и рисованное изображение человеческого скелета. Стал показывать. Мистеру Харрису необходимо знать, что у него не так, да-да. Указующий перст переходил от кости к кости.

Смотреть на картинки было страшно. Гротескные и беспредельно жуткие, они напоминали живопись Дали. Харрис затрясся.

М. Мьюнигант продолжал. Желает ли мистер Харрис лечить свои кости?

— Надо подумать, — ответил Харрис.

М. Мьюнигант ничем не мог помочь мистеру Харрису, пока тот не будет в подходящем настроении. Нужна психологическая потребность в помощи, иначе доктор бессилен. Однако, пожав плечами, М. Мьюнигант согласился «попытаться».

Харрис с открытым ртом лежал на столе. Свет был выключен, шторы задернуты. М. Мьюнигант подошел к пациенту.

К языку Харриса прикоснулся какой-то предмет.

Челюстные кости стало распирать. Они защелкали и затрещали. Одна из картинок на затененной стене как будто подпрыгнула. Харриса тряхнуло, и он невольно захлопнул рот.

М. Мьюнигант вскрикнул. Харрис чуть не откусил ему нос! От лечения не будет проку. Время не пришло. М. Мьюнигант поднял шторы. Вид у него был ужасно разочарованный. Когда Харрис почувствует, что готов к психологическому сотрудничеству, когда действительно будет нуждаться в помощи и доверит себя М. Мьюниганту, тогда, быть может, что-нибудь и получится. М. Мьюнигант протянул свою миниатюрную ладонь. Плата составила между тем всего два доллара. Пусть мистер Харрис подумает. Вот рисуночек — пусть возьмет домой и изучит. Себя нужно знать. Относиться внимательно. Ох уж эти скелеты, неприятностей с ними не оберешься. Глазки М. Мьюниганта засверкали. Всего хорошего, мистер Харрис. О, а как насчет хлебной палочки? Мистер Мьюнигант пред-

ложил Харрису коробку с длинными и твердыми хлебными палочками с солью, сам тоже взял одну и начал жевать. Жуя палочки, он чувствует себя... при деле, пояснил он. До скорой встречи, мистер Харрис. И мистер Харрис отправился домой.

На следующий день было воскресенье. Утро у мистера Харриса началось с новой боли и ломоты во всем теле. Он немного посмотрел комиксы, а потом с возобновившимся интересом принялся изучать миниатюрный, но анатомически верный рисунок скелета, данный М. Мьюнигантом.

За обедом его напугала супруга, Кларисс, принявшись хрустеть, один за другим, суставами своих изысканно тонких пальцев.

— Прекрати! — выкрикнул он в конце концов и зажал уши ладонями.

На весь остаток дня Харрис подверг себя карантину в своей комнате. Кларисс, с еще тремя дамами, сидела в гостиной — играла в бридж, смеялась и болтала. Харрис между тем со все большим любопытством рассматривал и ощупывал себя всего. Прошел час, и он внезапно позвал:

— Кларисс!

Она имела обыкновение не входить, а как бы втанцовывать в комнату, проделывая всяческие изящные телодвижения, только бы не примять подошвой ни единой ворсинки ковра. Извинившись перед подругами, она с радостным видом предстала перед супругом. Он сидел в дальнем углу и, как заметила Кларисс, разглядывал тот самый анатомический рисунок.

— Как раньше, весь в раздумьях, дорогой? Брось, пожалуйста. — Она уселась мужу на колени.

Но мужа занимала не красота Кларисс. Легко удерживая ее легкое как пушинка тело, он недоверчиво

притронулся к коленной чашечке жены. Под нежной, сияющей кожей коленка словно бы ходила из стороны в сторону.

— Так и должно быть? — спросил он, шумно втягивая в себя воздух.

— Что должно быть? И как? — рассмеялась она. — Ты о коленной чашечке?

— Вот так она должна перемещаться, вкруговую? Кларисс попробовала.

— В самом деле, — удивилась она. — Так и есть. Тыфу ты. — Она задумалась. — Нет, с другой стороны, не так. Это всего лишь зрительная иллюзия. Мне кажется. Это не кость движется, а кожа. — Она продемонстрировала.

— Я рад, что у тебя она тоже скользит. А то уже начинал беспокоиться.

— Из-за чего?

Харрис похлопал себя по ребрам.

— Ниже ребер уже нет, они оканчиваются здесь. Но вот еще какие-то — держатся неизвестно на чем!

Кларисс сцепила руки под легкими округлостями своей груди.

— Конечно, дурачок, ребра у всех кончаются в определенном месте. А те короткие чудные — это колеблющиеся ребра.

— Просто хотелось бы надеяться, что размах колебаний у них не слишком уж большой, — неловко пошутил Харрис.

Теперь ему захотелось, чтобы жена ушла: предстояло сделать важное открытие, касающееся собственного тела, а она еще станет насмешничать.

— Жить буду, — сказал он. — Спасибо, дорогая, что зашла.

— Что понадобится — зови.

Поцеловав мужа, Кларисс потерлась о его нос своим теплым розовым носиком.

— Черт возьми! — Он ошупал свой нос, потом ее. — Ты когда-нибудь обращала внимание на то, что носовая кость доходит только досюда, а дальше начинается отросток хряща?

Жена сморщила нос, бросила: «Ну и что?» — и танцующим шагом удалилась.

На лице Харриса, во всех его ямках и впадинках, выступил пот и заструился по щекам соленым потоком. Следующим по программе был позвоночник и спинной мозг. Харрис обследовал их тычками, как тыкал в кнопки в конторе, когда нужно было вызвать посыльного. Но на эти тычки отозвались страхи, через множество дверей они ринулись в голову Харриса, чтобы атаковать его разум. Позвоночник оказался на ощупь ужасно... костлявым. Как объединенная до скелета рыба на фарфоровом блюде. Харрис ошупал шишечку за шишечкой. «Боже».

Его зубы начали выбивать дробь. «Боже всемогущий,— думал Харрис,— почему мне раньше не приходило в голову? Ведь все эти годы внутри у меня помещался... СКЕЛЕТ! — Собственные пальцы расплылись у него перед глазами, как прыгающее изображение на пленке, снятой рапидом. — Как так получается, что нам нет дела до самих себя? Что мы никогда не задумываемся о своем теле, о своем существе?»

Скелет. Одна из тех твердых составных шукувин, белых, гнилых, сухих, хрупких, — черепа, пустые глазницы, разболтанные пальцы, перестук костей; из тех шукувин, что висят на цепях в чуланах среди паутины, что валяются там и сям в пустыне, разбросанные, как игральные кубики!

Харрис встал — он не мог больше сидеть. Внутри меня, простонал он... его живот, голова... внутри моей головы — череп. Эдакий выгнутый панцирь, а в нем мозг — желе, где бродят электрические токи; треснутая раковина, с передней стороны две дырки, словно из двустволки прострелили! Костные гроты и пещеры, одетые плотью, что хранят в себе обоняние, зрение, слух, мысли! Мой мозг сидит внутри черепа и видит внешний мир не иначе как сквозь его ломкие оконца!

Ему хотелось вторгнуться на вечеринку с бриджем, все перевернуть, как лиса на птичьем дворе, чтобы вместо перьев в воздух взметнулось облако карт! Остановить себя удалось лишь отчаянным до дрожи усилием. Ну-ну, старина, держи себя под контролем. Ты сделал открытие, теперь оценивай его, обсасывай. **НО СКЕЛЕТ!** — крикнуло его подсознание. Этого мне не перенести. Это вульгарно, страшно, это пугает. Скелеты — это жуткая вещь; они гремят и звякают костями в древних замках, свисают с дубовых балок, ленивым маятником раскачиваются на ветру...

— Дорогой, не выйдешь ли познакомиться с дамами? — позвал нежный, чистый голосок жены.

Мистер Харрис встал. Его держал СКЕЛЕТ. Этот чужак внутри его, этот жуткий вторженец поддерживает его руки, ноги, голову. Словно за спиной затаился кто-то, кого там не должно быть. С каждым шагом он все больше осознавал, насколько зависит от этой чуждой Штуковины.

— Сейчас-сейчас, дорогая, — отозвался он слабым голосом.

И сказал сам себе: «Ну-ну, взбодрись. Завтра тебе опять на работу. В пятницу нужно ехать в Финикс. Поездка долгая. Сотни миль. Так что будь в форме, а то

как ты убедишь мистера Крелдона вложить деньги в твою затею с керамикой. Ну, выше голову».

Через пять минут он стоял в кружке дам и знакомился с миссис Уайзерз, миссис Абблматт, мисс Кирси, и у всех них внутри были скелеты, но их это не беспокоило, потому что нагие ключицы и берцовые кости природа милосердно облачила в груди, ляжки, икры; дьявольское хитросплетенье волос, бровей, воспаленные губы, и... БОЖЕ! — вскрикнул про себя мистер Харрис... стоит им открыть рот, наружу выглядывает часть скелета... зубы! Прежде мне это не приходило в голову.

— Простите,— проговорил Харрис и ринулся к порогу. Едва поспев к садовой балюстраде, он оросил своим завтраком грядки с петуниями.

Ночью, пока жена раздевалась, Харрис сидел в кровати и тщательно подстригал ногти на руках и ногах. Это тоже были внешние части скелета, возмутительно отросшие. Вероятно, он начал рассуждать вслух: жена, оставшись в неглиже, скользнула в постель, свернулась, как зверек, уютным калачиком и зевнула:

— Да что ты, дорогой, ногти совсем не кости, это затвердевшие отростки кожи.

Харрис с облегчением отбросил ножницы.

— Рад слышать. Так уже лучше.— Он окинул задумчивым взглядом сочные изгибы ее тела: — Надеюсь, все люди устроены одинаково.

— В жизни не видела второго такого ипохондрика.— Жена прижалась к нему.— Выкладывай. Что случилось? Скажи маме.

— Это внутри,— отозвался Харрис.— Съел что-то.

Все следующее утро до полудня мистер Харрис, сидя в конторе, размышлял о своих костях и находил их размеры, форму и конструкцию весьма неприятными. В десять он попросил у мистера Смита разрешения потрогать его локоть. Тот разрешил, однако хмуро поморщился. После ланча мистер Харрис обратился к мисс Лорел с просьбой потрогать ее лопатку, и она тут же прижалась к нему спиной, закрыла глаза и замурлыкала как кошка, ожидая, что он пожелает обследовать и прочие приятные подробности ее анатомии.

— Мисс Лорел! — фыкнул он. — Прекратите немедленно!

Оставшись в одиночестве, он задумался о своем неврозе. Только-только кончилась война, работы невпроворот, виды на будущее неопределенные — все это сказалось на его умственном здоровье. Ему хотелось расстаться с конторой, завести собственное дело. Он занимался немного скульптурой и керамикой, обладал незаурядным художественным даром. Как можно скорее необходимо съездить в Аризону и получить деньги от мистера Креддона. Тогда можно будет соорудить печь для обжига и завести собственную мастерскую. И тут эта напасть. Вот беда. Хорошо еще, что он нашел М. Мьюниганта, тот готов вроде бы разобраться и оказать помощь. Но надо бы справиться самостоятельно, к Мьюниганту или доктору Берли не обращаться, пока не припрет. Необычные ощущения исчезнут сами. Мистер Харрис сидел, глядя в пустоту.

Но необычные ощущения не исчезли. Они усиливались.

Весь вторник и среду его ужасно тревожил контраст: кожа, эпидерма, волосы и другие внешние по-

кровы далеки от идеала, а вот одетый ими скелет чист, гладок и эффективно устроен. Иной раз, видя, как опустились под грузом меланхолии уголки его губ, Харрис воображал себе за ними улыбающийся череп. Чего-чего, а наглости ему не занимать!

— Отвяжись от меня! — кричал Харрис. — Отвяжись! Ты меня поймал и держишь в плену! Ты зажал в тиски мои легкие! Освободи их!

Он лихорадочно хватал ртом воздух, словно задышался под нажимом ребер.

— Да не дави ты на мой мозг!

Зажатый, как моллюск между своими створками, мозг кипел от боли.

— Оставь, бога ради, в покое мои внутренние органы! Не трогай сердце!

Его сердце екало от тревожной близости ребер. Они же, как белесые пауки, корчились, играя со своей добычей.

Однажды вечером, пока Кларисс была на собрании Красного Креста, Харрис лежал в постели и обливался потом. Он старался причесать свои мысли и все время натыкался на конфликт между беспорядочной наружной оболочкой и этой строго симметричной внутренней штуковиной из холодного кальция.

Лицо: жирное, в морщинах забот?

А посмотри-ка на безупречное, белоснежное совершенство черепа.

Нос: слишком длинный?

А посмотри на нос черепа: вот на этих крохотных косточках вырос чудовищный хрящ, основа кривого руля на физиономии Харриса.

Туловище: полноватое, разве нет?

А вот скелет: худой, стройный, нигде ничего лишнего. Изысканная восточная статуэтка из слоновой кости, тоненький совершенный тростник.

Глаза: заурядные, тупо таращатся?

А взгляни-ка, будь любезен, на глазные орбиты черепа: глубокие и округлые, темные и безмятежные водоемы, всезнающие, вечные. Загляни в самую их глубину: бездонную мудрость, что там таится, не измеришь никаким отвесом. Ирония, жестокость, жизнь, все сущее на свете — в этих чашах тьмы.

Сравни. Сравни. Сравни.

Речистый и неистовый, он бушевал часами. Скелет меж тем, все такой же хрупкий и философски безразличный, спокойно висел внутри Харриса и молчал; висел спокойно, подобный хрупкому насекомому внутри куколки, и ждал, ждал.

Потом Харриса осенило.

«А ну-ка подожди. Подожди минутку. Ты ведь тоже беспомощен. Я тоже тебя поймал. Могу вертеть тобою как хочу. И никуда ты не денешься! А ну давай: запястье, пясть, фаланги пальцев — рука машет, машет как миленькая!» Харрис захихикал.

«Кости голени и бедра, слушать мой приказ: ать-два, ать-два, ать-два. Отлично».

Харрис ухмыльнулся.

«Борьба на равных. Шансы фифти-фифти. И мы поборемся, один на один. В конце концов, я мыслящая часть организма! — Отлично, это была победа, она ему запомнится. — Да, боже ты мой, да. Мыслящая часть — это я. Я мыслю, и ты мне для этого не нужен!»

И тут же его голову пронзила боль. Череп усиливал давление — он давал сдачи.

К концу недели Харрис расхворался настолько, что отложил поездку в Финикс. Когда он встал на весы, красная стрелка медленно подползла к отметке 164.

Харрис застонал.

«Как же так, уже десять лет я вешу ровно сто семьдесят пять фунтов. Спустить разом десять фунтов — это невероятно. — Он изучил свои щеки в засиженном мухами зеркале. Харриса потряхивало от холодного первобытного страха. — погоди же! Я знаю, что ты задумал».

Он погрозил пальцем своему костлявому лицу, адресуясь прежде всего к верхнечелюстным костям, черепу и шейным позвонкам.

«Ну ты и чудила. Вздумал меня заморить, довести до истощения? Ты бы тогда торжествовал? Спустить все мясо, оставить только кожу да кости? Я иссохну, и ты выберешься на передний план? Как бы не так!»

Харрис побежал в кафетерий.

Заказав индейку, соус, картофельное пюре, четыре овощных блюда и три десерта, он скоро убедился, что его воротит от еды. Харрис заставил себя взяться за кушанья. И тут у него заболели зубы. «Больные зубы, вот как? — злобно спросил он себя. — Ну и пусть стучат и шатаются, пока не попадают в подливку».

Голову ломило, стесненная грудь дышала с трудом, в зубах пульсировала боль, но одну небольшую победу он все же одержал. Взявшись за стакан молока, он остановился и вылил содержимое в вазу с настурциями. «Э нет, дружок, не будет тебе кальция. Пища, богатая кальцием или другими минералами, которые укрепляют кости, больше не для меня. Обоих я больше не кормлю — только одного».

— Сто пятьдесят фунтов, — сказал он жене на следующей неделе. — Заметила, как я изменился?

— Клучшему, — кивнула Кларисс. — У тебя, дорогой, всегда имелась чуточка лишнего веса. — Она по-

гладила его по подбородку. — Ты похорошел, лицо стало такое решительное, мужественное.

— Это не мое лицо, а его, будь он проклят! Выходит, он тебе нравится больше, чем я? — В голосе Харриса звучало негодование.

— Он? Какой такой «он»?

Из зеркала, висевшего за спиной Кларисс, сквозь гримасу ненависти и отчаяния, в какую сложились мышцы лица, ему улыбнулся его череп.

Кипя яростью, Харрис кинул себе в рот таблетку солода. Таков один из способов набрать вес, если организм отторгает другую пищу. Кларисс заметила пилюлю.

— Право, дорогой, если ты стараешься потолстеть ради меня, то не нужно.

«Да заткнись ты!» — едва не вырвалось у Харриса.

Жена подошла, села и притянула его голову себе на колени.

— Дорогой. Я в последнее время к тебе присматривалась. С тобой что-то... не так. Ты молчишь, но вид у тебя... затравленный. Ночью мечешься в постели. Наверное, тебе стоило бы сходить к психиатру. Но я догадываюсь, что он скажет. У тебя вырывались намеки, я их сопоставила и сделала вывод. И могу тебе сказать, что ты и твой скелет — одно целое, единое и неделимое государство со свободой и правосудием для всех. Вместе вы выстоите, поодиночке — падете. Если в дальнейшем вы двое не научитесь ладить друг с другом, как давняя супружеская пара, ступай опять к доктору Берли. Но прежде всего расслабься. Ты попал в порочный круг: чем больше себя донимаешь, тем больше выпирают кости, и ты донимаешь себя еще пуще. В конце концов, кто затеял этот раздор — ты или то

безымянное существо, которое, по-твоему, помещается у тебя за пищеводом?

Харрис опустил веки.

— Я. Наверное, я. О дорогая, как же я тебя люблю.

— А теперь отдохни,— мягко проговорила Кларисс.— Отдыхай и ни о чем не думай.

Полдня мистер Харрис чувствовал себя бодро, но потом опять скис. Списать все на воображение было проще всего, однако, бог мой, его скелет сопротивлялся.

В тот же день Харрис отправился к М. Мьюниганту. Он шел пешком полчаса и наконец увидел на нужном здании стеклянную табличку с потертой надписью золотом: «М. Мьюнигант». И тут его потряс взрыв боли, кости буквально выворачивало из сочленений. Залитые слезами глаза ничего не видели. Харрис зашатался. Снова открыв глаза, он обнаружил, что успел завернуть за угол. Приемная М. Мьюниганта скрылась из виду.

Боль отпустила.

Харрис убедился, что М. Мьюнигант — как раз тот человек, который ему поможет. Иначе и быть не могло! Если при виде позолоченной таблички с именем Мьюниганта в организме Харриса разразилась подобная буря, значит, так оно и есть.

И все же не сегодня. Каждый раз, когда он поворачивал обратно к приемной, его останавливала чудовищная боль. Обливаясь потом, Харрис сдался и нетвердой походкой направился в ближайший коктейль-бар.

Пересекая полутемное помещение бара, Харрис мимолетно задумался о том, нет ли на М. Мьюниган-

те вины, ведь именно Мьюнигант впервые побудил его обратить особое внимание на свой скелет, дал толчок психическому сдвигу! Что, если М. Мьюнигант преследует какие-то свои, губительные цели? Но каковы они? И думать смешно. Так, докторишка. Старается быть полезен. Мьюнигант с коробкой хлебных палочек. Глупости. Все нормально с этим М. Мьюнигантом, все нормально.

В баре его ожидала встреча, давшая ему надежду. У буфета стоял крупный, круглый, как шар, толстяк и кружка за кружкой глушил пиво. Вот он, благополучный человек. Харрис едва удержался от того, чтобы подойти к незнакомцу, хлопнуть по плечу и спросить, как ему удалось так укротить свои кости. Да, скелет толстяка был отлично упрятан — где жировая подушка, где упругий валик, где тройной подбородок. Несчастный скелет потерялся, из-под этих слоев жира ему было не прорваться; наверное, он попытался разок-другой, но теперь смирился, и ничто уже не свидетельствовало о том, что у этого пузыря имеется твердая опора. Не без зависти Харрис подошел ближе — так маленькое суденышко проскакивает перед носом океанского лайнера. Заказав стаканчик и опрокинув его, Харрис осмелился обратиться к толстяку:

— Железы?

— Вы меня спрашиваете? — отозвался толстяк.

— Или особая диета? — поинтересовался Харрис. — Прошу прощения, но, как вы видите сами, я потерял вес. И никак не могу пополнить. Вот бы мне живот как у вас. Вы его вырастили, потому что чего-то боитесь?

— Вы пьяны, — возгласил толстяк. — Но... мне нравятся пьянчуги. — Он заказал еще спиртного. — Слушайте сюда. Я вам расскажу... Слои за слоями, — про-

должал толстяк, — я выращивал их двадцать лет, еще с малолетства. — Он держал свой громадный живот, как глобус, знакомя слушателей с гастрономической географией. — Это вам не цирк шапито, чтобы сляпать за одну ночь. Раз-два — и шоу готово. Нет, моим внутренним органам понадобились долгие заботы; так выращивают породистых животных — собак, к примеру, или котов. Мое брюхо — это роскошный, жирный персидский котяра; он то дремлет, то мурлычет, то мяучит, то с воем требует шоколадного печенья. Я хорошо его кормлю, и он меня слушается. А мои кишки, дорогуша, это индийские питоны самых чистых кровей — лоснящиеся кольца, здоровые и цветущие. Всю свою живность я содержу по-царски. Чего-то боюсь? Может быть.

Тут потребовалось еще по стаканчику для обоих собеседников.

— Набрать вес? — Толстяк произнес это смачно, со вкусом. — Нужно вот что. Заведи жену, крикливую, как ворона, чертову дюжину родственников, что способны на пустом месте устроить целую кучу неприятностей. Добавь к ним деловых партнеров, которые думают только о том, как бы урвать у тебя последний грош, и, считай, толстое брюхо тебе обеспечено. Как так? В скором времени твое подсознание примется строить между тобой и ними барьер из жира. Буфер из эпидермы, стену из клетчатки. Ты убедишься: кроме еды, на свете не существует развлечений. Но нужно иметь какой-нибудь внешний раздражитель. Очень многим недостает внешних неприятностей, вот они и начинают сами себя донимать и оттого теряют вес. Собери вокруг себя всех, каких сможешь, негодяев и мерзавцев, и в считанные дни начнешь обрастать жирком!

На этом совете толстяк поставил точку и, качаясь из стороны в сторону и пытаясь, выплыл в темный простор ночи.

— Именно то самое, только в других выражениях, говорил доктор Берли, — задумчиво произнес Харрис. — Быть может, как раз сейчас поездка в Финикс...

Поездка из Лос-Анджелеса в Финикс пришлась на жаркий день, воздух над пустыней Мохаве просто кипел. Поток уличного движения был скудный и прерывистый, долгое время ни спереди, ни сзади не виделось других машин. Харрис конвульсивно сжимал руль. Удастся ли получить от Креддона в Финиксе заем, чтобы начать собственное дело, или не удастся — в любом случае вырваться из дома, уехать подалее было неплохо.

Автомобиль бежал в горячей струе пустынного ветра. Внутри мистера Х. сидел другой мистер Х. Скорее всего, оба они обливались потом. И оба были несчастны.

На повороте внутренний мистер Х. внезапно стянул мышцы внешнего, и тот дернулся вперед, припав к разогретой баранке.

Автомобиль съехал в глубокий песок. И наполовину перевернулся.

Вечерело, ветер крепчал, на одинокой дороге было тихо. Редкие машины проносились мимо во весь опор, заметить следы аварии было трудно. Мистер Харрис лежал без сознания до поздней ночи, потом, услышав вой ветра и ощутив на щеках уколы песчинок, открыл глаза.

К утру он, с запорошенными глазами, забрел в бреду в сторону от дороги и принялся нарезать бессмысленные круги. В полдень Харрис нашел кустик и за-

полз в его скудную тень. Солнце резало как ножом — до самых костей. Над головой кружил гриф.

Красноглазый, обросший щетиной, Харрис с трудом разлепил опаленные губы.

— Вот оно как? — простонал он. — Не мытьем так катаньем ты намерен меня погубить, заморить усталостью, голодом, жаждой, изничтожить. — Он сглотнул сухие колющие пылинки. — Меня прожжет солнцем, и ты выглянешь на поверхность. Мною позавтракают грифы, и ты останешься лежать и ухмыляться. Победно ухмыляться.словно брошенный ксилофон, побелевший на солнце. И грифы, любители странных созвучий, станут на тебе играть. Тебе понравится. Свобода.

Пейзаж вокруг дрожал и дергался, размытый потоками солнечного света. Харрис тащился вперед, спотыкался, падал, лежа ловил ртом вспышки пламени. Воздух был голубым спиртовым пламенем, скользившие кругами грифы жарились, парились, сверкали на лету. Финикс. Дорога. Автомобиль. Вода. Безопасность.

— Эй!

Издалека, сквозь голубое спиртовое пламя, долетел чей-то голос.

Мистер Харрис приподнялся.

— Эй!

Оклик повторился. Захрустели поспешные шаги.

С возгласом невероятного облегчения Харрис встал на ноги, но тут же рухнул на руки человека в мундире, со значком...

После нудной поездки на буксире, починки машины, прибытия в Финикс мысли у Харриса путались, и деловые переговоры он воспринял как какую-то пан-

томиму. Даже получив заем и держа в руках деньги, он не взбодрился. Эта Штуковина внутри, похожая на твердый белый меч в ножнах, накладывала отпечаток на любые мысли: о делах, еде, о любви к Кларисс, мешала водить автомобиль; в общем, только обуздывая ее, можно было вернуть себе интерес к делам и ко всему прочему. Происшествие в пустыне ранило его не на шутку. До самых костей, хотелось ему добавить с иронической усмешкой. Собственный тусклый голос, благодаривший мистера Креддона за деньги, Харрис слышал как бы со стороны. Развернув автомобиль, он пустился в долгий обратный путь, на сей раз через Сан-Диего, чтобы исключить пустынный участок между Эль-Сентро и Бомонтом. Он двинулся на север вдоль побережья. Пустыне Харрис не доверял. Но — побегись! На берег у лагуны с рокотом и свистом накатывали соленые волны. Песок, рыбы, ракообразные очистят его кости едва ли не проворней грифов. Полегче на поворотах, когда минуешь полосу прибоя.

Если что-нибудь случится, он желал, чтобы его кремировали. Тогда оба они сгорят вместе. Только не похороны на кладбище, где эти мелкие ползучие твари сложут плоть и не оставят ничего, кроме голых костей! Нет, кремация и только. Чертов тот второй! Харрису сделалось тошно. К кому обратиться за помощью? К Кларисс? К Берли? К Мьюниганту? Специалист по костной системе. Мьюнигант. Да?

— Дорогой! — пропела Кларисс, целуя мужа.

Он вздрогнул, ощутив за ее страстным порывом твердость челюсти и зубов.

— Дорогая! — откликнулся он медленным голосом и дрожащим запястьем отер губы.

— А ты похудел. Твое дело, дорогой, оно как?..

— Сладилось. Да, сладилось. Наверное. Ну да.

Жена возликовала. Облобызала Харриса еще раз. О боже, из-за своего заскока он даже не способен больше получать удовольствие от поцелуя. Последовал затяжной, сопровождавшийся фальшивым весельем обед; Кларисс смеялась и подбадривала супруга. Затем он стал присматриваться к телефонной трубке, несколько раз нерешительно снимал ее с рычага и клал обратно. Вошла жена, на ходу надевая пальто и шляпу.

— Прости, мне пора, — со смехом сказала она, легонько ущипнув Харриса за щеку. — Выше голову! Я на собрание Красного Креста, вернусь через три часа. Ляг пока вздремни. Я не могу не пойти.

Когда Кларисс вышла, Харрис нервно набрал телефонный номер.

— М. Мьюнигант?

Когда Харрис положил трубку, его тело взорвалось болью. Кости щипало, ломило, выкручивало, обжигало холодом и жаром. Такой муки он не переживал и в страшнейшем из кошмаров. Отбивая атаку, он проглотил весь аспирин, который обнаружил в доме. Через час звякнул дверной колокольчик, но Харрис не смог двинуться. Он лежал, как жертва на дыбе — замученный, бессильный, — задыхался и глотал слезы. Уйдет ли М. Мьюнигант, не дождавшись ответа на свой звонок?

— Входите! — выдавил из себя Харрис. — Ради бога, входите!

М. Мьюнигант вошел. Слава богу, дверь оставалась незапертой.

О, ну и вид у мистера Харриса. Малорослый, темноволосый М. Мьюнигант стоял посреди гостиной. Харрис кивнул ему. Боль крушила его железными мо-

лотками и разрывала крючьями. Когда М. Мьюнигант заметил выступающие кости Харриса, глаза его сверкнули. Ага, он убедился: мистер Харрис психологически готов к тому, чтобы принять помощь. Так ведь? Харрис еще раз слабо кивнул и всхлипнул. М. Мьюнигант все так же присвистывал во время речи: что-то такое с языком. Не важно. Сквозь мерцание в глазах Харрису чудилось, что М. Мьюнигант усыхает, делается меньше. Воображение, конечно. Всхлипывая, Харрис изложил историю с поездкой в Финикс. М. Мьюнигант посочувствовал. Хорош скелет — предатель да и только! Мы его *отладим* — раз и навсегда!

— Мистер Мьюнигант, — чуть слышно вздохнул Харрис. — Я прежде не замечал. У вас язык такой странный-престранный. Круглый. Вроде трубки. Полый? Конечно же, мне показалось. Не обижайтесь. Это бред. Я готов. Что мне делать?

Приблизившись, М. Мьюнигант тихонько, оценивающе присвистнул. Не будет ли мистер Харрис так добр сесть поудобней и открыть рот? Свет был выключен. М. Мьюнигант заглянул в разверстый рот Харриса. Шире, пожалуйста! При том, первом визите помочь пациенту было затруднительно, ведь это был бунт и тела и костей. Теперь же, во всяком случае, гибкие ткани готовы к сотрудничеству, даже если скелет немного ломается. Голос М. Мьюниганта в темноте мельчал и мельчал, делаясь совсем крохотным. Свист звучал все тоньше и пронзительней. Ну вот. Расслабьтесь, мистер Харрис. НУ ВОТ!

Ротовую полость Харриса распирало во всех направлениях, язык придавило, как будто ложкой, глотка была чем-то забита. Он судорожно вдохнул. Свист. Дыхания не было! В горле сидела пробка. Щеки скручивало винтом, челюсти раздирало. В пазухи хлынул

горячий душ, в ушах зазвенело! «А-ах!» — давясь, крикнул Харрис. Голова повисла — ее панцирь был расколот и расшатан. Мучительная боль спустилась в легкие, пошла во все стороны.

В тот же миг к Харрису вернулось дыхание. Полные слез глаза распахнулись. Он закричал. Ребра зашевелились: их словно бы кто-то вытягивал, собирая в пучок. Боль! Харрис упал и покатился по полу, жаркое дыхание с хрипом вырывалось изо рта.

В бесчувственных глазных яблоках замелькали блики, чья-то опытная рука проворно и уверенно расшатывала и высвобождала его конечности. Сквозь слезы Харрис разглядел гостиную.

Там было пусто.

— М. Мьюнигант? Где вы? Бога ради, где вы, М. Мьюнигант? Сюда, помогите мне!

М. Мьюниганта не было.

— Помогите!

Тут он услышал это.

В глубинных щелях его телесного колодца зародились едва различимые, невероятные шумы: кто-то там чмокал, крутился, что-то откалывал, жевал, нюхал — словно крохотная голодная мышка решительно и со знанием дела глодала там несуществующее затопленное бревно!..

С высоко поднятой головой Кларисс шагала по тротуару напрямик к своему дому на Сент-Джеймской площади. Занятая мыслями о Красном Кресте и множестве других предметов, она обогнула угол и едва не наткнулась на малорослого темноволосого человека, от которого пахло йодом.

Кларисс не обратила бы на него внимания, если бы он не извлек из внутреннего кармана пальто ка-

кой-то странно знакомый предмет, длинный и белый, и не вгрызся в него, как в мятный леденец. Когда конец был отъеден, прохожий проник необычно длинным языком в сердцевину белой конфеты, с довольным похрюкиванием высасывая начинку. Под хруст леденца Кларисс добралась до своей двери, повернула ручку и вошла.

— Дорогой? — Она с улыбкой огляделась. — Дорогой, ты где?

Закрыв дверь, Кларисс прошла в холл, потом в гостиную.

— Дорогой...

Ничего не понимая, Кларисс уставилась на пол.

И пронзительно закричала.

Снаружи, в тени платана, низкорослый человечек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, с тихим вздохом вытянул губы и заиграл на импровизированном инструменте негромкую печальную мелодию — она послужила аккомпанементом неистовым воплям Кларисс, долетавшим из гостиной.

В детстве Кларисс не раз случалось, пробегая по пляжу, наткнуться на медузу и вскрикнуть. Не было ничего ужасного в том, чтобы обнаружить на полу гостиной неповрежденную медузу в студенистой оболочке. Можно ведь и попятиться, в конце концов.

Но вот когда медуза окликает тебя по имени...

Банка

*

Weird Tales

Ноябрь 1944

Летом то ли тридцать четвертого, то ли тридцать пятого года в Оушн-парке было организовано несколько выставок с большим вопросительным знаком, украшавшим вход. Впуск был свободный, поэтому я забрел на такую выставку. Там было множество банок, с утопленными котятками, со щенком, с другими устрашающими экспонатами, мне неизвестными. Это были зародыши на разных стадиях развития. Две недели, месяц, два месяца, три месяца и, наконец, восемь месяцев — почти готовый ребенок. И внезапно я осознал, что передо мной история человеческого рода. Меня бросило в дрожь... Я ничего не знал о жизни. И вот позднее, стуча как-то на пишущей машинке, я вдруг вспомнил эти банки и их загадочное содержание. Поместив его мысленно в одну большую банку, я начал писать рассказ, и через два часа он был закончен. Речь шла о том потрясении, когда я впервые столкнулся с зародышами — мне ведь никто не сказал, что́ передо мной, на всей выставке не было ни одной подсказки. Ситуация самая метафорическая, об остальном догадайтесь сами.

*

Это была одна из тех штуквин, какие держат в банках где-нибудь в балагане на окраине маленького сонного городка. Из тех белесых штуквин, которые сонно кружат в спиртовой плазме, лупятся мертвыми, затянутыми пленкой глазами, но не видят тебя. Она гар-

монировала с безмолвием ночной поры, разве что запоет сверчок или запричитают в дальнем болоте лягушки. Одна из этих штукювин в больших банках — увидишь, и внутри екнет, словно тебе попался на глаза лабораторный чан с ампутированной рукой.

Чарли смотрел на нее в ответ, смотрел долго.

Его большие грубые руки с волосатыми запястьями долго цеплялись за веревку, ограждавшую экспонаты от любопытных зрителей. Он заплатил за вход десять центов и теперь смотрел.

Вечер подходил к концу. Карусель, лениво, монотонно звякая, впадала в спячку. За парусиновой палаткой дымили сигаретами и переругивались рабочие; там шла игра в покер. Огни гасли, на ярмарку с аттракционами спускалась темная летняя ночь. Народ кучками и рядами устремлялся к выходу. Где-то заговорило и смолкло радио, в бескрайнем луизианском небе, усеянном звездами, воцарилось безмолвие.

Во всем свете для Чарли не осталось ничего, кроме этой белесой штукювины, запертой в своей сывороточной вселенной. Челюсть у Чарли блаженно отвалилась, обнажая зубы, в глазах застыл восторженный вопрос.

Сзади, в тени, прозвучали чьи-то шаги; темная фигура казалась маленькой по сравнению с гигантом Чарли.

— О,— произнес человек, выступая из тени.— Ты еще здесь, парень?

— Ага,— буркнул Чарли, досадуя, что помешали его раздумьям.

Хозяину аттракционов понравилось любопытство Чарли. Он кивнул своему старому знакомцу в банке.

— Любимец публики; в своем роде, конечно.

Чарли поскреб свою крупную челюсть.

— А вы... вы не подумывали его продать?

Хозяин аттракционов широко открыл глаза, потом закрыл. Фыркнул.

— Не. Он привлекает посетителей. Им нравятся такие диковинки. С гарантией.

Чарли разочарованно присвистнул.

— Что же, — продолжал хозяин, — у кого водятся деньжата, тому, может быть...

— Сколько денег?

— У кого есть за душой... — Щурясь на Чарли, хозяин стал раздумывать и прикидывать на пальцах. — У кого есть три-четыре или, скажем, семь-восемь...

Чарли кивал, выжидая. Видя это, хозяин поднял ставку:

— ...Долларов десять, а лучше пятнадцать...

Чарли нахмурился. И хозяин отступил:

— Скажем, долларов *двенадцать*.

Чарли ухмыльнулся.

— Кто имеет двенадцать долларов, тому я, так и быть, уступлю эту банку, — заключил хозяин.

— Забавно, — сказал Чарли. — У меня в кармане джинсов как раз двенадцать баксов. И я прямо-таки вижу: возвращаюсь я в Уайлдер-Холлоу с таким чудом и ставлю его на свою полку над столом. Пари держу, у ребят глаза на лоб полезут.

— Тогда послушай...

Сделка совершилась, Чарли принес банку в фургон и поставил на заднее сиденье. Лошадь при виде банки дернулась и заржала.

Во взгляде хозяина аттракционов отразилось чувство, близкое к облегчению.

— Так или иначе, мне эта чертова кукла набила оскомину. Не благодари. В последнее время мне на ее счет приходили всякие чудные мысли... Впрочем,

не обращай внимания, просто у меня язык без костей. Пока, фермер!

Чарли тронулся в путь. Голые синие лампочки ярмарки сжимались в точку, как потухающие звезды, темная луизианская ночь поглощала фургон и лошадь. Веселый медный звон карусели затих. Остались Чарли, лошадь, мерно переступавшая серыми копытами, и сверчки.

А также банка за высоким сиденьем.

Жидкость плескалась туда-сюда. Булькала. Холодная серая штука внутри сонно стучалась о стекло, глядела наружу, глядела и ничего не видела, ничего не видела.

Чарли перегнулся через спинку сиденья, чтобы потрогать крышку. Ощутив сквозь крышку пары странной жидкости, его ладонь вернулась не такая — холодная, взволнованно дрожащая. Он ярко раскраснелся от счастья. Да, сэр!

Бульк-бульк, бульк-бульк...

В Холлоу, в тусклых пятнах от травянисто-зеленых и кроваво-красных фонарей, собралась небольшая толпа; обмениваясь монотонными репликами и поплеывая, приятели коротали время на территории универсального магазина.

Скрип-перестук фургона Чарли был им хорошо знаком, и ни одна нечесаная, тускловолосая голова не повернулась, когда он, покачавшись, остановился. Их сигары были как никотиновые светлячки, голоса — как кваканье лягушек летними ночами.

Чарли взволнованно вытянул шею.

— Привет, Клем! Привет, Милт!

— Чарли, послушай-ка. Послушай,— забормотали они.

Политический спор продолжался. Чарли резко его оборвал.

— Я тут кое-что привез. Вам, наверно, захочется посмотреть!

На галерее универмага блеснули зеленью в свете фонаря глаза Тома Кармоди. Чарли казалось, будто Том Кармоди только и делает, что торчит где-нибудь под крыльцом, в тени деревьев или в дальнем уголке комнаты и сверкает в темноте глазами. Что выражает его лицо, понять было невозможно, но в глазах всегда играло веселье. И каждый раз они смеялись по-разному.

— Да брось, дурло, как будто ты можешь нас чем-то удивить!

Чарли показал ему крепко стиснутый кулак.

— Там какая-то штука в банке,— продолжал он.— На вид то ли мозг, то ли волчонок в маринаде, то ли... Сами смотрите!

Кто-то уронил с сигары розовый пепел и неспешно подошел посмотреть. Чарли торжественно поднял крышку банки, и лицо приятеля, освещенное неверным светом фонаря, вытянулось.

— Что это такое, черт поberi?

Тут только лед тронулся. Приятели стали приподниматься, вытягивать шеи. Осознав, что предстоит увидеть нечто необычное, приблизились. Они держались небрежно, только пошире расставили ноги, чтобы не упасть от удивления. Вокруг банки и ее содержимого сомкнулся кружок странноватых физиономий. Впервые в жизни поступая согласно заранее задуманной стратегии, Чарли со звоном захлопнул крышку.

— Кто хочет рассмотреть получше, заходите ко мне! Банка будет там,— великодушно объявил он.

Том Кармоди сплюнул со своего насеста на галерею:

— Ха!

— Покажи-ка еще,— крикнул Дедуля Медноу.— Это мозг?

Чарли тряхнул вожжами, и лошадь, спотыкаясь, тронулась.

— Заходите ко мне! Добро пожаловать!

— А что скажет твоя жена?

— Она нам головы открутит!

Но Чарли с фургоном уже спускались с противоположного склона холма. Приятели, не расходясь, глядели ему вслед и вяло переговаривались. Том Кармоди тихонько божился на галерее...

Когда Чарли взобрался по ступенькам своей хибы, неся банку, которую готовился водрузить на трон в гостиной, ему представлялось, что отныне его обителище превратится во дворец. Воцарившийся монарх недвижно поплыл в своей личной луже, высоко на полке над шатким столом.

Банка была подходящим средством, чтобы рассеять серое однообразие в этом доме на краю болота.

— Что это у тебя?

Услышав высокое сопрано Тиди, он встрепенулся. Тиди выглядывала из дверей спальни, ее худое тело было облачено в выцветшую голубую пижаму, тусклые волосы, убранные в узел, не скрывали красных ушей. Глаза у нее были такие же выцветшие, как пижама.

— Ну,— повторила она.— Что это?

— А как ты сама думаешь, а, Тиди?

Небрежно покачивая бедрами, она сделала шаг вперед. Ее глаза были прикованы к банке, губы раздвинулись, обнажая мелкие кошачьи зубки.

Мертвая белесая штуковина в сыворотке.

Тиди стрельнула тускло-голубыми глазами на Чарли, на банку и снова — на Чарли, на банку; быстро крутанулась, чтобы схватиться за стену.

— Оно... оно похоже... Оно... похоже... на тебя... Чарли! — хрипло выкрикнула она.

Дверь спальни хлопнула у Тиди за спиной.

Встряска не затронула содержимого банки. Но Чарли замер с бешено бьющимся сердцем и вытянутой шеей, провожая жену взглядом. Когда сердце немного унялось, он обратился к штукатурке в банке:

— Который год я корячусь, обрабатываю низинный участок, а она забирает деньги и напрямик к своей родне; проводит там больше двух месяцев подряд. Мне ее не удержать. Она и ребята из магазина, они надо мной смеются. И я ничего не могу поделать, потому что не нахожу на нее управы. Но, черт, я постараюсь!

Содержимое банки ответило философским молчанием.

— Чарли?

Кто-то стоял в дверях.

Чарли вздрогнул, обернулся и тут же расплылся в улыбке.

Это была часть компании, коротавшей досуг возле универмага.

— Мы вот, Чарли... мы... то есть... мы подумали... мы пришли посмотреть на это дело... что ты держишь в банке...

Июль с жарой прошел, настал август.

Впервые за долгие годы Чарли чувствовал себя счастливым, как кукуруза, пустившаяся в рост после засухи. Это было благословение, слышать вечером, как шуршат ботинки в высокой траве, как очередной посетитель сплевывает в канаву, прежде чем взойти на веранду, как скрипят доски под тяжелыми шагами еще одного, как стонет дом, когда в дверь упирается чье-то

еще плечо, и чей-то еще голос спрашивает из-под волосатого запястья, утирающего рот:

— Можно к тебе?

Впуская прибывших, Чарли держался с нарочитой небрежностью. Всем предлагались стулья, ящики из-под мыла; на худой конец можно было устроиться на корточках на ковре. И к тому времени, как настроят свои ноги к летнему-песнопению сверчки и раздуют горло лягушки — певички с зобом, готовясь огласить криками необъятную ночь, в комнату набивалось видимо-невидимо народу с низинных земель.

Вначале никто не произносил ни звука. В подобные вечера люди входили, рассаживались и первые полчаса старательно катали самокрутки. Делали в бурой бумаге ямку, аккуратно насыпали туда табак, собирали его в кучку, трамбовали. Так же они собирали в кучку, трамбовали и скатывали свои мысли, страхи и вопросы, приготовленные к вечеру. Это давало им время подумать. Заглянешь в глаза гостю, готовящему самокрутку, и видишь, как трудится за ними его мозг.

Это напоминало незамысловатые церковные собрания. Гости сидели на стульях, на корточках, опирались на оштукатуренные стены и по очереди с почтительным изумлением поднимали взгляд на полку, где стояла банка.

Никому не приходило в голову просто взять и устаться. Это было бы дерзостью. Нет, они неспешно обводили глазами комнату, рассматривали все знакомые предметы, что попадали в поле зрения, и непроизвольно натыкались на банку.

И по чистой случайности, разумеется, взгляд надолго задерживался на том самом месте. В конце концов выходило так, что глаза всех присутствующих, как булавки в подушечке для булавок, смотрели в единый центр. Тишину ничто не нарушало, разве что кто-ни-

будь начнет громко обсасывать кукурузный початок. Или послышится на веранде топот босых детских ног. И раздастся иной раз женский крик: «А ну, ребятня, ступайте отсюда! Живо!» Хихиканье, негромкое как плеск воды, и снова топот: дети побежали пугать лягушек.

Чарли, разумеется, находился на переднем плане, в кресле-качалке, с клетчатой подушкой под тощим задом. Он неспешно раскачивался, наслаждаясь слабой и востребованностью, какие полагались владельцу банки.

Что до Тиди, то она виднелась в глубине комнаты, в тесной, как серая гроздь винограда, группе женщин, ожидавших своих мужей.

По лицу Тиди можно было заподозрить, что она от зависти вот-вот сорвется на крик. Но она молчала и только следила, как мужчины, тяжело ступая, входят в гостиную, рассаживаются у ног Чарли и устремляют взгляд на эту граалеподобную штуку; никто не дождался из ее отвердевших, как недельный бетон, губ ни единого приветственного слова.

Выдержав подобающую паузу, кто-нибудь — хотя бы старый Дедуля Медноу с Крик-роуд — прочищал свое старое горло, щурясь, склонялся вперед, проводил иной раз языком по губам, и все замечали, как ходят ходуном его загрубелые пальцы.

Это был намек, что пора готовиться к разговору. Все настораживались. Устраивались основательней, как свиньи в теплой грязи после дождя.

Дедуля молча смотрел, облизывая губы длинным, как у ящерицы, языком, откидывался назад и производил своим всегдашним высоким старческим тенором:

— Что бы это могло быть? И «он» это, или «она», или попросту — «оно»? Проснись, бывало, среди ночи

и ворочаюсь на маисовой рогоже: как там, думаю, эта банка поживает в темноте. И эта штукovina там плавают, тихая такая, белесая, вроде устрицы. А то, бывает, разбужу Мамулю, и мы думаем вместе...

Свои слова Дедуля подкреплял жестами дрожащих пальцев. Все следили за покачиванием его толстого большого пальца, волнообразными колебаниями других, с отросшими ногтями.

— ...Вот лежим мы оба и думаем. Дрожим. Ночь жаркая, на деревьях испарина, мошек сморило духотой, а мы все равно дрожим и все ворочаемся, не можем уснуть...

Дедуля погружался в молчание, словно бы сказал достаточно и пришла пора кому-нибудь другому поведать о своем благоговейном недоумении.

Джук Мармер из Уиллоу-Сампа вытирал о колени потные ладони и тихо произносил:

— Помню, был я еще сопливым мальчишкой. И была у нас кошка, которая все время приносила котят. Боже правый, что ни скок за ограду, то готов приплод.— Джук говорил мягко, благожелательно.— Так вот, обыкновенно мы котят раздавали, но в тот раз оказалось, все в округе уже получили в подарок по котенку, а то и двоих... И вот мама вынесла на заднюю веранду стеклянную банку в два галлона и наполнила до краев водой. Банка стояла на солнце, по воде пробегала рябь. Мама сказала: «Джук, давай топи котят!» Помню, стою я, котята мячут, копошатся, слепые крошки, милые такие, беспомощные. Они только-только открывали глазки. Гляжу я на маму и говорю: «Нет, только не я! Сама топи!» Тут мама побелела и говорит, мол, хочешь не хочешь, это надо сделать, и кроме тебя некому. И ушла готовить курицу и мешать подливку. Я... подбираю одного... котишку. Держу. Он

теплый. Мяучит. Мне захотелось убежать и никогда не возвращаться.

Джук кивал, глядя яркими молодыми глазами на прошлое, обтесывая его словами, словно зубилом, и сглаживая речью.

— Я уронил котенка в воду... Он закрыл глаза и открыл рот, стал хватать воздух. Помню крохотные белые клыки, розовый язычок, пузыри всплывают струйкой на поверхность воды!... По сей день помню, как он плавал, этот котенок, когда все было кончено, как кружил в воде, эдак спокойно, глядел на меня, но не винил в том, что я сделал. Но и ничего хорошего обо мне не думал. Эх...

Сердца стучали быстрее. Взгляды скользили с Джук на банку, и опять — вниз на Джук, вверх на банку; так наблюдают зрители за игрой, например, в теннис, когда объект интереса постоянно перемещается.

Наступало молчание.

Джаду, чернокожий из Херон-Свомпа, стрелял туда-сюда белками цвета слоновой кости; можно было подумать, ими манипулирует невидимый жонглер. Черные костяшки пальцев подрагивали — живые кузнечики.

— А знаете, что это такое? Кумекаете, нет? Тогда слушайте сюда. Это центр жизни, вот что это такое! Ей-ей, как бог свят!

Раскачиваясь в ритме дерева, Джаду подставлял лицо болотному ветру, которого никто, кроме него, не видел, не слышал и не ощущал. Его глазные яблоки снова начинали вращаться, словно ни к чему не привязанные. Голос вышивал темными нитками рисунок; цепляя иглой мочки ушей слушателей, он вплетал их в тихий, без дыхания, узор.

— Из него, в трясине Миддибамбу, выползла вся земная тварь. Тянет наружу лапу, тянет язык, тянет рог — все растет. Крохотулечная амеба — растет. Лягуха с раздутым горлом — растет! Ага! — Он хрустнул пальцами. — А вот большая тварь выползает, с руками-ногами, — человек! Эта штука — центр творения! Это Мама Миддибамбу, из нее вышли мы все десять тысяч лет назад. Вы уж мне поверьте!

— Десять тысяч лет назад! — повторяла Бабушка Гвоздика.

— Оно такое древнее! Смотрите! Ему ничего больше не надо. Оно все знает. Плавает, как свиная отбивная в жиру. Глядит глазами, но не сморгнет, и злости в них нету, правда? А как же! Оно ведь все знает. Оно знает: мы вышли из него и в него же вернемся!

— Какого цвета у него глаза?

— Серые.

— Нет, зеленые!

— А волосы? Коричневые?

— Черные!

— Рыжие!

— Нет, седые!

Тут Чарли обычно процеживал сквозь зубы свое мнение. В иные вечера он повторялся, в иные — нет. Но это не важно. Когда вы повторяете то же самое вечер за вечером поздним летом, речь всегда звучит по-разному. Ее меняют сверчки. Лягушки. Ее меняла штукovina в банке. Чарли говорил:

— А что, если однажды в глубь болот зашел старик, или не старик, а молодой парень, блудил-блудил по мокрым тропам и сырым ложбинам, ночь за ночью, год за годом; и выцветал, и коченел, и усыхал. Солнца не видел, скукожился вконец, свалился в ямку и лежит там в какой-то... жиже, как личинка москита.

И вдруг — почему бы и нет — это кто-то нам знакомый. Может, мы с ним как-то обменялись словом. Почему бы и нет...

Из дальнего угла, где сидели женщины, доносился свистящий шепот. Одна из женщин поднималась на ноги, подбирая слова; глаза ее горели черным блеском. Ее звали миссис Тридден. Она говорила:

— Что ни год, в болота убегают, в чем мать родила, детишки. Теряются и там и остаются. Я сама однажды чуть не потерялась. И... у меня пропал мой маленький сынишка, Фоули. Не хочешь же ты СКАЗАТЬ!

Гости затаивали дыхание, вбирали через ноздри, ужимали, стягивали в точку. Уголки губ опускались, лицевые мускулы изображали маску скорби. Поворачивались головы на длинных, как стебли сельдерея, шеях, глаза впитывали ее ужас и надежду. Ужас и надежду миссис Тридден, которая, вытянувшись в струнку, опиралась напряженными пальцами в стену позади себя.

— Мой мальчик, — шептала она. Она выдыхала эти слова. — Мой мальчик. Мой Фоули. Фоули! Это ты, Фоули? Фоули! Фоули, ответь мне, детка, это ТЫ?

Все не дыша оборачивались поглядеть на банку.

Штуковина в банке молчала. Просто смотрела через бельма на толпу гостей. И глубоко в костлявых телах истекали весенним ручейком соки тайного страха; прочный лед обычной безмятежности, веры, смирения давал трещину, обращаясь гигантским потоком талых вод. Кто-то вскрикивал:

— Оно шевельнулось!

— Нет-нет. Тебе показалось!

— Боже правый, — кричал Джук. — Я видел, оно медленно поплыло, как мертвый котенок!

— Да уймитесь вы! Оно давным-давно умерло. Может, еще до вашего рождения!

— Он сделал знак! — взвизгивала миссис Тридден, женщина-мать. — Это мой мальчик, мой Фоули! Там мой мальчик! Ему было три года! Мой мальчик, что потерялся и сгинул в болоте!

Она начинала судорожно рыдать.

— Ну-ну, миссис Тридден. Ну-ну. Садитесь и успокойтесь. Никакой это не ваш ребенок. Ну-ну.

Какая-нибудь из женщин обнимала ее, и миссис Тридден затихала. Она больше не всхлипывала, лишь бурно дышала, и губы ее при каждом выдохе испуганно, часто-часто, как крылья бабочки, трепетали.

Когда вновь наступала тишина, Бабушка Гвоздика, с сухим розовым цветком в седых, до плеч, волосах, пососав запавшим ртом трубку, трясла головой, так что волосы плясали на свету, и обращалась к собравшимся:

— Все это пустой звон. Похоже, мы так и не догадаемся, что это за штука. Похоже, даже будь это возможно, не захотели бы знать. Это вроде фокусов, какие показывают на сцене. Если узнаешь, как это делается, становится неинтересно. Мы тут собираемся по вечерам раза три в месяц, беседуем, вроде как общаемся, и нам всегда есть о чем поговорить. А вот докопается кто-нибудь, что это за дьявольщина в банке, и что? Говорить станет не о чем!

— Черт побери! — взревел мощный голос. — Да нет там ничего такого!

Том Кармоди.

Том Кармоди, стоящий, как всегда, в тени, на веранде, только глаза заглядывали в комнату и едва различимые губы насмешливо улыбались. Его смех пронзил Чарли, как жало шершня. Это Тиди его подначи-

ла, ей хочется лишить Чарли новообретенного успеха в обществе!

— Ничего,— решительно повторил Кармоди.— В этой банке нет ничего, кроме старых медуз из Си-Коува, гнилых, вонючих и брюхатых!

— Ты что, завидуешь, дружок Кармоди? — медленно проговорил Чарли.

Кармоди фыркнул.

— Просто решил полюбоваться, как вы, дурни, судачите тут о пустом месте. Ну ладно, позабавился. Вы ведь заметили, я сюда никогда не захожу и в посиделках не участвую. Я сейчас иду домой. Кому-нибудь со мной по пути?

Никто не предложил себя в попутчики. Том рассмеялся снова, как будто не было ничего забавней, чем видеть сразу столько дурней; Тиди в глубине комнаты злобно царапала себе ладони. Чарли поежился от внезапного страха.

Кармоди, не переставая смеяться, простучал высокими каблуками по веранде и исчез в стрекотании сверчков.

Бабушка Гвоздика пожевала трубку.

— Я вот что собиралась сказать. Похоже, эта штучковина на полке, она не просто вещь, а как бы все вещи. Все разом. Это называется слимвол.

— Символ?

— Вот-вот. Символ. Символ всех дней и ночей в сухих тростниковых зарослях. Почему она непременно одна? Может, в ней много всего.

И разговор продолжался еще час, и Тиди выскользнула вслед Тому Кармоди, и Чарли прошиб пот. Не иначе как эти двое что-то задумали. У них есть какой-то план. Весь остаток вечера Чарли обливался потом...

Собрание завершилось поздно, и Чарли улегся в постель со смешанными чувствами. Вечер прошел не плохо, но как насчет Тиди и Тома Кармоди?

Поздно ночью, когда на небе высветились стайки звезд, какие не показываются раньше полуночи, Чарли услышал шуршанье высокой травы — ее задевали колышущиеся бедра Тиди. Тихий стук каблучков раздался на веранде, в доме, в спальне.

Тиди бесшумно улеглась в постель, уставила свои кошачьи глаза на Чарли. Он их не видел, но ощущал взгляд.

— Чарли?

Он молчал.

Потом произнес:

— Я не сплю.

Тут помолчала она.

— Чарли?

— Что?

— Спорю, ты не догадаешься, где я была, спорю, не догадаешься, — прозвучал в ночи тихий насмешливый припев.

Чарли молчал.

Тиди снова замолкла. Но долго терпеть ей было невозможно, и она продолжила:

— Я была на ярмарке в Кейп-Сити. Меня отвез Том Кармоди. Мы... мы разговаривали с хозяином аттракционов, Чарли, вот так-то, точно разговаривали. — Тиди подавила смехок.

Чарли похолодел. Приподнялся на локте.

— Мы узнали, что там, в банке... — Голос Тиди дразнил неизвестностью.

Чарли свалился в кровать и зажал уши ладонями.

— Не хочу слышать!

— Нет, ты послушай, Чарли. Это отличная шутка. Отличнейшая, Чарли,— продолжала она свистящим шепотом.

— Иди... прочь.

— Ух ты, ух ты! Нет, Чарли, как бы не так. Нет-нет, Чарли, голубчик. Сперва я скажу!

— Поди,— низким твердым голосом проговорил он,— прочь.

— Дай мне сказать! Мы говорили с хозяином аттракционов, и он... он чуть не умер со смеху. Он рассказал, что продал эту банку и то, что в ней лежит, за двенадцать баксов какому-то... деревенскому простофиле. А ей красная цена — два бакса, не больше!

Смех исходил в темноте сиянием из ее рта — жуткий смех.

Оборвав его, она затараторила:

— Это просто мусор, Чарли! Жидкий каучук, папье-маше, шелк, хлопок, химикаты! Вот и все! Внутри — металлический каркас! Вот и все! Это все, Чарли! Вот и все! — торжествовала она.

— Нет, нет!

Чарли быстро сел, раскидывая неуклюжими пальцами простыни, взвыл; по его щекам побежали слезы.

— Не хочу слышать! Не хочу слышать! — вопил он.

— погоди, пока все узнают, что это за стряпня! Вот будет потеха! Да они лопнут со смеху! — дразнилась Тиди.

Чарли обхватил ее запястья.

— Ты что — собираешься им рассказать?

— Отпусти! Мне больно!

— Не вздумай.

— Что же мне, по-твоему, Чарльз, лгуньей заделаться?

Он отшвырнул ее руки.

— Ну что ты не оставишь меня в покое? Пакостница! Что бы я ни затеял, тебе во все нужно влезть. Я это понял по твоему носу, когда принес домой банку. Спать спокойно не можешь, пока все не испакостишь!

Она гаденько хихикнула:

— Ну так и быть, всем рассказывать не стану.

— Ты *мне* испортила удовольствие, и это главное, — вскинулся Чарли. — А скажешь ты остальным или нет — не важно. Я знаю, этого достаточно. И все удовольствие насмарку. Ты и этот Том Кармоди. Смеется. Пусть бы заплакал. Смеется надо мной уже не первый год! Ладно, давай рассказывай остальным, тебе небось тоже хочется себя убажить.

Злобно шагнув к полке, он схватил банку, расплескивая жидкость, и хотел было кинуть на пол, но задрожал, остановился и бережно опустил ее на высокий столик. Всхлипывая, Чарли склонился над банкой. Потерять ее — это конец света. Он и так уже теряет Тиди. С каждым месяцем она оттанцовывает все дальше от него, дразня и насмешничая. Слишком долго он исчислял время жизни по маятнику ее бедер. Но и другие мужчины, Том Кармоди, к примеру, считают часы и минуты по тем же часам.

Тиди стояла и ждала, чтобы он разбил банку. Но он принялся ласково гладить стекло и за этим занятием постепенно успокоился. Ему вспомнились долгие славные вечера, проведенные здесь недавно всей компанией, — дружеское единение, разговоры, снующий по комнате народ. Если даже забыть обо всем другом, эти вечера, по крайней мере, уж точно были хороши.

Чарли медленно повернулся к Тиди. Она была для него навсегда потеряна.

— Тиди, ты не ездила ни на какую ярмарку.

— Ездила.

— Врешь,— спокойно заявил он.

— Ничего подобного!

— В этой... в этой банке точно что-то есть. Не только мусор, как ты говоришь. Слишком много народу верит в это, Тиди. Ты тут ничего не изменишь. А если ты говорила с хозяином аттракционов, значит, он тебе наврал.— Чарли сделал глубокий вдох.— Поди сюда, Тиди.

— Что это ты выдумал? — нахмурилась она.

— Поди сюда.

— Не пойду.

Чарли шагнул ближе.

— Поди сюда.

— Не подходи, Чарли.

— Я просто хочу тебе что-то показать, Тиди.— Он говорил негромко, низким, настойчивым голосом.— Кис-кис, киска. Кис-кис, киска — КИС-КИС!

Вечером через неделю народ собрался снова. Пришли Дедуля Медноу и Бабушка Гвоздика, за ними молодой Джук, миссис Тридден и Джаду, чернокожий. За ними явились все остальные, молодые и старые, довольные и хмурые, заскрипели стульями, у каждого в голове свои мысли, надежды, страхи, вопросы. Каждый, не глядя на святыню, тихонько поздоровался с Чарли.

Они ждали, пока соберутся все. Судя по блеску их глаз, они заметили в банке нечто новое, какую-то жизнь, и бледное подобие жизни после жизни, и жизнь в смерти, и смерть в жизни, все со своей историей, намеками на сходство, своими очертаниями; все знакомое, старое и в то же время новое.

Чарли сидел один.

— Привет, Чарли.— Кто-то заглянул в пустую спальню.— А жена где? Снова уехала к своим?

— Ага, сбежала в Теннесси, как всегда. Вернется через пару недель. Хлебом не корми — дай сбежать из дому. Вы ведь знаете Тиди.

— Да, этой женщине на месте не сидится.

Переговоры тихим голосом, рассаживание, и вдруг шаги на темной веранде, глаза-огоньки — Том Кармоди.

Том Кармоди стоит на веранде, колени трясутся и подгибаются, руки свисают как плети, взгляд блуждает по комнате, Том Кармоди не решается войти. Рот Тома Кармоди приоткрыт, но не улыбается. Губы мокрые, обмякшие, не улыбаются. Лицо бледное как мел, словно ему кто-то заехал в челюсть.

Дедуля поднимает глаза на банку, откашливается и говорит:

— Смотрите-ка, никогда раньше не замечал. У него глаза голубые.

— И всегда были голубые,— возражает Бабушка Гвоздика.

— Нет,— плаксивым голосом отзывается Дедуля.— Неправда. В прошлый раз они были карие.— Он прищурился.— И вот еще: у него темные волосы. Прежде были не такие!

— Да, верно,— вздыхает миссис Тридден.

— Нет, неправда.

— Нет, правда!

Том Кармоди смотрит на банку, летней ночью его бьет озноб. Чарли переводит взгляд туда же, сворачивает сигарету, небрежно и спокойно, в мире с собой и окружающей действительностью. Том Кармоди, стоя особняком, замечает в банке то, чего не видел преж-

де. Каждый видит то, что ему хочется видеть; все мысли обрушиваются стремительным дождем.

«Мой мальчик! Крошка моя!» — кричат мысли миссис Тридден.

«Мозг!» — думает Дедуля.

Чернокожий сжимает-разжимает пальцы:

«Миддибамбу Мама!»

Рыбак поджимает губы:

«Медуза!»

«Котенок! Кис-кис, кис-кис! — выпускают коготки тонущие мысли в голове Джука. — Котенок!»

«Все и ничего! — визгливые, морщинистые мысли Бабушки. — Ночь, болото, смерть, морские твари, бледные и сырые!»

Тишина, и наконец Дедуля произносит:

— Интересно. Интересно, «он» это, или «она», или попросту — «оно»?

Чарли, довольный, смотрит на полку, набивает сигарету, обминает ее. Глядит в дверной проем на Тома Кармоди, у которого навсегда отшибло охоту улыбаться.

— По-моему, мы так никогда и не узнаем. Ага, не узнаем. — Чарли улыбается.

Это была всего-навсего одна из тех шуток, как держат в банках где-нибудь в балагане на окраине маленького сонного городка. Из тех белесых шуток, которые сонно кружат в спиртовой плазме, лупятся мертвыми, затянутыми пленкой глазами, но не видят тебя...

Озеро

*

Weird Tales

Май 1944

Лет, помнится, в восемь я был как-то на озере Мичиган. Я играл с девочкой, мы строили замки из песка, а потом она зашла в воду и не вышла. Когда тебе восемь лет от роду и такое случается, это бывает неразрешимой загадкой. Девочка так и не вышла на берег, ее не нашли. Первая встреча со смертью так и осталась для меня тайной. Однажды в 1942 году я проводил свои ежедневные опыты со словами — просто записывал пришедшие на ум слова. Записывал существительные. Написал «Озеро» и задумался: «Откуда взялось это слово?» И внезапно в моей памяти возникли песочный замок на берегу и маленькая светловолосая девочка, которая вошла в воду и не вышла. Через два часа у меня был готов рассказ. И когда я ставил точку, у меня из глаз текли слезы. Мне стало понятно, что наконец, после десятилетних усилий, я написал что-то стоящее.

*

Они укоротили небо по моему росту и водрузили его над озером Мичиган, поместили на желтый песок орущих ребятишек с мячами, две-три чайки, недовольную родительницу и меня: я выходил из мокрой волны и мир представлялся мне туманным и влажным.

Я выбежал на берег.

Мама обернула меня пушистым полотенцем.

— Постой и обсохни,— сказала она.

Я стоял, глядя, как солнце высушивало капли у меня на предплечьях. На их месте появлялась гусиная кожа.

— Ох, ветер-то какой, — сказала мама. — Надевай свитер.

— Погоди, я посмотрю пупырышки.

— Гарольд.

Я надел свитер и стал наблюдать, как набегают на берег и отбегают волны. Не размашисто. Аккуратно, с эдаким зеленым изяществом. Не всякий пьяный способен рухнуть на землю так изящно.

Стоял сентябрь. Последние дни сентября, когда все вокруг по неизвестной причине преисполняется грустью. На пляже, длинном и пустом, виднелось не больше полудюжины фигур. Дети прекратили беготню с мячом; от ветра, его завываний, им тоже сделалось грустно, они расселись на бескрайнем берегу и отдались ощущению осени.

Киоски, где торговали хот-догами, были заколочены золотистыми планками; горчичный, луковый, мясной аромат долгого, веселого лета остался запертым внутри. словно бы кто-то разложил по гробам само лето и заколотил крышки. Со стуком опускались одна за другой металлические шторы, на дверцах повисали замки; явился ветер и тронул песок, сдувая миллионы июльских и августовских следов. Нынче, в сентябре, у кромки воды виднелись только отпечатки моих резиновых теннисных туфель да ног Дональда и Дилауса Шаболда.

Через завесы в боковые проходы сыпался песок, поэтому карусель окутали парусиной; лошади с оскаленными зубами застыли в галопе на медных столбах. Музыка заменял ветер, проникавший сквозь парусину.

У карусели стоял я. Все остальные были в школе. Я — нет. Назавтра мне предстояло отправиться поездом на запад Соединенных Штатов. Мы с мамой заглянули на пляж мимолетно, на прощанье.

В окружающем запустении было что-то такое, отчего мне захотелось побыть одному.

— Мама, я пробежусь по пляжу? — спросил я.

— Ладно, но только недолго, и к воде не подходи.

Я сорвался с места. Под ногами крутился песок, ветер подхватывал меня и нес. Ну, вы знаете, как это бывает: расставишь руки и чувствуешь, как за пальцами тянется вуаль ветра. Вроде крыльев.

Сидящая мама отодвинулась вдаль. Вскоре она превратилась в коричневое пятнышко, я остался совсем один.

Двенадцатилетнему ребенку непривычно оставаться одному. Рядом всегда кто-то есть. Одиночество достижимо только в мыслях. Вокруг так много реальных людей, диктующих тебе, что и как делать, что единственный способ побыть одному в своем собственном мире, с его миниатюрными ценностями, — это сбегать, хотя бы в воображении, на какой-нибудь пляж.

Вот тут я в самом деле оказался один.

Я свернул к воде и зашел по пояс в прохладные волны. Прежде, окруженный толпой, я ни разу не осмелился даже взглянуть на это место, не то что сойти в воду, искать и звать кого-то. Но теперь...

Вода — как фокусник. Распиливает тебя на половинки. Получается, что ты теперь состоишь из двух частей, и нижняя тает, расплывается, как сахар. Прохладная вода, и время от времени — волна, что очень изящно запинается и падает, в кружевных завитушках пены.

Я позвал ее. Выкрикнул ее имя раз десять.

— Тэлли! Тэлли! О Тэлли!

Удивительно, но в детстве действительно ожидаешь отклика. Чувствуешь, что твои мысли способны стать реальностью. И иной раз бываешь не так уж и не прав.

Я думал о Тэлли, которая прошлым маем пошла здесь купаться, вспоминал, как болтались ее светлые косички. Она шла, смеясь, и на ее шуплых двенадцатилетних плечиках играло солнце. Я вспоминал, как улеглась рябь, как прыгнул в волны спасатель, как кричала мать Тэлли и как Тэлли не вернулась...

Спасатель уговаривал ее выйти, но она не вышла. Он вынырнул с обрывками водорослей в костлявых пальцах, а Тэлли не было. Она уже не сядет напротив меня в школьном классе, с ней уже не поиграешь в мяч вечером в комнате, когда проводишь лето среди кирпичных городских строений. Она зашла слишком далеко, и озеро ее не отпустило.

И теперь, одинокой осенью, когда небо и вода сделались бескрайними и пляж не имел ни конца, ни начала, я в последний раз, в одиночку, сошел в озеро.

Я снова и снова звал ее. Тэлли, о Тэлли!

Ветер обвевал мои уши нежно-нежно, как он обвевает отверстия морских раковин, чтобы они зашептали. Вода вздыбилась, обхватила грудь, потом колени, вверх-вниз, туда-сюда, засасывая пятки.

— Тэлли! Вернись, Тэлли!

Мне было всего двенадцать. Но я знал, как сильно ее люблю. Это была та любовь, что не имеет ничего общего ни с плотью, ни с нравственностью. Она не более дурна, чем ветер, озеро и песок, покоящиеся бок о бок целую вечность. Она состояла из долгих теплых

дней, проведенных вместе на пляже, и мерной череды дней, проведенных в школе за монотонной зубрежкой. Всех долгих осенних дней прошлого года, когда я носил из школы домой ее книги.

Тэлли!

Я крикнул ее имя в последний раз. Меня трясло. Я ощущал на щеках влагу и не знал, как она туда попала. Волны не захлестывали так высоко.

Развернувшись, я выбрался на песок и простоял полчаса, надеясь уловить хоть знак, хоть намек, хоть что-нибудь на память о Тэлли. Потом я опустился на колени и стал строить замок из песка, красивый, как те, что мы во множестве соорудили вместе с Тэлли. Но этот замок я возвел только наполовину. И поднялся на ноги.

— Тэлли, если ты меня слышишь, выходи и дострой остальное.

Я побрел к далекому пятнышку — маме. Волны, раз за разом окружавшие замок, уносили его по частичкам, превращая снова в ровное место.

Я молча брел вдоль берега.

Вдали слабо побрякивала карусель, но это был всего лишь ветер.

Назавтра я уехал на поезде.

У поездов плохая память, она все оставляет позади. Забываются кукурузные поля Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, загородные дома, обиды и радости. Они отстают и теряются за горизонтом.

Я вытянулся, обзавелся мускулами, стал думать не как ребенок, вырос из старой одежды, перешел в старшие классы школы, в университет, стал изучать юриспруденцию. Потом появилась молодая женщина из Сакраменто. Мы с ней познакомились и поженились.

Я продолжал изучать юриспруденцию. К двадцати двум годам я почти уже забыл, на что похож восток страны.

Маргарет предложила провести наш запоздавший медовый месяц именно на Востоке.

Подобно памяти, поезд действует в обоих направлениях. В считанные часы он способен вернуть тебе все, что ты много лет назад покинул.

На горизонте показался городок Лейк-Блафф, население 10 000 человек. Маргарет в нарядной новой одежде выглядела настоящей красавицей. Она наблюдала за мной, пока вокруг меня возрождался прежний мир. Она держала меня за руку, а поезд подходил к станции Блафф и грузчики забирали багаж.

Сколько лет, и что эти годы делают с лицами и телами. Когда мы вместе шли по городу, я никого не узнавал. Там были лица, на которых отражалось эхо. Эхо путешествий по горным склонам. Лица с улыбкой, оставшейся с тех пор, когда школьное время кончилось и пошли качели — подвесные, на металлической цепи и сделанные из доски. Но я молчал. Я шел, смотрел по сторонам и переполнялся всеми этими воспоминаниями, как осенними листьями, которые собирают, чтобы сжечь.

Мы пробыли там в общей сложности две недели, посещая вместе знакомые мне места. Это было счастливое время. Я очень любил Маргарет. По крайней мере, думал, что люблю.

Незадолго до отъезда мы отправились прогуляться по берегу. В отличие от прошлого раза, много лет назад, осень еще только близилась, но на пляже уже наблюдались первые признаки запустения. Народ редел, киоски с хот-догами — правда, не все — были закры-

ты ставнями и заколочены, и ветер, как всегда, выжидал, прежде чем спеть нам свою песню.

Я почти что видел маму, сидевшую на песке в привычном месте. Меня снова охватило желание остаться в одиночестве. Но я не решался сказать об этом Маргарет. Я только жался к ней и ждал.

День клонился к вечеру. Почти все дети разошлись по домам, на пляже оставались лишь немногие взрослые, подставляя кожу ветру и солнцу.

К берегу подплыла лодка спасателя. Спасатель медленно вышел, держа что-то в руках.

Меня приковало к месту. Я затаил дыхание и вновь ощутил себя двенадцатилетним ребенком, крохотным и испуганным. Завывал ветер. Я не видел Маргарет. Мой взгляд был прикован к пляжу, к спасателю, который медленно вставал из лодки с серым мешком в руках, не особенно тяжелым. Его лицо было почти таким же серым и мятым.

— Стой на месте, Маргарет,— сказал я.

Сам не знаю, почему это у меня выговорилось.

— Почему?

— Стой, и все...

Я неспешным шагом направился по песку к спасателю. Он перевел взгляд на меня.

— Что это? — спросил я.

Спасатель долго глядел, не в силах вымолвить ни слова. Опустил свою ношу на песок, вода, пошелестев вокруг, увлажнила мешок и отхлынула.

— Что это? — упорствовал я.

— Она мертва,— тихонько ответил спасатель.

Я ждал.

— Странно,— добавил он вполголоса.— В жизни ничего подобного не встречал. Она умерла давно. Очень давно.

Я повторил его слова.

Он кивнул:

— Десять лет назад, я бы сказал. Нынче в озере никто из детишек не тонул. С тридцать третьего года здесь было двенадцать малолетних утопленников, но мы их всех нашли почти сразу. За исключением, помнится, одной. А это тело, оно пробыло в воде лет десять. Находка... не из приятных.

Я уставился на серый мешок у него в руках.

— Откройте, — сказал я.

Сам не знаю, почему это у меня выговорилось. Ветер заглушал мой голос.

Он потребил мешок.

— Насколько мне известно, это маленькая девочка; я так говорю, потому что на ней медальон. Больше ничего нет, чтобы судить...

— Ну же, быстрее, открывайте! — крикнул я.

— Лучше не надо, — отозвался он. Но тут он, наконец, заметил, какое у меня сделалось лицо. — Она была такая маленькая...

Спасатель лишь немного приоткрыл мешок. Этого хватило.

Пляж был пуст. Оставались только небо, ветер, вода и одиноко наступавшая осень. Я опустил глаза на мешок.

Я все повторял что-то. Имя. Спасатель смотрел на меня.

— Где вы ее нашли? — спросил я.

— Вот там, на мелководье. Как же долго она там лежала, правда?

Я тряхнул головой.

— Да, верно. О боже, да.

Я думал: люди вырастают. Я вырос. Но она не изменилась. Она такая же маленькая. Такая же юная. Смерть

не позволяет вырасти или измениться. У нее по-прежнему золотистые волосы. Она вечно будет юной, а я вечно буду ее любить, о боже, вечно буду любить.

Спасатель снова завязал мешок.

Чуть-чуть постояв, я побрел один вдоль берега. Наклонился и опустил взгляд. Вот тут ее нашел спасатель, сказал я себе.

Там, у кромки воды, стоял песочный замок, построенный только наполовину. Вроде тех, что возводили мы с Тэлли. Она половину, и я половину.

Я посмотрел на замок. Встал рядом на колени и увидел следы маленьких ног, что вели на берег и потом обратно в озеро и не возвращались.

И тут... я понял.

— Я помогу тебе его закончить, — сказал я.

Я так и сделал. Очень медленно достроил замок, встал, отвернулся и пошел прочь, чтобы не наблюдать, как он, нестойкий, подобно всему земному, разрушается под напором волн.

Я шел обратно по берегу туда, где меня ожидала, улыбаясь, чужая женщина по имени Маргарет...

Дева

Существует беллетристика, существует нон-фикшн, существует поэзия и существуют французские [pensées]. Сен-Жон Перс писал книги про облака, море, приливы. Это набор описаний. Они близки к стихам, но все же не стихи. Его материал для творчества — меланхолия волн, прибой, вечность на побережье. Похоже, я вдохновился, начитавшись этих французских полупоэтов, авторов подобных описаний. Вот что это такое. Это хитрющий эксперимент с очевидными метафорами.*

*

Она была прекрасна. Она насыщала его зрение, он не отрывал от нее взгляда, он был в нее влюблен. Высокая, красивая, освещенная утренним солнцем. Высокая, статная, она работала на него. И каждая ее прихоть была ему известна. И он ее гладил, любил ее, но держался поодаль. Ведь он хорошо знал, что она способна сотворить с мужчиной, которого полюбит.

Не сегодня, думал он, сегодня ты меня не получишь, дева чарующая, дева сильная, дева стремительная, дева роковая.

Иной раз он позволял играть с нею ребятишкам, но только если был поблизости, а то как бы у них не завелась дурная привычка чересчур дерзко ее дразнить.

* Мысли (фр.).

Сколько у нее перебивало любовников? Но нет, вопрос выражен излишне резко. Да, у нее было несколько любовников, но она их любила. Садистка — да, но она любила всех, кем ей удавалось завладеть.

И вот в ту ночь он взошел к ней по ступенькам, сел рядом, привалился к ней, опустил на ее плечо усталую голову и устремил взгляд в небо, любя ее, любуясь длинными линиями ее лица.

А потом... отпустил защелку.

И вниз по смазанным пазам заскользило ее длинное голубое лезвие, в сто фунтов весом и острое как бритва... и — вжах! — вонзилось, отрубая свет, звуки, запахи, чувства; и голова отскочила в поджидавшую корзину, и потоком сладострастия из рассеченной шеи хлынула алая кровь, и оба они, он и она, с ее лезвием, лежа в алом оргазме, дождались вместе первой звезды...

Надгробный камень

*

Weird Tales

Март 1945

В арендованной квартире на Фигероа-энд-Темпл, где я бывал только наездами, мы с Грантом Бичем устроили для него гончарную мастерскую. Приблизительно раз в месяц я ночевал в верхней комнате и тогда поднимался пораньше и помогал оборудовать помещение. В одной из нижних комнат лежала оставленная кем-то надгробная плита. Вот уж нашли что оставить. Не помню, что за имя там было высечено, да это и не важно — нашли что оставить. При взгляде на эту плиту тебе волей-неволей воображалось твое собственное имя. Так что в том, как у меня возник замысел рассказа, я не сомневаюсь. Увидел то надгробие — и взялся за перо.

*

Ну вот, прежде всего было долгое путешествие, в ее тонкие ноздри забивался песок, и Уолтер, ее оклахомский муж, закидывал свое тощее тело в «форд-Т» с такой уверенностью в себе, что ей захотелось плюнуть; они добрались до большого кирпичного города, странного, как застарелый грех, отыскивали хозяина квартиры. Хозяин пригласил их в небольшую комнатенку и отпер дверь.

Посреди комнаты, с самой незамысловатой обстановкой, лежал надгробный камень.

В глазах Лиоты выразилось понимание, она тут же театрально ахнула, мысли в голове замелькали с дья-

вольской быстротой. Уолтеру никогда не удавалось поколебать ее суеверия. Она ахнула, отпрянула, и блестящие серые глаза Уолтера уставились на нее из-под тяжелых век.

— Нет-нет, — заявила Лиота решительным тоном. — Я не собираюсь селиться в комнате с мертвецом!

— Лиота! — воскликнул ее муж.

— О чем вы? — удивился хозяин квартиры. — Мадам, вы ведь не...

Лиота улыбнулась про себя. Конечно, на самом деле она так не думала, но это было ее единственное оружие против ее оклахомского муженька, так что...

— Я хочу сказать, что не стану спать в одной комнате ни с каким таким трупом. Уберите его отсюда!

Уолтер устало смотрел на продавленную кровать, и Лиоте нравилось, что можно его потомить. Да, в самом деле, бесполезная вещь — эти суеверия. Понеслись голос хозяина:

— Это надгробие изготовлено из очень красивого серого мрамора. Оно принадлежит мистеру Ветмору.

— На камне высечено «УАЙТ», — холодно заметила Лиота.

— Конечно. Так звали человека, для которого предназначался этот камень.

— И он мертв? — Лиота ждала.

Хозяин кивнул.

— Ну вот видите! — выкрикнула Лиота; стон Уолтера говорил о том, что он не сдвинется с места в поисках другого пристанища. — Здесь пахнет, как на кладбище.

Лиота следила за взглядом Уолтера: в нем нарастало раздражение. Хозяин объяснил:

— Мистер Ветмор, прежний съемщик этой комнаты, учился у камнереза, это была его первая рабо-

та, он просиживал над нею с резцом каждый вечер с семи до десяти.

— Что ж...— Лиота быстро огляделась в поисках мистера Ветмора.— Где он? Тоже умер? — Она упибалась этой игрой.

— Нет, он разочаровался в резьбе по камню и пошел работать на упаковочную фабрику.

— Почему?

— Он сделал ошибку.— Хозяин комнаты постучал по мраморным буквам.— Здесь высечено «УАЙТ». И это неправильно. Нужно было «ВАЙТ». «В», а не «У». Бедный мистер Ветмор. Комплекс неполноценности. Ерундовая оплошность — и он уже сдался.

— Будь я проклят,— проговорил Уолтер, шаркающей походкой пересек порог и, оборотившись спиной к Лиоте, принялся распаковывать рыжевато-коричневые чемоданы.

Хозяину между тем хотелось досказать историю.

— Да, мистер Ветмор легко сдался. Судите сами, как он был чувствителен: он имел обыкновение процеживать утренний кофе, и если прольет хоть чайную ложку, делал из этого настоящую катастрофу, выливал кофе в раковину и несколько дней потом его не пил! Только подумайте! Он ужасно огорчился, когда совершал ошибку. Если мистер Ветмор по оплошности надевал левую туфлю прежде правой, то отказывался дальше обуваться и полсуток ходил босиком — и утренний холод его не останавливал. А если отправитель, надписывая конверт, делал ошибку в его имени, мистер Ветмор возвращал письмо в почтовый ящик с пометкой «ТАКОЙ ЗДЕСЬ НЕ ПРОЖИВАЕТ». Да, большой был чудак этот мистер Ветмор!

— Ну и что нам с того,— отрезала Лиота.— Уолтер, что ты там затеваешь?

— Вешаю в стенной шкаф твоё шелковое платье — красное.

— Брось, мы не остаемся.

Хозяин квартиры резко выдохнул, не понимая, как земля носит такую глупую женщину.

— Объясняю еще раз. Мистер Ветмор занимался дома своим ремеслом; однажды он нанял грузовик и привез сюда это надгробие, я же тем временем вышел в бакалейный магазин купить индейку, возвращаясь, а по всему этажу слышен стук — мистер Ветмор начал обтесывать мрамор. Он был так горд, что у меня не хватило духу возразить. Но он был ужасный гордец: когда обнаружил в надписи ошибку, то, не предупредив ни словом, сбежал. Квартплата была внесена по вторник, возврата он не потребовал, а нынче я договорился с водителем, что завтра с самого утра он пригонит грузовик с подъемником. Вы ведь не откажетесь проспать одну ночь в комнате с камнем? Наверняка нет.

Супруг кивнул.

— Поняла, Лиота? Никакой покойник под ковром не прячется.

В его голосе звучало такое сознание превосходства, что Лиоте захотелось его лягнуть.

Она не верила ему и не собиралась сдавать позиции. Она устала указательный палец в хозяина квартиры:

— Вам нужно получить деньги. А ты, Уолтер, ты хочешь забраться в постель и выспаться. Оба вы ляжете, с начала и до конца!

Не дожидаясь, пока жена умолкнет, оклахомец устал вручил хозяину плату. Хозяин, не обращая на Лиоту внимания, словно она была невидимкой, пожелал постояльцу доброй ночи, закрыл дверь и, сопровождая

даемый выкриком Лиоты: «Лжец!», удалился. Муж разделся, лег в постель и сказал:

— Хватит стоять и глазеть на надгробие, выключай свет. Мы уже четыре дня в дороге, я ног под собою не чую.

Ее перекрещенные и тесно прижатые к тощей груди руки задрожали.

— Никто из нас троих, — она кивком указала на камень, — этой ночью не уснет.

Через двадцать минут, разбуженный шумами и какой-то возней, оклахомец откинул с себя простыни; веки на украшенном ястребиным носом лице растерянно моргали.

— Лиота, ты все еще не легла? Я сто лет назад велел тебе выключить свет и отправляться в постель! Чем ты там занимаешься?

Чем она занималась, можно было определить с первого взгляда. Ползая на четвереньках, она расставляла у надгробного камня цветы: кружку со свежесрезанной геранью, красной, белой и розовой, а также, в ногах воображаемой могилы, жестянку со свежесрезанными розами. На полу лежала пара мокрых от росы ножниц, с которыми она только что выходила во двор.

Закончив с цветами, Лиота принялась мести маленькой метелкой цветной линолеум и потертый коврик; при этом она вроде бы молилась, но слов было не слышно. Поднявшись на ноги, она проговорила: «Ну, дело сделано», осторожно, словно бы опасалась осквернить могилу, обошла камень по большому радиусу, выключила свет и улеглась в постель под скрип пружин. Муж, в тон пружинам, взвизгнул:

— Да что это, бога ради!

И жена откликнулась, оглядывая окружающую тьму:

— Нелегко покоиться, когда прямо над тобой расположились на ночь незнакомцы. Я постаралась компенсировать ему неудобство, украсила его постель цветами, а то как бы он не поднялся в полночный час и не стал греметь костью.

Уставив взгляд на то место во мраке, где она должна была находиться, он думал что-то сказать, но не измыслил ничего подходящего и просто выругался, застонал и склонил голову на подушку.

Не прошло и получаса, как Лиота схватила мужа за локоть, повернула его к себе и поспешно, боязливо зашептала ему прямо в ухо (так кричат в пещеру):

— Уолтер! Проснись, проснись!

Она готова была при необходимости шептать так всю ночь, лишь бы испортить его исполненный самодовольства сон.

Он оттолкнул ее руку.

— Что случилось?

— Мистер Уайт! Мистер Уайт! К нам идет его призрак!

— Ох, спи и ни о чем не думай!

— Я не выдумываю! Послушай его!

Оклахомец прислушался. Под линолеумом глухо и печально звучал мужской голос. Говоривший, как можно было предположить, находился футах в шести ниже пола. Это было всего лишь неразборчивое грустное бормотание.

Оклахомец сел в постели. Заметив, что он пошевелился, Лиота зашипела яростно:

— Слышал, слышал?

Оклахомец спустил ноги на холодный линолеум. Голос снизу заговорил фальцетом. Лиота захныкала.

— Заткнись, а то я ничего не разберу,— злобно рявкнул ее муж.

В тревожной тишине он наклонил ухо к полу, и Лиота крикнула:

— Не опрокинь цветы!

— Заткнись! — снова бросил он и напряженно вслушался. Затем выругался и перекатился на спину.

— Это всего лишь нижний жилец,— пробормотал он.

— Вот и я о том же. Мистер Уайт!

— Никакой не мистер Уайт. Мы находимся на втором этаже многоквартирного дома, внизу живут соседи. Послушай.— Фальцет внизу не умолкал.— Это жена соседа. Небось учит его, чтобы не заглядывался на чужих жен! Похоже, оба пьяны.

— Врешь! — не сдавалась Лиота.— Делаешь вид, будто тебе все нипочем, а сам трясешься как осиновый лист. Это привидение, вот что это такое. Разговаривает на разные голоса, вроде бабушки Хэнлон — она встанет, бывало, на церковную скамью и давай говорить за всех подряд: за черного, за ирландца, за двух женщин и древесных лягушек, что у нее в зобу! Говорю тебе, этот мертвец, мистер Уайт, злится на нас за то, что мы к нему въехали! Слышишь?

Словно бы подтверждая ее слова, голоса внизу заговорили громче. Оклахомец, опираясь на локоть, безнадежно затряс головой; ему хотелось смеяться, но мешала усталость.

Что-то с грохотом упало.

— Он шевелится в гробу! — вскричала Лиота.— Злой до безумия! Бежим, Уолтер, а то нас назавтра найдут мертвыми!

Еще грохот, стук, голоса. Потом тишина. И шаги в воздухе над головой.

Лиота заскулила:

— Он выбрался из гроба! Взломал крышку и теперь ходит по воздуху у нас над головами!

Оклахомец к тому времени успел одеться. И стал обуваться, стоя рядом с кроватью.

— В этом здании три этажа,— сказал он, заправляя рубашку.— Над нами живут соседи, они как раз пришли домой.— В ответ на хныканье Лиоты он добавил: — Давай. Я отведу тебя наверх, посмотреть. Ты убедишься, что это соседи. Потом пойдем на первый этаж, переговорить с пьяным и его женой. Поднимайся, Лиота.

Кто-то постучал в дверь.

Лиота взвизгнула и прокатилась по кровати, превратив себя в мумию, обернутую стеганым покрывалом.

— Он вернулся в гроб, стучится, чтобы его выпустили!

Оклахомец включил свет и отпер дверь. В комнату танцующей походкой влетел радостный человечек в темном костюме, с шальными голубыми глазками, морщинистый, седой, в очках с толстыми стеклами.

— Простите, простите,— возгласил коротышка.— Я мистер Ветмор. Я был в отлучке. А теперь вернулся. Мне поразительно повезло. Да-да. Мой надгробный камень на месте? — Он посмотрел на камень, в первый миг не узнавая его.— Ах да, на месте! Привет-привет.— Тут он заметил Лиоту, которая выглядывала из многослойной одеяльной обертки.— У меня тут несколько человек с тележкой; если не возражаете, мы сию минуту заберем надгробный камень. Один миг — и его здесь не будет.

Муж благодарно рассмеялся.

— Вот и хорошо, избавимся от этой треклятой штуковины. Вывозите!

Мистер Ветмор привел в комнату двух мускулистых рабочих. Он едва дышал от нетерпения.

— Поразительная история. Еще утром я был покинут и отвергнут Богом и людьми, но случилось чудо. — Надгробный камень погрузили на небольшую тележку с платформой. — Час назад я случайно услышал о некоем мистере Уайте, который только что умер от пневмонии. Обратите внимание: Уайт, а не Вайт. Я тут же переговорил с его женой, она в восторге, что нашлось уже готовое надгробие. И мистер Уайт, лишь час как остывший, и фамилия с буквы У, подумать только! Как же я счастлив!

Надгробный камень на тележке выкатили из комнаты, мистер Ветмор и оклахомец смеялись и обменивались рукопожатиями, Лиота недоверчиво наблюдала, пока суета не улеглась.

— Ну вот, все позади, — ухмыльнулся муж, когда за мистером Ветмором закрылась дверь, и выбросил цветы в раковину, а жестянки — в корзинку для мусора.

В темноте он забрался обратно в постель, не обращая внимания на глубокое, мрачное молчание жены. Она за долгое время не произнесла ни слова, только лежала и чувствовала себя одинокой. Муж со вздохом поправил одеяло:

— Теперь можно уснуть. Чертову штуковину уволок. Еще только половина одиннадцатого. До утра куча времени. — Как же он наслаждался, портя ей развлечение.

Лиота собиралась что-то сказать, но снизу снова послышался стук.

— Ага! — возликовала она, трогая мужа за плечо. — Опять тот же шум, я уже говорила. Слушай!

Ее супруг сжал кулаки и стиснул зубы.

— Сколько можно объяснять! Хоть кол на голове теши! Оставь меня в покое. Там ничего...

— Слушай, слушай же, — взмолилась она шепотом.

Они слушали в полной темноте.

Стук в дверь раздавался внизу.

Дверь открылась. Далекий и слабый женский голос печально произнес:

— А, это вы, мистер Ветмор.

Глубоко внизу, в темноте, под внезапно дрогнувшей кроватью Лиоты и ее оклахомского мужа, отозвался голос Ветмора:

— Добрый вечер еще раз, миссис Уайт. Вот. Я поставил камень.

Когда семейство улыбается

*

Weird Tales

Май 1946

С насилием тут некоторый перебор. Думаю, это была одна из тех историй (у меня таких большинство), в которых не угадаешь конец. Я вот не угадываю. Это интересно, читателя это увлекает. Для этого мне пришлось хорошо продумать ситуацию с семейством и рассказчиком. Требовалось создать вокруг кого-то особое напряжение. Нет, моя семья тут ни при чем: мои мама и папа были отличные люди.

*

Наиболее примечательной особенностью этого дома было ощущение тишины. Когда мистер Греппин проходил через парадную дверь, смазная тишина распахнувшихся и захлопнувшихся створок напомнила о том, как распахивается и захлопывается сон; это было нечто на резиновых лапах, обильно смазанное, неспешное и нематериальное. Двойной ковер в холле, им самим недавно уложенный, гасил стук шагов. Когда по ночам на дом обрушивался ветер, не слышно было ни стука карнизов, ни дребезжания ставень. Мистер Греппин сам проверял наружные вставные переплеты. Двери-ширмы запирались на новехонькие прочные крюки, печь не постукивала, лишь неслышно выдыхала в горлышки отопительной системы теплый воздух; эти тихие выдохи шевелили манжеты его брюк, пока он отогревал замерзшие на улице руки и ноги.

Измеряя тишину таким поразительным инструментом, как высота и сбалансированность тонов в своих некрупных ушах, он удовлетворенно кивнул: тишина была законченной и единообразной. Ведь прежде бывало, что по ночам в стенах гуляли крысы; пришлось прибегнуть к ловушкам и отравленной приманке, и только тогда стены замолчали. Даже большие стоячие часы были остановлены, застывший медный маятник поблескивал в своем длинном кедровом гробу со стеклянной крышкой.

Они ожидали мистера Греппина в столовой.

Он прислушался. Они не давали о себе знать. Хорошо. Собственно, блестяще. Выходит, они научились-таки вести себя тихо. Людей приходится учить, но старания не пропадают даром: из столовой не долетал даже стук ножей и вилок. Мистер Греппин стянул с себя толстые серые перчатки, пристроил на вешалку холодное, как металлические доспехи, пальто и застыл в напряженном, нерешительном раздумье... что же делать.

С привычной уверенностью, экономными движениями мистер Греппин направился в столовую, где за накрытым столом сидели четверо, не двигаясь и не говоря ни слова. Тишину нарушали разве что его подошвы, тишайше ступавшие по толстому ковру.

Его взгляд, как обычно, невольно остановился на даме, сидевшей во главе стола. Мимоходом мистер Греппин махнул пальцем возле самой ее щеки. Она даже не мигнула.

Тетя Роуз плотно восседала во главе стола, и, когда с потолочных высот вниз планировала невесомая пылинка, разве прослеживали ее путь глаза тетушки? Поворачивались ли они с холодной четкостью в своих

орбитах? А случись пылинке сесть на глазное яблоко, разве глаз закрывался? Дергалось веко, опускались ресницы?

Нет.

Рука тети Роуз лежала на столе, похожая на столовые приборы: изысканная, красивая и старая, потускневшая. Груды были укрыты за всевозможными рюшечками и оборочками. Уже годы их не извлекали наружу — ни для любви, ни для вскармливания младенца. Они были как мумии в погребальных одеждах, убранные прочь на вечные времена. Под столом ножки-палочки в ботинках на пуговицах торчали из бесформенного, похожего на трубу, платья. Можно было подумать, за подолом и выше скрыт не человек, а манекен из универсального магазина. Воск и более ничего. Можно было подумать, ее муж в свое время обращался с ней примерно так же, как обращаются с витринными манекенами, она же в ответ проявляла не больше темперамента и гибкости членов, чем манекен, что действовало на супруга вернее ругани или побоев, заставляя его отвернуться и накрыться одеялом. Он пролежал, дрожа от неутоленной страсти, немало ночей и в конце концов повадился прогуливаться вечерами по городу, на той стороне оврага, и заглядывать в местечки, где за розовыми занавесками в окнах горели более яркие огни и на звук его колокольчика отзывались юные девушки.

Итак, тетя Роуз глядела прямо на мистера Греппина, и... он невольно усмехнулся и насмешливо хлопнул в ладоши: на ее верхней губе подобием усиков скопилась пыль!

— Добрый вечер, тетя Роуз, — произнес он с поклоном. — Добрый вечер, дядя Даймити, — любезно поздоровался он. — Нет, ни слова. — Он выставил ла-

донь.— Ни слова, молчите все.— Он снова поклонился.— А, добрый вечер, кухня Лила, и тебе тоже, кузен Лестер.

Лила сидела на своем обычном месте, слева, ее волосы свешивались, похожие на золотистые латунные стружки. Волосы Лестера, сидевшего напротив, торчали во все стороны. Оба были подростки: ему четырнадцать, ей шестнадцать. Дядя Даймити, их отец (гадкое слово — «отец»), сидел рядом с Лилой; он с давних пор был задвинут в этот угол: тетя Роуз сказала, что должна сидеть во главе стола, иначе ей продует шею сквозняком. Ох, эта тетя Роуз!

Мистер Греппин подтянул стул под свой плотно обтянутый задик и непринужденно опер локти о стол.

— Мне нужно вам что-то сказать,— начал он.— Что-то очень важное. Это продолжается уже не одну неделю. Больше я не могу. Я влюбился. О, но я давно уже вам рассказывал. В тот день, когда заставил вас всех улыбаться? Помните?

Глаза четырех сидящих не моргнули, ладони не дрогнули.

Греппин задумался. День, когда он заставил их улыбаться. Это было две недели назад. Он пришел домой, явился в столовую, оглядел их и сказал:

— Скоро я женюсь!

Все сделали большие глаза, словно кто-то только что разбил окно.

— Что-что ты скоро? — выкрикнула тетя Роуз.

— На Элис Джейн Беллерд! — Греппин несколько напрягся.

— Поздравляю,— проговорил дядя Даймити.— Понятно,— добавил он, взглянув на жену. Он откашлялся.— Но похоже, сынок, ты немного поторопился? — Дядя Даймити снова кинул взгляд на жену.— Да. Да,

думаю, все же поторопился. Я бы тебе не советовал — пока.

— Дом в ужасном состоянии, — подхватила тетя Роуз. — Мы сможем привести его в порядок не раньше чем через год.

— То же самое ты говорила и в прошлом году, и в позапрошлом. Так или иначе, это мой дом, — добавил он без экивоков.

Тетя Роуз стиснула зубы.

— После всех этих лет выбросить нас за порог, у меня...

— Никто вас не выбрасывает, не строй из себя идиотку! — взвился Греппин.

— Вот что, Роуз, — начал дядя Даймити слабым голосом.

Тетя Роуз уронила руки.

— После всего, что я сделала...

В то же мгновение Греппин понял, что им придется убраться, всем до одного. Прежде всего он заставит их замолчать, потом — улыбаться, а позднее выставит вон вместе с пожитками. Не может же он привести Элис Джейн в дом, полный мрачных физиономий, где на каждом шагу тебя преследует тетя Роуз, даже если она тебя не преследует, где дети по взгляду родительницы всячески стараются его унижить, а их отец, как еще один ребенок, в очередной раз, изменив выражения, повторяет тебе совет остаться холостяком. Греппин уставил на них взгляд. Это их вина, что у него не заладилась любовь и вообще жизнь. Вот если с ними что-нибудь сделать, тогда жаркие мечты о нежных телах, поблескивающих испариной любви, сделаются достижимыми. Тогда он останется в доме один... с Элис Джейн. Да, с Элис Джейн.

Тете, дяде, двоюродным брату и сестре придется убраться. И побыстрее. Если он велит им выселиться, что делал уже не один раз, пройдет два десятка лет, прежде чем тетя Роуз соберет свои фонографы Эдисона и выцветшие саше. Элис Джейн, не дождавшись, задолго до этого сама скроется из виду.

Глядя на них, Греппин взял нож для разделки мяса.

Голова Греппина трещала от усталости. Он резко поднял веки. А? Да он задремал за мыслями.

Все это случилось две недели назад. Две недели назад, ровно в тот вечер, когда зашел разговор о женитьбе, переезде, Элис Джейн. Это было две недели назад. Две недели назад он заставил их улыбаться.

Теперь, очнувшись, он с улыбкой обвел взглядом неподвижные фигуры. Они отвечали удивительно приятными улыбками.

— Ненавижу тебя. Ты, старая стерва,— обратился он к тете Роуз.— Две недели назад у меня бы не повернулся язык это сказать. А теперь, что ж...— Он оглянулся и понизил голос.— Дядя Даймити, старина, позволь теперь я дам тебе небольшой совет...

Продолжая светскую беседу, Греппин взял ложку и сделал вид, что ест с пустой тарелки персики. Он уже пообедал в ресторане в нижней части города: свинина, картофель, пирог, кофе. Но теперь он изображал, что ест десерт: ему нравилось это маленькое представление. Он жевал пустым ртом.

— Итак, сегодня вы наконец, раз и навсегда, отсюда выезжаете. Я ждал две недели и все обдумал. Собственно, я держал вас здесь до сих пор, чтобы вы были под присмотром. Когда вас не будет, у меня не будет уверенности...— В его глазах засветился страх.— Что, если вы начнете бродить поблизости, шуметь по

ночам? Я этого не вытерплю. Не хочу, чтобы в доме было шумно, даже когда здесь поселится Элис...

Толстый двойной ковер под ногами гасил все звуки, и это ободряло.

— Элис хочет въехать послезавтра. Мы поженимся.

Тетя Роуз злобно, с сомнением моргнула.

— А! — Греппин вскочил на ноги. Всмотрелся и упал обратно на стул. Рот его конвульсивно кривился. Освобождаясь от напряжения, он рассмеялся. — О, понятно. Это была муха.

Он проследил, как муха с неспешной четкостью проползла по белой, как слонобая кость, щеке тети Роуз и стремительно взлетела. Почему она выбрала именно это мгновение, чтобы создать видимость, будто тетя Роуз недоверчиво мигнула?

— Сомневаешься, тетя Роуз, что я вступлю в брак? Думаешь, я неспособен жениться, любить, выполнять связанные с этим обязанности? Думаешь, я не созрел, чтобы иметь дело с женщинами и их уловками? Думаешь, я ребенок, размечтавшийся ребенок? Так погоди же! — Тряся головой, он заставил себя успокоиться. — Слушай, — сказал он себе, — это была муха, только и всего. Муха сомневается в любви или сомневаешься ты, а оттого и муха, и миганье? Тьфу, черт! — Он указал на четверку за столом. — Я собираюсь подбавить огоньку в печи. Через час я выселяю вас из дома раз и навсегда. Поняли? Отлично. Вижу: поняли.

За окном пошел дождь, холодный назойливый ливень, промочивший дом. Греппин нахмурился. С другими звуками можно справиться, но с шумом дождя — никак. Тут не помогут ни новые петли, ни смазка, ни крюки. Не затянуть ли крышу тканью, чтобы не стучало? Нет, это уж слишком. Нет. С дождем ничего не поделаешь.

Как никогда в жизни, он жаждал тишины. В каждом звуке заключался страх. А потому со звуками следовало всячески бороться.

Дробь дождя напоминала стук нетерпеливого гостя. Греппин снова погрузился в воспоминания.

Он представил себе остальное. Тот день две недели назад и тот час, когда он заставил их улыбаться...

Он взял мясной нож, приготовленный, чтобы разрезать за столом птицу. Семейство собралось по обыкновению в полном составе, со значительными, постылыми минами. Когда дети пробовали улыбнуться, тетя Роуз растаптывала их улыбки, как противных жучков.

Тете Роуз не понравилось, под каким углом Греппин держит нож, разрезая птицу. И еще она дала понять, что нож недостаточно острый. Ах да, острота ножа. Дойдя в своих воспоминаниях до этого места, он закатил глаза и рассмеялся. Послушно заточив нож на бруске, он повторно взялся за птицу. Разрезав ее почти до конца, он обвел медленным взглядом их постылые неодобрительные лица, похожие на пудинг с агазовыми глазками, и почувствовал себя так, словно его застали не с ощипанной куропаткой, а с голой женщиной. Греппин воздел нож и хриплым голосом крикнул:

— Боже мой, да почему никто из вас никогда не улыбнется? Ну так сейчас вы у меня заулыбаетесь как миленькие!

И он несколько раз взмахнул ножом, как волшебной палочкой.

И в скором времени — смотри-ка! Заулыбались все до одного!

Он оборвал воспоминания на середине, скомкал их, смял в шарик и отбросил. Быстро встал, вышел в холл, оттуда в кухню, спустился по темной лестнице в подвал, открыл дверцу печи и уверенно, умело развел жаркое пламя.

Вернувшись наверх, он осмотрелся. Нужно будет нанять уборщиков, чтобы вычистили пустой дом, и декораторов — пусть снимут старые тусклые шторы и повесят новые, блестящие. Купить толстые восточные ковры, с ними в доме будет тихо: к тишине он стремится и будет нуждаться в ней целый ближайший месяц, а то и весь год.

Он зажал ладонями уши. Что, если Элис Джейн затеет шуметь, расхаживая по дому? Как-то где-то поведет себя шумно?

Греппин усмехнулся. Смех да и только. Проблема уже решена. Бояться нечего, Элис не станет шуметь. Все проще простого. Он получит от Элис Джейн все удовольствия без малейшей головной боли.

Требовалось внести еще одно дополнение в качество тишины. Двери, засасываемые ветром, часто хлопали, и он решил поставить на них сверху пневматические тормоза; такие устанавливают в библиотеках — когда поворачивается рычаг, слышно лишь тихое шипение.

Греппин пересек столовую. Картина не поменялась. Сидящие не изменили положения рук; на Греппина они не обращали внимания, но винить их в невежливости не приходилось.

Он поднялся по лестнице в прихожей, чтобы переодеться и приготовиться к выдворению семейства. Вынимая запонку из тонкой манжеты, он склонил голову набок и прислушался.

Музыка.

Вначале он не беспокоился. Но потом задрал голову, и с его щек начал медленно сползать румянец.

В самой верхней точке дома нота за нотой, тон за тоном звучала музыка, и Греппин испугался.

Казалось, кто-то дергает беспрерывно одну и ту же струну арфы. В полной тишине тихий звук нарастал, пока, ошавев от беззвучия, простирившегося вокруг, не перерос сам себя.

С шумом, подобным взрыву, руки Греппина распахнули дверь, ноги сами припустили по лестнице на третий этаж, пальцы, то вцепляясь, то ослабляя хватку, скользили вдоль длинной полированной змеи перил. Ступени убегали вниз, за ними вставали другие, выше и темнее. У подножия лестницы он медлил и спотыкался. Теперь — неся во весь дух, и если бы на его пути внезапно воздвиглась стена, он бы стал ломиться сквозь нее, до крови обдирая себе ногти.

Греппин ощущал себя бегущей мышью, накрытой огромным колоколом. В вышине его гудела нота арфы. Она притягивала Греппина пуповиной звука, порождая, питая, пестуя страх. Мать и дитя, а между ними — страх. Греппин попробовал вручную оборвать связующую нить, но не смог. Упал, словно кто-то выдернул у него из рук веревку, за которую он цеплялся.

Еще один четкий тон. И еще.

— Нет, стоп! — крикнул Греппин. — В моем доме шума не бывает. Две недели как. Я сказал: его больше не будет. И его не может быть... не может, и все тут! Стоп!

Он ринулся на чердак.

От облегчения ему захотелось истерически зарыдать.

Через прохудившуюся крышу проникал дождь, капли падали в высокую шведскую вазу из граненого стекла, возникал резонанс.

Свирепо лягнув вазу ногой, Греппин разбил ее вдребезги.

Облачившись у себя в комнате в поношенные рубашку и штаны, Греппин удовлетворенно хихикнул. Музыка смолкла, дыру в крыше он законопатил, ваза разлетелась на тысячу осколков, тишине ничто не угрожало.

Тишина бывает разная. У каждой тишины есть свои особенности. Тишина летней ночи — это вовсе не тишина, а множественные слои звуков: хоры насекомых, жужжание электрических лампочек — крутятся на маленьких одиноких орбитах над одинокими сельскими дорогами, они кидают вниз неяркие кольца света, питающие ночь. Чтобы быть тишиной, тишине летней ночи требуется особый слушатель — беспечный, невнимательный и равнодушный. Какая же это тишина! Существует и зимняя тишина, она спрятана под крышкой гроба, но готова вырваться на свободу при первом признаке весны; все сущее представляется сжатым, недолговечным; тишина заставляет звуки раскрываться; в стылом алмазном воздухе всякий вздох, всякое сказанное в полуночный час слово отдается или взрывом, или колокольным перезвоном. Нет, тишиной в полном смысле это не назовешь. Существует и другая тишина. К примеру, молчание любовников, когда им не нужны слова. Щеки Греппина зарумянились, он закрыл глаза. Эта тишина очень даже приятная, но только неполная, женщина непременно подпортит ее: то, мол, ты ее прижал, то не прижал. Он улыбнулся. Но с Элис Джейн даже этого можно было

не опасаться. Греппин позаботился обо всем. Все было отлично.

Шепот.

Он надеялся, что соседи не слышали его дурацкий вскрик.

Тихий-тихий шепот.

Так вот, о тишине... Самая лучшая тишина — та, которую устраиваешь сам, устраиваешь во всех деталях, и можно уже не бояться, что лопнут хрустальные оковы, загудят насекомые или задребезжит лампочка. Человеческий ум измыслит средства против любого звука, любой случайности и сотворит такую тишину, что услышишь, как трутся друг о друга клетки твоей собственной ладони.

Шепот.

Он потряс головой. Шепота не было. В его доме шепота быть не могло. Греппина прошиб пот, челюсть отвисла, глаза завращались в орбитах.

Шепот. Тихий разговор.

— Говорю вам, я женюсь, — произнес он голосом слабым и невнятным.

— Врешь, — прозвучало в ответ.

Греппин, как повешенный, уронил голову на грудь.

— Ее зовут Элис Джейн... — Размякшие, мокрые губы выдавливали бесформенные слова. Одно веко задергалось, словно посылая сигналы невидимому гостю. — Вы не мешаете мне любить ее. Я люблю ее...

Шепот.

Греппин слепо шагнул вперед.

Когда он ступил на вентиляционную решетку в полу, отвороты его брюк захлопали под струей теплого воздуха. Шепот.

Печь.

Когда он спускался по лестнице, в парадную дверь постучали.

Греппин приник к двери.

— Кто там?

— Мистер Греппин?

Греппин затаил дыхание.

— Да?

— Впустите нас, будьте добры.

— Кто это?

— Полиция, — отозвались с улицы.

— Что вам нужно? Я как раз сел ужинать.

— Хотим с вами поговорить. Нам позвонили соседи. Сказали, ваши тетя и дядя уже две недели не показывались. Они слышали какой-то шум...

— Поверьте, у нас все нормально. — Греппин выдал из себя смешок.

— Что ж, давайте обсудим это по-дружески, только откройте дверь, — продолжали снаружи.

— Простите, — не сдавался Греппин, — я устал и проголодался, приходите завтра. Тогда и поговорим, если хотите.

— Вынужден настаивать, чтобы вы открыли, мистер Греппин.

Послышались удары в дверь.

Повернувшись как автомат, Греппин на негнущихся ногах зашагал через холл, мимо равнодушных часов, молча вошел в столовую. Уселся, ни на ком не останавливая взгляда, и заговорил — вначале медленно, потом все быстрее.

— Кто-то ломится в дверь. Не поговоришь ли с ними, тетя Роуз? Скажи, пусть убираются, мы ужинаем. Все заняты ужином, выглядят отлично; если полиция войдет, ей придется убраться ни с чем. Ты поговоришь с ними, тетя Роуз, ладно? А пока все это происходит,

мне нужно вам кое-что сказать. — Ни с того ни с сего по его щекам скатилось несколько горячих слезинок. Он проследил, как они исчезли, впитавшись в белую скатерть. — Я не знаю девушки по имени Элис Джейн Беллерд. Я никогда не знал никого по имени Элис Джейн Беллерд! Это все было... не знаю. Я говорил, будто люблю ее и хочу на ней жениться, потому что хотел, чтобы вы улыбнулись. Да, я сказал так, только чтобы заставить вас улыбнуться. У меня никогда не будет женщины, я это понял уже несколько лет назад. Будь добра, тетя Роуз, не передашь ли мне картошку?

Парадная дверь треснула и упала. Прихожая наполнилась приглушенным топотом. В столовую ввалились несколько мужчин.

Замешательство.

Полицейский инспектор поспешно стащил с себя шляпу.

— Прошу прощения, — извинился он. — Я не собирался прерывать ваш ужин, я...

Полицейские остановились так резко, что комната сотряслась и тела тети Роуз и дяди Даймити выбросило на ковер. На горле у каждого, от уха до уха, зиял разрез-полумесяц — жуткое подобие улыбки ниже подбородка, такое же, как у детей за столом; и, глядя на эти рваные улыбки, поздние гости поняли все...

Гонец

*

New-Story

Июль 1951

Мне кажется, чувственной восприимчивостью я не обделен: общаясь с кошками и собаками, при поглаживании остро ощущаю теплоту их тел, мягкость шерсти; в собачьей натыкаясь на застрявшие в ней листья. Пес — это ведь целая энциклопедия, правда? Стоит только потрепать собаку после ее пробежки по осенней листве — и вся осень, целиком, у тебя в ладонях. Эта метафора пришла мне в голову сама собой: тогда я все еще держал дома собаку и возился с ней ежедневно. Учительница в рассказе — та же самая, что и в некоторых других (звали ее мисс Джонсон); я учился у нее в пятом классе, а когда двадцатилетним вернулся в Уокиган, мисс Джонсон уже два года не было на свете, а мне лет было больше, чем ей в тот вечер. Взял вот и написал этот рассказ.

*

Снова осень: он это понял по тому, как Торри прыжками ворвался в дом, внеся с собой свежий морозный сквознячок. Осень впиталась в каждый завиток его черной шерсти. Мелкие листочки прилипли к темным ушам и к морде, слетали с белого пятна на груди и с хвоста, которым он радостно вилял. Пес насквозь пропах осенью.

Мартин Кристи сел в постели и протянул вниз тонкую бледную руку. Торри залаял, щедро вывалил наружу розовый взволнованный язык и принялся во-

зить им по тыльной стороне руки Мартина. Лизал ее как леденец.

— Это из-за соли,— пояснил Мартин, когда Торри запрыгнул к нему на постель.— А ну-ка назад,— остановил он пса.— Мама не любит, когда ты сюда влезаешь.— Торри прижал уши.— Ладно уж...— смиловился Мартин.— Так и быть, на минуточку.

Торри согревал худенькое тело Мартина собачьим теплом. Мартин с удовольствием вдыхал свежий песий запах и трогал раскиданные по одеялу палые листья. Мама разворчитсЯ — ну и пусть. Ведь Торри только-только родился. Явился на свет заново прямо из нутра осени, из резкого морозного воздуха.

— Что там на улице, Торри? Расскажи.

Растянувшись на одеяле, Торри рассказывал. Устроившись рядышком, Мартин узнавал про осень — как это бывало раньше, до того как болезнь уложила его в постель. Теперь с осенью его связывали только этот минутный холодок, шерсть с запутавшимися в ней листьями, сжатый собачий отчет о минувшем лете — осень, переданная по доверенности.

— Где ты сегодня был, Торри?

Но отвечать Торри было незачем. Мартин знал и так. Через отягощенный осенью холм, оставляя следы лап на ярком ворохе листвы, туда, где в Барстоу-парке слышались возгласы детей, катавших на велосипедах и роликовых коньках,— туда мчался Торри с восторженным лаем. И мчался дальше — в город, где раньше, в темноте, пролился дождь и грязь бороздили колеса автомобилей,— прошмыгивая между ног прохожих, делавших закупки на уик-энд. Туда Торри и устремлялся.

Но куда бы Торри ни устремлялся, Мартин тоже мог побывать там: Торри неизменно оповещал его обо

всем своей шкурой, разной на ощупь — шерсть казалась то жесткой и плотной, то мягкой, бывала мокрой или сухой. И, лежа с Торри в обнимку, Мартин мысленно прослеживал весь его путь через поля, через тускло отсвечивающий ручеек, через мраморное пространство кладбища и по лугам к лесу: где бы ни происходили буйные осенние забавы, всюду Мартин мог теперь побывать с помощью своего посланца.

Снизу послышался сердитый голос матери.

И ее скорые сердитые шажки по ступеням лестницы из холла.

Мартин отпихнул собаку:

— На пол, Торри!

Торри скрылся под кроватью как раз перед тем, как дверь отворилась и мама вошла, быстро окинув спальню голубыми глазами. В руках она крепко держала поднос с салатом и фруктовыми соками.

— Торри здесь? — строго спросила она.

Торри выдал себя постукиванием хвоста о половицу.

Мама резким движением опустила поднос:

— Не пес, а одно несчастье. Вечно все переворачивает вверх дном и везде роется. Утром забрался в сад к мисс Таркин и выкопал целую яму. Мисс Таркин в бешенстве.

— Ох, — выдохнул Мартин.

Под кроватью было тихо. Торри знал, когда затаиться.

— И это не в первый раз, — продолжала мама. — На этой неделе яма уже третья!

— Может быть, он чего-то ищет.

— Ерунду ищет! Надоел со своим любопытством. Всюду сует свой черный нос. С утра до ночи!

Из-под кровати донеслось мохнатое пиццикато хвоста. Мама невольно улыбнулась.

— Вот что, — заключила она, — если он не перестанет рыться в чужих дворах, мне придется держать его взаперти.

Мартин широко раскрыл глаза:

— О мама, нет-нет! Не делай этого! Тогда я ни о чем не буду знать. Ведь он мне обо всем *рассказывает*.

— Правда, сынок? — смягчилась мама.

— Конечно. Торри бывает везде, а когда вернется, рассказывает обо всем, что случилось, — до последней мелочи!

Мама холодной рукой дотронулась до головы сына:

— Я рада, что он тебе рассказывает. Рада, что он у тебя есть.

Оба немного посидели молча, думая о том, каким ничемным оказался бы минувший год без Торри. Еще два месяца, подумал Мартин, полежать в постели, как сказал доктор, и он встанет на ноги.

— Сюда, Торри!

Мартин с побрякиванием закрепил на Торри особый ошейник — с надписью, выведенной на жестяном квадратике:

«МЕНЯ ЗОВУТ ТОРРИ. НЕ НАВЕСТИТЕ ЛИ ВЫ МОЕГО ХОЗЯИНА — ОН БОЛЕН. ИДИТЕ ЗА МНОЙ!»

Надпись действовала. Торри каждый день отправлялся с ней на прогулку.

— Мама, ты выпустишь его из дома?

— Да, если он будет вести себя хорошо и перестанет рыть ямы!

— Он перестанет — правда, Торри?

Торри залаял.

Слышно было, как Торри с тивканьем уносится вдоль по улице в поисках гостей. Мартина лихорадило: с расширенными глазами он сидел, подпертый подушками, и прислушивался, следуя мысленно за собакой — все быстрее и быстрее. Вчера Торри привел за собой миссис Холлоуэй с Ильм-авеню: она принесла в подарок книгу; позавчера Торри стоял на задних лапках перед мистером Джейкобсом, ювелиром. Мистер Джейкобс наклонился и, близоруко прищурившись, вгляделся в надпись на бирке; конечно же, он явился, шаркая ногами и пошатываясь, поприветствовать Мартина.

Сейчас, дымным полднем, Мартин слышал, как Торри возвращается домой, заливаясь на бегу лаем.

Вслед за ним слышались легкие шаги. Кто-то осторожно позвонил в звонок на входной двери. Мама открыла. Раздались голоса.

Торри метнулся наверх, вскочил на постель. Мартин с разгоревшимся лицом возбужденно подался вперед — увидеть, кто придет к нему на этот раз.

Может быть, мисс Палмборг, или мистер Эллис, или мисс Джендрис, или...

Гостя поднималась по лестнице, разговаривая с мамой. Молодой женский голос, перебиваемый веселыми смешками.

Дверь распахнулась.

К Мартину пришли.

Минуло четыре дня, в которые Торри исправно нес свою службу: утром, днем и вечером докладывал о температуре воздуха, о состоянии почвы, об окраске листьев, о количестве осадков и, самое главное, приводил с собой гостей.

В субботу снова пришла мисс Хайт. Это была молодая красивая женщина, смешливая, с блестящими каштановыми волосами и легкой походкой. Она жила в большом доме на Парк-стрит. За месяц она пришла в третий раз.

В воскресенье приходил его преподобие Волмар, в понедельник — мисс Кларк и мистер Хендрикс.

И каждому посетителю Мартин подробно объяснял про свою собаку. Как весной от Торри пахло дикими цветами и свежей землей; как летом он был насквозь пропитан сухим солнечным теплом, а теперь, осенью, приносил спрятанным в шкуре целый клад золотых листьев — Мартину на исследование. Торри показывал, как это делается, перевернувшись на спину и дожидаясь осмотра.

Однажды утром мать сообщила Мартину новость о мисс Хайт — той самой: юной, красивой, смешливой.

Она умерла.

Погибла в автомобильной аварии в Глен-Фоллзе.

Мартин, прижимая Торри к себе, вспоминал мисс Хайт: как она улыбалась, какие у нее были сияющие глаза, коротко стриженные каштановые волосы, стройное тело, стремительная походка; как чудесно она рассказывала о временах года, о людях.

И вот теперь ее нет. Она не придет и ни о чем со смехом не расскажет. Вот и все. Она умерла.

— Мам, а что делают на кладбище, под землей?

— Ничего.

— То есть просто-напросто лежат?

— Покоятся, — поправила мать.

— *Покоятся?*..

— Да, и ничего больше.

— Не очень-то весело это звучит.

- И не должно.
- Почему бы им иной раз не встать и не прогуляться, когда прискучит лежать?
- Хватит об этом.
- Я только хотел узнать.
- Вот и узнал.
- Иногда мне кажется, что Бог не больно-то умен.
- Мартин!

Мартин насупился:

— Ты думаешь, Он не найдет для людей ничего лучше, чем забросать им лица землей и велеть лежать смиренно до скончания века? Думаешь, ничего другого Он для них не сделает? Вот когда я приказываю Торри притвориться мертвым, он притворится, но потом ему это надоедает, и он начинает вилять хвостом, моргать, пыхтеть, спрыгивает с постели — и поминай как звали. Спорим, что те, на кладбище, поступают точно так же — а, Торри?

Торри гавкнул.

— Хватит! — строго заявила мать. — Что это за разговор!

Осень продолжалась. Торри сновал по лесам, перепрыгивал через ручей, рыскал, как обычно, по кладбищу, бегал по городу и возвращался обратно, ничего не упуская.

В середине октября он повел себя странно. Казалось, будто ему никак не отыскать гостей для Мартина. Казалось, никто не замечает его зазываний. За целую неделю он не привел ни одного посетителя. Мартин очень был этим угнетен.

Мать объяснила это так:

— Всем недосуг. Война и всякое такое. У каждого полон рот забот — и кому нужны собачонки на задних лапках.

— Угу,— отозвался Мартин.— Наверное, так.

Но не только в этом была причина. Глаза у Торри подозрительно блестели. Словно он и не слишком-то старался, или вовсе забросил поиск, или же... Мартин никак не мог разобраться, в чем тут дело. Может, Торри захворал. Ну и на кой тогда посетители?! Пока Торри с ним, все хорошо.

Но вот однажды Торри убежал и так и не вернулся.

Сначала Мартин дожидался спокойно. Потом — нервно. Потом — с волнением и тревогой.

За ужином он слышал, как родители кличут Торри. Напрасно. Толку не было никакого. С тропинки за домом не донеслось шуршания приближающихся лап. В холодном ночном воздухе не раздался громкий лай. Тишина. Торри исчез. Торри больше не появился — никогда.

За окном падали листья. Мартин медленно опустился на подушку. В груди ныло тупо и болезненно.

Мир умер. Пропала и осень: некому доставить ее в дом своей шерстью. Не будет и зимы: некому увлажнить одеяло мокрыми от снега лапами. Времена года кончились. Время остановилось. Посредник, гонец потерялся в суматошной городской толчее: быть может, его сбила машина; быть может, его отравили или украли — и время остановилось.

Всхлипывая, Мартин уткнулся лицом в подушку. Связь с миром оборвалась. Мир умер.

Мартин ворочался в постели: спустя три дня хеллоуинские тыквы оставили гнить в мусорных баках, маски сожгли в печках, чучела убрали на полки до следующего года. Хеллоуин миновал — стертый, неосязаемый. Да и что он был такое? Всего лишь один вечер, когда Мартин слышал, как к холодным осенним

звездам неслись раскаты рожков, раздавались крики, а на подоконники и крылечки с тяжелым стуком падали фигурки из мыла и кочаны капусты. Вот и все.

Первые три ноябрьских дня Мартин, уставившись в потолок, следил, как по нему скользили то темные, то светлые полосы. Дни становились короче, темнее — это было видно по окну. Деревья оголились. Осенний ветер сделался порывистей и холоднее. Но для Мартина это был всего лишь пустой спектакль — и только. Смысла в нем он не видел.

Мартин читал книги о временах года и о жизни людей в том мире, который теперь для него не существовал. День ото дня он вслушивался и вслушивался, но не слышал тех звуков, какие ждал.

Наступил вечер пятницы. Родители Мартина отправились в театр. Вернутся в одиннадцать. Миссис Таркинс, соседка, заглянет и недолго посидит, пока Мартина не станет клонить ко сну, а потом пойдет к себе домой.

Мама и папа поцеловали Мартина, пожелали ему спокойной ночи и ушли из дома в осень. С улицы доносились их шаги.

Миссис Таркинс пришла, побывала с Мартином некоторое время, а потом, когда Мартин признался, что устал, выключила свет и направилась к себе.

И вот — тишина. Мартин просто лежал и наблюдал, как по небу медленно движутся звезды. Вечер был ясный, светила луна. В такие вечера он с Торри совершал когда-то пробежки по городу, по спящему кладбищу, через ложбину и луга, по оттененным улицам — в погоне за призрачными детскими мечтами.

Дружелюбен был только ветер. Звезды не лают. Деревья не умеют вставать на задние лапки и служить.

А ветер, конечно же, несколько раз ударял хвостом по дому, заставляя Мартина вздрагивать.

Пошел десятый час.

Если бы только Торри вернулся домой, принес с собой клочок окружающего мира. Репейник или покрытый инеем чертополох — или застрявший в ушах порыв ветра. Если бы только Торри вернулся домой.

И тогда откуда-то издали донесся отзвук.

Мартин встрепенулся под одеялом. В его глазах отражался звездный свет. Он отбросил одеяло в сторону и напряженно вслушался.

Отзвук повторился.

Тонкий, словно воздух на расстоянии многих миль пронизывало острие иглы.

Это было смутное эхо собачьего лая.

Эхо от шумного дыхания собаки, бегущей в ночи по полям и лугам, по темным городским улицам. Собаки, описывающей круги и продолжающей бег. Эхо делалось громче и затихало, приближалось и удалялось, будто кто-то тянул собаку вперед на поводке. Будто бегущего пса кто-то подзывал к себе свистом под каштаны, пес возвращался, описывал круг и снова кидался по направлению к дому.

Мартину показалось, что пол комнаты начал вращаться, и дрожь его тела передалась кровати. Пружины отозвались тонким металлическим звоном.

Еле различимый лай длился уже минут пять, становясь все громче и громче.

Торри, вернись! Торри, вернись! Торри, малыш, ну Торри, где же ты пропал? Торри, Торри, ну же!

Прошло еще пять минут. Все ближе и ближе: Мартин без устали, снова и снова твердил кличку собаки. Плохой пес, скверный пес — удрал и не являлся столько дней. Плохой пес, славный пес, вернись, о Торри,

давай скорее домой и Расскажи мне, что там нового! По щекам Мартина покатались слезы и впитались в одеяло.

Теперь еще ближе. Совсем близко. Лай — прямо с улицы. Торри!

Мартин затаил дыхание. Собачьи лапы шуршат по ворохам сухих листьев, по тропинке. И вот — уже у самого дома: гав-гав-гав! Торри!

Лай за дверью.

Мартина била лихорадка. Не спуститься ли ему вниз и впустить собаку — или дождаться, пока вернется мама с папой? Ждать. Да, нужно ждать. Но что, если, пока он ждет, Торри убежит снова — этого не вынести! Нет, он спустится вниз, отопрет замок — и его необыкновенный пес снова прыгнет к нему на руки. Славный Торри!

Мартин уже начал спускать ноги с постели, но тут снизу послышался стук. Дверь отворилась. Кто-то сжалился и впустил Торри в дом.

Конечно же, Торри привел с собой гостя. Мистера Бьюкенена или мистера Джейкобса — а может, и мисс Таркинс.

Дверь отворилась и захлопнулась, Торри ринулся вверх по лестнице и с визгом запрыгнул на постель.

— Торри, где ты пропадал, что ты делал всю эту неделю?

Мартин и смеялся, и плакал одновременно. Он схватил пса в охапку и прижал к себе. Потом вдруг умолк. Широко раскрытыми, удивленными глазами всмотрелся в Торри.

Запах, исходивший от Торри, был — другим.

Пахло от него землей. Мертвой землей. Землей, пролежавшей бок о бок с разлагающейся гнилью на глубине в шесть футов. Зловонной, тошнотворной зем-

лей. С лап Торри падали комки слипшейся почвы. И — что еще? — ссохшийся клочок чего — *кожи?*

Кожи? Да! КОЖИ!

Что за вести принес Торри на этот раз? Что они означают? Зловоние сочной и жуткой кладбищенской земли.

Торри, негодник. Вечно рылся там, где нельзя. Торри, молодчина. Всегда легко заводил друзей. Всяк был ему по нраву. Вот он и приводил друзей с собой.

И сейчас этот самый последний по счету гость поднимался по ступеням. Медленно. Волоча ноги одну за другой — с трудом, кое-как, не спеша, еле-еле.

— Торри, Торри — где же ты пропадал! — громко выкрикнул Мартин.

С собачьей груди осыпался зловонный пласт тлена. Дверь спальни приотворилась.

К Мартину пришли.

Страница

*

Weird Tales

Март 1946

Чаще всего я начинаю рассказ просто для того, чтобы увидеть, как он будет разворачиваться дальше. Что произойдет, если героиня встретит такого-то? А что произойдет, если героиня встретит совсем другого? Помню точно: с самого начала Сеси лежала в постели перед приходом... рехнувшегося дядюшки, так? И я подумал: ладно, посмотрим, что случится дальше. Да, многие из упомянутых вами рассказов написаны именно таким образом.

*

Отец заглянул в комнату Сеси, когда начинало светать. Она лежала на кровати. Отец с непонимающим видом помотал головой и вытянул руку:

— Так-так, если кто мне втолкует, чего ради она тут валяется, я сжую креп с моего ящика из красного дерева. Проспит ночь, отзавтракает — и целый день проводит на застеленной постели.

— О, но она такая помощница,— вставила мать, увлекая отца в коридор от двери, за которой маячила сонная неясная фигура Сеси.— У нас в семье только она мастерица на все руки. Что толку от твоих братьев? Почти все знай себе спят с утра до вечера, и хоть бы кто пальцем о палец ударил. Сеси, по крайней мере, не остается без дела.

Перешептываясь на ходу, они спустились вниз, где пахло нагаром от черных свечей, по лестнице с перилами, обитыми черным крепом, который не снимали с того дня, когда праздновалось всеобщее Возвращение. Отец обессиленно распустил галстук.

— Зато мы ночами работаем, — сказал он. — Ничего не попишешь, раз уж мы — по твоему выражению — старомодны.

— Конечно, никуда не денешься. Не могут же все члены Семейства быть современными.

Мать распахнула дверь подвала, и оба рука об руку двинулись в темноту. Мать с улыбкой оглядела круглое бледное лицо отца:

— Огромная удача, что мне *совсем* не нужно спать. Если бы ты женился на ночной сплюшке — вообрази, какой бы это был брачный союз! Каждый из нас сам по себе. Все разные. Кто во что горазд. Уж такое у нас Семейство. Иногда появится кто-то вроде Сеси — головастый, а потом кто-то наподобие дядюшки Эйнара — крылатый, а там, глядишь, снова копия Тимоти — ровный, спокойный, обыкновенный. Или вот ты — спишь днем. А я зато глаз за всю жизнь не сомкнула. Понять Сеси — не такая уж сложная для тебя задача. Она, что ни день, помогает мне миллионом разных способов. Мыслями уносится к зеленщику — разузнать, что у него на прилавке. Влезет в мясника — и мне незачем тащиться к черту на рога, если он пока еще не нарубил хороших кусочков. Предупреждает, когда ко мне собираются нагрять сплетницы — полдня чесать языками. Да масса всякого другого прочего!..

В подвале они задержались у просторного пустого ящика из красного дерева. Отец поместился в нем, все еще борясь с сомнениями.

— Хорошо, если бы она вносила вклад посущественней,— заметил он.— Боюсь, придется попросить ее подыскать себе какую-нибудь работенку.

— Вечер утра мудренее,— проговорила мать, опуская над ним крышку.— Обмозгуй как следует. Может, к закату у тебя появятся другие мысли.

— Ладно,— задумчиво отозвался отец. Крышка хлопнулась.

— Спокойного утра, дорогой.

— Спокойного утра,— донесся из ящика приглушенный голос.

Солнце поднялось над горизонтом. Мать поспешила наверх готовить завтрак.

Сеси Элиот была из числа тех, кто Странствует. Выглядела она обыкновенной восемнадцатилетней девушкой. Но ведь ни у кого из Семейства внешний вид не совпадал с внутренней сутью. С клыкастыми, ползучими тварями или с ведьмами на помеле они не имели ничего общего. Жили по маленьким городкам и фермам, разбросанным по всему свету, просто и незатейливо выстраивая и приспособливая свои таланты к требованиям и установкам переменчивого мира.

Сеси Элиот проснулась и плавно прошлась по дому, мурлыкая себе под нос песенку.

— Доброе утро, мама!

Она спустилась в подвал — проверить все просторные ящики из красного дерева, смахнуть с них пыль и убедиться, что каждый плотно закрыт.

— Отец,— проговорила она, полируя один ящик.— Кузина Эстер,— заметила она, осматривая другой,— приехала погостить. А это,— постучала она по третьему,— дедушка Элиот.— Внутри зашуршало, точно встряхнули папирусный свиток.— Странная у нас се-

мейка, разношерстная, — размышляла она, поднимаясь по лестнице на обратном пути в кухню. — Кому ночь слаще конфетки, кому хуже горькой редьки; одни бодрствуют, как мама, по двадцать пять часов в сутки, другие, вроде меня, дрыхнут пятьдесят девять минут из шестидесяти. Сони разного сорта.

Сеси приступила к завтраку. Взявшись за абрикосовый компот, она заметила пристальный взгляд матери. Отложила ложку.

— Отец передумает, — сказала она. — Я покажу ему, как хорошо, когда я под рукой. Я ведь семейная страховка, должен же он это понимать. Погоди только немного.

— Ты была во мне совсем недавно, когда я спорила с отцом? — спросила мать.

— Ну да.

— Вот мне и показалось, будто ты смотришь моими глазами, — кивнула мать.

Сеси кончила завтракать и поднялась в спальню. Сложила одеяла и чистые прохладные простыни, потом улеглась поверх покрывала, закрыла глаза, пристроила тонкие белые пальцы на небольшой груди, откинула на подушку изящную, изысканно выточенную головку с пышной копной каштановых волос.

И отправилась в Странствие.

Ее сознание выскользнуло из комнаты, пронеслось над двором с цветочными клумбами через поля, через зеленые холмы, через старинные сонные улочки Меллин-Тауна и, оставив позади влажную низину, влилось в порыв ветра. Весь день она будет летать куда вздумается. Вскочит в собаку, посидит там и ощутит касания песьей щетины, погрызет сахарную косточку, внюхается в резкий запах мочи у стволов деревьев. Слух у нее станет собачьим. Начисто забудет о строе-

нии человеческого тела. Присмотрелся к собаке. Это нечто большее, чем простая телепатия: выскочить из одной трубы и нырнуть в другую. Это полное перемещение из одной среды вокруг какого-то тела в другую вокруг иного. Переселение в собак, обнюхивающих деревья, в мужчин и старых дев, в птиц, в детей, играющих в классы, в любовников на утренней постели, в потных рабочих, занятых копкой, в розовые дремлющие мозги младенцев в материнской утробе.

Куда же ей направиться сегодня? Сеси приняла решение — и устремилась вперед!

Когда минуто спустя мать на цыпочках подкралась к двери спальни, то увидела Сеси недвижно лежащей на постели: грудь у нее не вздымалась, лицо было спокойное. Сеси уже здесь нет. Мать с улыбкой кивнула.

Утро прошло. Леонард, Билл и Сэм отправились на работу, вслед за ними Лора и сестра-маникюрша; Тимоти снарядили в школу. Дом затих. В полдень слышались только возгласы играющих на заднем дворе трех младших кузин Сеси Элиот: «Миндаль и коринка — гроб и корзинка». В доме всегда болтались то кузины, то дядюшки, то внучатые племянники и племянницы: они возникали и пропадали — как струя воды из крана исчезает в сливном отверстии раковины.

Кузины прекратили игру, когда высокий громогласный человек грохнул кулаком во входную дверь и, едва мать успела ее открыть, ворвался в дом.

— Это же дядюшка Джон! — задохнувшись, вскричала младшая из девочек.

— Тот, кого мы ненавидим? — переспросила вторая.

— Что ему нужно? — воскликнула третья. — Он зол как черт!

— Нет, это *мы* на него злимся, вот что, — гордо пояснила вторая. — За то, что он сотворил с нашим Семейством шестьдесят лет тому назад и семьдесят лет тому назад, а еще двадцать лет тому назад.

— Слышите? — Все трое прислушались. — Он взбегал наверх!

— Кажется, плачет.

— А взрослые разве плачут?

— Еще как, глупышка!

— Он в комнате у Сеси! Кричит. Хохочет. Молится. Плачет. То воет, то ноет, то жалуется — все сразу!

Младшая сама расплакалась. Она бросилась к двери подвала:

— Проснитесь! Вы, там внизу, — проснитесь! Вы — в ящиках! Дядюшка Джон здесь, и у него с собой кедровый кол! Я не хочу, чтобы мне пробили грудь кедровым колом! Проснитесь!

— Ш-ш-ш, — прошипела старшая. — Нет у него с собой кола! И тех, кто в ящиках, все равно не разбудишь. Слушайте, вы!

Девочки задрали головы вверх и, сверкая глазами, замерли в ожидании.

— Прочь от кровати! — приказала мать, стоя на пороге комнаты.

Дядюшка Джон склонился над сонным телом Сеси. Губы у него кривились. В зеленых глазах мелькали отчаяние, затравленность, исступление.

— Я что, опоздал? — сквозь рыдания хрипло выкрикнул он. — Ее уже нет?

— Давненько! — отрезала мать. — Ослеп, что ли? Она может днями отсутствовать. Порой случается, что и неделю вот так пролежит. Кормить ее не нужно —

пищу для тела она получает от тех, в кого или во что вселяется. Давай убирайся отсюда!

Дядюшка Джон сдержал всхлипывания, уперся коленом в пружины кровати.

— Почему же она не дождалась? — настойчиво добивался он, окидывая Сеси безумным взглядом и снова и снова пытаясь нащупать ее замерший пульс.

— Ты что, не слышал? — Мать решительно шагнула к нему. — Ее нельзя трогать. Пусть лежит как есть. Тогда по возвращении она войдет в тело в точности так, как полагается.

Дядюшка Джон отдернул руку. Его длинное, грубое, красное лицо, изрытое оспинами, ничего не выражало, вокруг усталых глаз залегли глубокие черные борозды.

— Куда бы она могла отправиться? Мне позарез нужно ее разыскать.

Отрывистые фразы матери звучали резко, будто пощечины:

— Не знаю. Любимых уголков у нее много. Может, она внутри ребенка, который бежит к оврагу вниз по тропинке. Может, раскачивается на виноградной лозе. Может, притаилась внутри рака, смотрящего на тебя из-под камушка в ручье. А может, сидит внутри старика, что играет в шахматы на площади перед зданием суда. Тебе самому не хуже меня известно, что она может оказаться где угодно. — Мать насмешливо скривила рот. — Может, сейчас она стоит внутри меня во весь рост и с хохотом тобой любит, а ты и не подозреваешь. Может, это она с тобой сейчас говорит и забавляется. А тебе и невдомек.

— Как-как... — Он грузно повернулся, будто громадный валун на шарнирах. Растопырил ручки, ища, во что бы вцепиться. — Если бы я только *подумал*...

Мать продолжала говорить — до странности невозмутимо:

— Нет, конечно же, она не внутри меня, не здесь. А даже если бы и была, угадать никак нельзя. — В глазах у нее блеснуло неуловимое злорадство. Высокая, стройная, она мерила его бесстрашным взглядом. — А ты не растолкуешь, зачем она тебе понадобилась?

Дядюшка Джон, казалось, прислушивался к звону отдаленного колокола. Потом сердито встряхнул головой, словно желая избавиться от наваждения.

— Что-то там, внутри меня... — прорывал он и, обрвав фразу, склонился к холодному спящему телу: — Сеси! Вернись — слышишь? Ты ведь можешь вернуться, если захочешь!

За омытыми солнцем окнами через высокие ивы пронесся легкий ветерок. Дядюшка Джон подвинулся, и кровать закрипела под его тяжестью. Вновь зазвонил колокол, и он стал к нему прислушиваться, но мать ничего не слышала. Только ему слышались эти далекие дремотные отзвуки летнего дня. Рот у него слегка приоткрылся.

— Сеси должна для меня кое-что сделать. Последний месяц у меня с головой не все ладно. Мысли какие-то чудные бродят. Чуть не поехал поездом в большой город посоветоваться с психиатром, да только не поможет он мне. Знаю, что Сеси по силам забраться мне в голову и прогнать оттуда все мои страхи. Ей нетрудно их высосать, как пылесосом, если она захочет. Она — единственная, кто может выскрести прочь всю грязь и смахнуть паутину, чтобы я стал как новенький. Вот зачем она мне нужна, неужто не понятно? — закончил он напряженным от ожидания голосом и облизнул губы. — Она *должна* мне помочь!

— После всего того, что ты причинил Семейству? — спросила мать.

— Ничего я такого Семейству не причинял!

— Говорят,— продолжила мать,— что в трудные времена, когда ты нуждался в деньгах, тебе платили по сотне долларов за каждого члена Семейства, которых ты выдавал властям для того, чтобы им колом проткнули сердце насквозь.

— Это не так! — Дядюшка Джон скорчился, точно его ударили в живот. — Доказательств нет. Ты лжешь!

— Тем не менее я не думаю, что Сеси захочется тебе помочь. И Семейство не пожелает.

— Семейство, Семейство! — Дядюшка Джон затопал ногами, как огромный распоясавшийся ребенок. — К черту Семейство! Я не желаю из-за вас с катушек слететь! Мне нужна помощь, черт побери, и я ее добуду!

Мать, сложив руки на груди, бесстрастно на него взирала.

Дядюшка Джон, понизив голос и стараясь избежать ее взгляда, со сдержанной угрозой проговорил:

— Послушайте меня, миссис Элиот, и ты, Сеси, тоже. — Он мотнул головой в сторону спящей. — Если ты здесь, на месте. Выслушайте вот что. — Он посмотрел на часы, тикавшие на дальней, залитой солнцем стене. — Если Сеси не явится домой сегодня вечером к шести часам, готовая прочистить мне мозги и вернуть разум, я... я обращусь в полицию. — Он выпрямился. — У меня есть список всех Элиотов, которые проживают на близлежащих фермах и в самом Меллин-Тауне. За час полиция сумеет наточить кедровых кольев для целой дюжины элиотовских сердец.

Он умолк, утер пот с разгоряченного лица. Посто-
ял, вслушиваясь.

Снова ударили в далекий колокол.

Этот колокол дядюшка Джон слышал уже не первый день. Никакого колокола и не было, но он явно различал звон. Колокол звонил и сейчас — то вблизи, то далеко, то совсем рядом, то неведомо где. Никто ничего не слышал — только он один.

Дядюшка Джон затряс головой и во всю мочь, чтобы перекрыть гудение колоколов, заорал на миссис Элиот:

— Ты меня поняла? — Он поддернул брюки, рывком за пряжку потуже затянул ремень и двинулся мимо матери к двери.

— Да, — произнесла мать. — Я поняла. Но даже мне не удастся позвать Сеси домой, если она не хочет возвращаться. Со временем она объявится. Наберись терпения. И не спеши в полицию...

— Я не могу ждать, — оборвал ее дядюшка Джон. — Со мной черт знает что творится — в голове шумит уже целых два месяца! Больше мне этого не вынести! — Он злобно глянул на часы. — Ну, я пошел. Попробую найти Сеси в городе. Если не наткнусь на нее до шести — ладно, что такое кедровый кол, вам известно...

Тяжелые башмаки с грохотом протопали по холлу, постепенно удаляясь, затихли на ступеньках лестницы и покинули дом. Когда восстановилась тишина, мать повернулась к Сеси и пристально, с тревогой всмотрелась в спящую.

— Сеси! — окликнула она негромко, но настойчиво. — Сеси, возвращайся домой!

Сонное тело молчало. Сколько мать ни ждала, Сеси лежала недвижно.

Дядюшка Джон прошагал через открытое пространство зазеленевших полей и вступил на улицы Меллин-Тауна, выискивая Сеси в каждом ребенке, который

лизал палочку мороженого, и в каждой белой собачонке, трусившей мимо по следу в страстно желаемое никуда.

Город раскинулся по сторонам, подобно фантастическому кладбищу. В сущности, не что иное, как горстка памятников, воздвигнутых в честь забытых ремесел и увеселений. Всего лишь обширный луг, где растут вязы, лиственницы и гималайские кедры, между которыми проложены дощатые тротуары, которые на ночь можно втащить к себе в сарай, если гулкие шаги прохожих будут очень уж раздражать. Высились старинные дома первых поселенцев — убогие, тесные и умудренно потускневшие, с очками цветных стекол под прореженными золотыми космами давших побегу столетних птичьих гнезд. В аптеке у стойки с газированной водой грудились затейливые, обвитые проволокой стулья с сиденьями из клееной фанеры, а в воздухе витал незабываемый острый и стойкий запах, бывавший только в аптеках и давно исчезнувший. Перед парикмахерским заведением торчал украшенный алой лентой столбик со стеклянной куколкой. Бакалейная лавка наполнилась смутным ароматом фруктов, мешавшимся с запахом пыльных ящиков и запахом старухи армянки, похожим на запах позеленевшего пенни. Город, никуда не спеша, тонул в тени гималайских кедров и сочных лиственных деревьев, и где-то тут была Сеси — та самая, умевшая странствовать.

Дядюшка Джон остановился, купил бутылку апельсинового сока с мякотью, осушил ее и утер лицо носовым платком; глаза у него прыгали вверх-вниз, как малыши прыгают через скакалку. Мне страшно, ду- мал он. Мне страшно.

Он посмотрел на зашифрованную точками-тире строку из птиц, нанизанных высоко над головой на

телефонный провод. Не там ли Сеси — смеется над ним, поглядывая вниз бусинками зорких птичьих глаз, охорашивая перышки и напевая для него песенку? Он с подозрением покосился на индейца, выставленного в сигарной лавке. Но холодная, вырезанная из дерева, табачного цвета фигура признаков жизни не подавала.

Вдалеке, словно дремотным воскресным утром, слышался перезвон колоколов — из долины его собственной головы. Зрение померкло. Вокруг сгустилась чернота. В его обращенном внутрь взгляде проплывали бледные, искаженные лица.

— Сеси! — закричал дядюшка Джон на все четыре стороны, всем и вся. — Я знаю, ты можешь мне помочь! А ну-ка, встряхни меня, будто я дерево! Сеси!

Слепота прошла. Он с ног до головы облился холодным потом, который не переставал литься и тек ручьями, как сироп.

— Я знаю, ты можешь помочь. Видел, как когда-то ты помогла кузине Марианне. Десять лет тому назад, верно? — попытался он собраться с мыслями.

Марианна была девчушкой — неприметней крота; волосы на ее круглой, будто шар, головенке скручивались пучком корешков. Она болталась в юбке язычком колокола, только при ходьбе он не звонил: она просто переваливалась с каблука на каблук. Она не отрывала взгляда от травы или мостовой под ногами; если глядела на вас — то не поднимала глаз выше вашего подбородка, если вообще вас видела, а уж встретиться взглядами вообще никогда не отваживалась. Мать Марианны отчаялась увидеть дочь замужней и хоть сколько-то преуспевшей в жизни.

Значит, все зависело от Сеси. Она вошла в Марианну, как рука в перчатку.

Марианна запрыгала, забегала, заверещала, ее желтые глазенки заблестели. Марианна принялась раскачивать юбку, распустила волосы — и они рассыпались игривой волной по полуобнаженным плечикам. Марианна хихикала и звенела, словно веселый язычок в непрерывно качавшемся колоколе юбки. Лицо у нее меняло множество выражений — робость, оживление, понятливость, материнское счастье, любовь.

От парней Марианне проходу не стало. Марианна вышла замуж.

Сеси ее покинула.

Марианна закатила истерику: пропал *стержень*, на котором держалась вся ее жизнь!

Целый день она пролежала колодой. Но привычка в нее уже въелась — и взяла свое. Частичка Сеси сохранилась внутри ее подобно отпечатку ископаемого на мягком сланцевом камне, и Марианна взялась исследовать прежние свои повадки, размышлять над ними и припоминать, что означало пребывание Сеси в ее теле, и очень скоро уже носилась повсюду, кричала и хохотала сама по себе: корсет, оживленный, если можно так выразиться, силой памяти!

С тех пор Марианна горя не знала.

Остановившись у сигарной лавки, чтобы поговорить с индейцем, дядюшка Джон яростно затряс головой. В его глазных яблоках всплывали сотни ярких пузырьков, каждый из которых вперялся в его мозг микроскопически крохотными косыми глазками.

Что, если он так и не найдет Сеси? Что, если равнинные ветры унесли ее до самого Элгина? Разве не там она обожала проводить время — в приюте для умалишенных, ощупывая их сознание, хватая и разбрасывая их мысли, будто пригоршню конфетти?

В полуденной дали, шумно вздохнув, разнесся по сторонам пронзительный металлический свисток и за клубился пар над паровозом, который мчался по долинам через эстакады, над прохладными реками, сквозь поля спелой кукурузы, ныряя в тоннели, будто палец в наперсток, под арками волнующихся ореховых деревьев. Джон замер от страха. А если Сеси, прямо сейчас, в кабине машиниста — и забралась к нему в голову? Она любила гонять чудовищные машины по всей округе, пока хватало контакта. И дергать за веревку свистка, чтобы с оглушительным ревом проноситься через спящую ночную местность или через погруженные в дневную дремоту поля.

Дядюшка Джон шел по тенистой улочке. Боковым зрением он заметил старуху — сморщенную, как высушенная винная ягода, и голую, как семечко чертополоха: она парила между ветвями боярышника, а из груди у нее торчал кедровый кол.

Раздался громкий визг!

В голове у дядюшки Джона забухало. Черный дрозд, взвившись в небо, унес с собой прядь его волос!

Дядюшка Джон погрозил птице кулаком, поднял с земли камень.

— А ну-ка, сунься, попробуй! — провоцил он.

Тяжело дыша, он ощутил затылком, что птица кружит над ним с намерением опуститься на сук и ухватить еще один клочок его волос.

Он притворно отвернулся.

Шум крыльев.

Он подскочил, цапнул птицу:

— Сеси!

Вот он, дрозд, у него в руках! Дрозд бился, с криком вырывался.

— Сеси! — кричал дядюшка Джон, разглядывая разъяренную черную тварь в клетке своих пальцев.

Дрозд расклевал ему руку до крови.

— Сеси, я тебя раздавлю, если ты мне не помо-
жешь!

Дрозд заверещал и клюнул его снова.

Дядюшка Джон стиснул пальцы — крепко, креп-
ко, еще крепче.

Ни разу не обернувшись, он поплелся подальше от того места, где в конце концов бросил мертвую птицу на землю.

Дядюшка Джон спустился в овраг, пролежавший через самый центр Меллин-Тауна. Что же теперь там творится, гадал он. Мать Сеси, поди, всех уже обзвонила? Перепугались ли Элиоты? Он шатался как пьяный, под мышками у него разливались целые озера пота. Так-так, пускай-ка капельку перетрухнут. Сам он устал бояться. Еще немного поищет Сеси — и прямиком в полицию!

На берегу ручья он расхохотался при мысли о том, как суетятся потерявшие голову Элиоты, придумывая, как бы обвести его вокруг пальца. Ну уж нетушки, сэр, черта с два вам удастся спровадить старого доброго дядюшку Джона в могилу рехнувшимся.

Из глубины, со дна на него пялились остекленелые, налитые кровью глаза.

Знойным летним полднем Сеси частенько забира-
лась в прикрытую мягким панцирем серость внутри
голов речных раков с их нижними челюстями-жвала-
ми. Частенько выглядывала из черных яйцеподобных
глаз на тонких волокнистых стебельках и наслажда-
лась тем, как вода неспешно обтекает ее плавными

струями прохлады и плененных солнечных лучей. Выдыхая и снова втягивая в себя плавно кружившие вокруг мелкие частички взвеси, она вытягивала перед собой ороговевшие и обомшелые клешни, напоминавшие некие приспособления для раскладывания салата по тарелкам — раздутые, острые будто ножницы. Следила за гигантскими шагами мальчишеских ног, приближавшихся к ней по дну ручья, вслушивалась в смутные, приглушенные толщей воды возгласы малолетних охотников за раками: они шарили вокруг бледными пальцами, переворачивали камни, хватали обезумевших склизких тварей и швыряли их в открытые жестянки, где копошились дюжины уже пойманных раков, так что жестянки делались похожими на ожившую мусорную корзину.

Сеси наблюдала за белесыми стеблями мальчишеских ног, которые балансировали над ее камнем, за тенями голых мальчишеских чресел на илистом песчаном дне, видела нависшую в напряженном ожидании руку, слышала выразительный шепоток мальчишки, углядевшего под камнем свой трофей. Затем, когда вслед за рывком руки камень переворачивался, Сеси, вильнув заимствованным веером населенного ею тела и взметнув за собой фонтанчик взрытого песка, исчезала вниз по течению.

Сеси перемещалась к другому камню и отдыхала там, развеивая вокруг песок, горделиво выставляя клешни, и ее крохотные, похожие на стеклянные лампочки, глазки отливали антрацитом, пока вода наполняла рот пузырьками — прохладными, прохладными, прохладными...

Осознание того, что Сеси может находиться от него так близко, в каком угодно живом существе — стоит только руку протянуть, приводило дядюшку Джона

в крайнее неистовство. Сеси ничего не стоит обретаться в любой белке или бурундуке, в болезнетворном микробе — да хоть на его собственном, мучительно ноющем теле. Ей и в амебу забраться — раз плюнуть...

Порой душный летний полдень Сеси проводила внутри амебы — то проворно шныряя по сторонам, то нерешительно зависая в глубинах старого изнуренного кухонного колодца, наполненного философически темной водой. В те дни, когда мир высоко над ней, над недвижимым водным слоем, являл собой сонное кошмарное пекло, оттиснутое на всех земных предметах, Сеси дремала вдалеке от него — в горловине колодца, будто сомнамбула, чуть колыхаемая прохладой. Там, наверху, деревья стояли изваяниями, объатыми зеленым пламенем. Всякая птица походила на бронзовый штампель, оттиснутый на твоём мозгу. Дома дымились испарениями, точно навозные хлева. Хлопки дверей походили на ружейные выстрелы. Отраду в кипевшем на медленном огне дневном мареве приносил один-единственный звук: астматическое посапывание колодезной воды, накачиваемой в фарфоровую чашку, чтобы оттуда втянуться через фарфоровые зубы внутрь высохшей, как скелет, старухи. Сверху до Сеси доносился слабый перестук старухиных башмаков, ноющий голос старухи, пропеченной августовским солнцем. Хладнокровно затаившись в самом низу, глядя наверх через неясный, отдающийся гулким эхом створ колодца, Сеси слышала железный свист ручки насоса, которую старуха энергично нажимала, обливаясь потом, и Сеси, вместе с водой, амебами и всем прочим влекомая к жерлу колодца, внезапно извергалась прохладой в чашку, над краями которой выжидали запекшиеся на солнце губы. Тогда — и только тогда, — когда губы вытягивались, готовясь к хлебку,

чашка поднималась и фарфор прижимался к фарфору, Сеси ускользала...

Джон споткнулся и плашмя хлопнулся в воду!

Подниматься не стал, а тупо сидел, глядя на стекавшую с него воду.

Потом с криком принялся крушить камни, хватая и упуская раков, не переставая сыпать проклятиями. Колокола у него в ушах гремели что было мочи. И вот теперь вереницей поплыли мимо него над водой тела, которые вообще не могли существовать, но тем не менее казались взаправдашними. Тела, белесые как черви, упавшие навзничь, тянулись и тянулись безвольными марионетками. Течение подбрасывало головы, лица поворачивались к нему — и в каждом проступали фамильные черты семейства Элиотов.

Дядюшка Джон заплакал, продолжая сидеть в воде. Он так нуждался в помощи Сеси, а на что ему рассчитывать теперь — чем ее заслужить, если он свалил дурака: изругал Сеси, возненавидел ее, угрожал ей и всему Семейству?

Он встал на ноги, отряхнулся. Выбрался из ручья и двинулся в гору. Теперь оставалось только одно. Обратиться к каждому из членов Семейства по отдельности. Умолять за него вступиться. Пусть попросят Сеси вернуться домой, сию же минуту.

В похоронном бюро на Корт-стрит распахнулась дверь. Владелец — невысокий, усатый, с круглой лысиной и тонкими чувствительными руками — поднял глаза. Лицо у него вытянулось.

— А, это вы, дядюшка Джон?

— Племянш Бион, — проговорил Джон, еще не обсохший. — Мне нужна твоя помощь. Ты не видел Сеси?

— Сеси? — переспросил Бион Элиот. Он облокотился на мраморный стол, на котором обрабатывал тело, и рассмеялся. — Господи, нашел о чем спрашивать! — фыркнул он. — Приглядишься-ка ко мне получше. Ты меня знаешь?

Джон ошетинился:

— Как не знать? Ты — конечно же, Бион Элиот, братец Сеси!

— Мимо! — Гробовщик покачал головой. — Я — кузен Ральф, мясник! Да-да, мясник. — Он постучал себя по голове. — Тут, внутри, где главное содержится, я Ральф. Еще минуточку тому назад я занимался холодильником у себя в магазине, как вдруг в меня внедрилась Сеси. Одолжила у меня сознание, будто чашку сахара. Только что перенесла меня сюда и всунула в тело Биона. Бедняга Бион! Ничего себе шуточка!

— Так ты... так ты — не Бион?

— Хо-хо, никак нет, дорогой дядюшка Джон. Сеси, надо думать, вставила Биона в мое тело! Улавливаешь, в чем тут соль? Мясника поменяли на мясника! Один мастер по разделке туш вместо другого, точно такого же! — Он зашелся от хохота. — Вот так Сеси, ну и проказница! — Он утер с лица довольные слезы. — Я тут простоял целых пять минут, недоумевая, за что взялся. И знаешь что? Похоронное дело не ахти какое мудреное. Ничуть не сложнее, чем нарубить куски для жаркого. Ух ты, как Бион взбесится. Лелеет профессиональную гордость. Сеси, наверное, попозже вернет нас на свои места. Бион страх как не любит, когда над ним подшучивают.

Джон выглядел растерянным.

— Даже и ты не можешь держать Сеси под контролем?

— Ни боже мой. Она делает все, что ей вздумается. Мы беспомощны.

Джон неверными шагами направился к двери.

— Так или иначе, нужно ее разыскать,— пробормотал он.— Если она способна вытворять такие штуки с тобой, подумать только, как бы она мне помогла, стоит ей только захотеть...

Колокола у него в ушах загудели еще громче. Уголком глаза он подметил какое-то движение. Он круто развернулся на месте, и челюсть у него отвалилась.

Из лежавшего на столе тела торчал кедровый кол.

— Пока! — бросил гробовщик вслед хлопнувшей двери.

Вдали затихал топот бегущих ног Джона.

Человек, ввалившийся в полицейский участок в пять часов пополудни, едва стоял на ногах. Говорил он еле слышно и боролся с тошнотой, словно проглотил яд. От дядюшки Джона осталась одна тень. Колокола гудели не утихая, непрерывно, а за спиной ему мерещились люди с торчавшими из груди кедровыми кольями, однако стоило ему обернуться, они пропадали бесследно.

Шериф оторвался от журнала, поднял голову, тыльной стороной ладони, похожей на клешню, вытер усы, спустил ноги с шаткого стола и выжидательно уставился на дядюшку Джона.

— Я хочу заявить об одной семье, она живет здесь,— прошептал дядюшка Джон, с трудом разлепив веки.— Семья нечестивцев — они совсем не те, кем прикидываются.

Шериф прочистил горло:

— Назовите фамилию.

Дядюшка Джон запнулся:

— Что?

— Какая у этой семьи фамилия? — повторил шериф.

— Ваш голос, — уронил Джон.

— Что с моим голосом? — поинтересовался шериф.

— Знакомый какой-то. Похож на...

— На чей?

— На голос матери Сеси! Точь-в-точь!

— Да неужто?

— Ага, вот кто в вас сидит! Сеси подменила вас точно так же, как подменила Ральфа и Биона! Выходит, заявить вам на Семейство у меня не получится? Пустой номер!

— Полагаю, именно так! — сурово подтвердил шериф.

— Семейство загнало меня в тупик! — взвыл дядюшка Джон.

— Похоже на то, — отозвался шериф, увлажнив языком карандаш, чтобы приступить к очередному кроссворду. — Ну, бывайте здоровы, Джон Элиот.

— Э-э?

— Говорю — бывайте здоровы.

— Бывайте здоровы. — Джон замер возле стола, прислушиваясь. — Вы слышите — слышите что-нибудь?

Шериф прислушался:

— Сверчки?

— Нет.

— Лягушки?

— Нет, — разозлился дядюшка Джон. — Колокола. Колокола — и ничего больше. Колокола святой церкви. Такому человеку, как я, слышать их невыносимо. Колокола святой церкви.

Шериф вслушался:

— Нет, точно — ничего не слышу. Эй, осторожнее с дверью — она хлопает.

Дверь в комнату Сеси распахнулась от пинка. Спустя мгновение внутрь ворвался дядюшка Джон, протопал по полу к кровати. Безмолвное тело Сеси лежало на ней недвижно. Едва Джон схватил Сеси за руку, за спиной у него выросла фигура матери.

Мать подскочила к нему и принялась колотить его по голове и по плечам, пока он не отступился от Сеси. Мир потонул в колокольном звоне. В глазах у Джона помутилось. Нашаривая мать растопыренными руками, он то кусал губы, то хватал воздух разинутым ртом, из глаз у него потоками лились слезы.

— Пожалуйста, ну пожалуйста, упрости ее вернуться, — молил он. — Простите меня. Я никому больше не желаю ничего плохого.

Выкрик матери перекрыл гудение колоколов:

— Отправляйся вниз и дожидайся ее там!

— Я тебя не слышу, — заорал дядюшка Джон изо всей мочи. — О, моя голова! — Он прижал ладони к ушам. — Какой гул! Какой гул — мне его не вынести. — Он покачнулся. — Если бы только знать, где Сеси сейчас...

Ни с того ни с сего он вытащил складной карманный нож, раскрыл его.

— Я больше не могу... — проговорил он, и не успела мать пошевелиться, как он рухнул на пол с ножом в сердце; с искусанных губ стекала кровь, башмаки бессмысленно торчали один поверх другого, один глаз закрылся, в другом — широко раскрытом — виднелся белок.

Мать наклонилась над дядюшкой Джоном.

— Мертв,— прошептала она, помолчав.— И так,— пробормотала она, не веря сама себе, выпрямилась и отступила от лужицы крови на полу.— И так, наконец-то он мертв.— Она боязливо огляделась и громко крикнула: — Сеси, Сеси, возвращайся домой, деточка, ты мне нужна!

Тишина: солнце постепенно покинуло комнату.

— Сеси, детка, возвращайся домой!

Губы мертвеца шевельнулись. С них слетел звонкий чистый голос:

— Я здесь! Я здесь уже не первый день! Я и есть тот самый страх, который в него вселился, а ему и невдомек было. Расскажи отцу о том, что я сделала. Может, теперь он поймет, что я на что-то гожусь...

Губы мертвеца застыли. Минутой позже тело Сеси на кровати туго напряглось, словно чулок, когда в него внезапно всовывают ногу; оно вновь стало обитаемым.

— Ужинать, мамочка? — проговорила Сеси, слезая с постели.

Крошка-убийца

*

Dime Mystery Magazine

Ноябрь 1946

Это я сам. Я родился наделенным памятью. И недавно выяснил, почему помню то, как рождался: меня вынашивали десять месяцев. И [рождение] стало шоком: неизбежно, что такой новорожденный проникается негодованием. Неизвестно, откуда взялась эта история. Но мой рассказ именно об этом. Младенец лишается прежней беззаботности. И его мать повинна в том, что вытолкнула его на свет. Нельзя больше существовать беспечно, ты выброшен наружу, выброшен в мир, ты теперь — сам по себе. Потому этот младенец и убивает всех подряд. Это из моего собственного опыта. Я — тот самый младенец. Я никого не убивал, но именно по этой причине я — писатель.

*

Когда именно у нее возникла мысль, что ее убивают, сказать она не могла. За минувший месяц появлялись мелкие, чуть ощутимые признаки, зарождались смутные подозрения, но они таились где-то глубоко внутри, подобно морским течениям: все это походило на то, как если бы ты смотрел на безмятежно спокойный лазурный простор, собираясь окунуться в воду, и вдруг оказывалось, едва только твое тело обнимет влага, что под невозмутимой поверхностью таятся не-

видимые чудища — раздутые, со множеством щупалец и колючих плавников, злобные и неотвратимые.

Комната пошла кругом, источая миазмы истерии. Над ней нависли остро заточенные инструменты, слышались голоса, наклонились люди в белых стерильных масках.

Мое имя, подумалось ей. Мое имя — как же меня зовут?

Элис Лейбер. Вспомнила. Жена Дэвида Лейбера. Но легче от этого не стало. Она была в одиночестве с этими едва слышно шепчущими людьми в белых масках, а изнутри ее терзали дикая боль, тошнота и страх смерти.

Меня убивают у них на глазах. Эти врачи, эти медсестры не понимают, что втайне со мной творится. И Дэвид не знает. Никто не знает, кроме меня и — этого душегуба, крошки-убийцы.

Я умираю, а отчего — сказать им не могу. Они меня высмеют: скажут — бред. Увидят моего убийцу, возьмут на руки, потетешкают: им и в голову не придет, что он повинен в моей смерти. Вот я, здесь — перед Богом и людьми, умираю, но никто моим словам не поверит, все усомнится, убаюкает меня ложью, похоронят в полном неведении, меня будут оплакивать, а моего убийцу спасут.

Где же Дэвид? Наверное, в приемной, курит сигарету за сигаретой, прислушивается к неспешному тиканью часов, до предела замедливших свой ход?

Все тело у нее — с головы до ног — покрылось внезапной испариной, из горла вырвался предсмертный крик. Ну же, ну! Давай, попробуй убей меня. Давай, давай — но я не хочу умирать! Не хочу!

И — пустота. Вакуум. Вдруг боль исчезла. Изнеможение. Чернота. Кончилось. Все кончилось. О госпо-

ди. Она стремительно понеслась вниз и наткнулась на черное ничто, и это черное ничто уступило место другому, другое — новому, все глубже и глубже...

Шаги. Осторожные — ближе, ближе. Шорохи людей, старающихся блюсти тишину.

Издалека донесся чей-то голос:

— Она спит. Не тревожьте ее.

Запахи твида, трубочного табака, знакомого лосьона. Она поняла, что Дэвид стоит рядом. А за ним — источающий стерильность доктор Джефферс.

Глаз она не открыла.

— Я не сплю, — тихо произнесла она.

Странно — но и какое облегчение: можно говорить, жизнь продолжается.

— Элис, — позвал кто-то.

За прикрытыми веками был Дэвид, обеими руками он держал ее усталую руку.

«Ты не прочь познакомиться с убийцей, Дэвид? — подумала она. — Ты ведь пришел сюда для того, чтобы на него взглянуть, разве нет? Я слышу, как ты спрашиваешь, где он: что ж, мне ничего не остается, как тебе его показать».

Дэвид наклонился к ней. Она открыла глаза. Расплывчатые контуры комнаты прояснились. Слабой рукой она откинула покрывало.

Убийца с красным личиком безмятежно смотрел на Дэвида. Его серьезные голубые глазки поблескивали.

— Ага! — заулыбавшись, воскликнул Дэвид Лейбер. — Малыш хоть куда!

В день, когда Дэвид Лейбер явился в больницу забрать домой жену с новорожденным, доктор Джефферс поджидал его у себя в кабинете. Доктор усадил

Дэвида в кресло, предложил сигару, зажег вторую для себя и, присев на край письменного стола, долго и сосредоточенно ее раскуривал. Потом прочистил горло и взглянул Дэвиду Лейберу прямо в глаза:

— Твоя жена невзлюбила своего ребенка, Дейв.

— Что?

— Он нелегко ей дался. Роды были непростые. Весь этот год она будет нуждаться в огромной любви и заботе. Я тогда не особенно распространялся, но в родильной палате с ней случилась форменная истерика. Наговорила уйму странных вещей, не стану их повторять. Скажу только, что ребенок кажется ей чужим. Возможно, это такой пустяк, что достаточно двух-трех простых вопросов — и все прояснится. — Доктор сосал сигару и спросил: — Это был желанный ребенок, Дейв?

— Почему вы спрашиваете?

— Это крайне важно.

— Да. Да, это был желанный ребенок. Мы его ждали. Ждали вместе. Элис была так счастлива год назад, когда...

— Ммм... это осложняет дело. Если ребенок не запланирован, то случай очевиден: женщине ненавистна сама идея материнства. К Элис это не относится. — Доктор Джефферс вынул сигару изо рта, потер рукой подбородок, надавил языком щеку изнутри. — Тут явно что-то другое. Быть может, глубоко спрятанное с детства, всплывающее теперь наружу. Или же обычный период временной растерянности и недоверия, свойственный всякой матери, которая претерпела непривычные муки и была близка к смерти, как Элис. Если так, то вскоре это пройдет. Но все же я счел нужным предупредить тебя, Дейв. Это тебе поможет относиться к ней мягко и терпеливо. Если она вдруг за-

говорит о том, что... ну, предположим... что ей хотелось, чтобы ребенок родился мертвым, постарайся это как-нибудь загладить — ладно, сынок? А если же дела не заладятся, зайдите ко мне все втроем. Я всегда рад повидать старых друзей, разве не так? Давай-ка выкурим еще по одной — в честь младенца.

Стоял яркий весенний день. Их автомобиль с тихим жужжанием пробирался по широким, окаймленным деревьями бульварам. Голубое небо, цветы, теплый ветерок. Дейв разговорился, зажег сигару и продолжал говорить без умолку. Элис отвечала односложно и сдержанно, но постепенно оживилась. Однако ребенка она держала кое-как, ни малейшего материнского тепла не выказывала — и при виде этого у Дейва болезненно свербило в мозгу. Элис, казалось, везла с собой всего-навсего фарфоровую статуэтку.

Напустив на себя веселость, Дейв спросил:

— А как мы его назовем?

Элис Лейбер, провожая взглядом медленно проплывающие мимо деревья, ответила:

— Давай пока никак. Лучше подождать, пока не подыщем какое-нибудь особенное имя. Не дыми ему в лицо.

Фразы она произносила монотонно, одну за другой, вне зависимости от смысла. В этой последней не прозвучало ни упрека, ни раздражения, ни материнской заботы. Она просто сказала то, что сказала.

Обеспокоенный Дейв кинул сигару за окошко:

— Извини.

Ребенок покоился на руках матери, по лицу его пробегали пятна светотени. Голубые глазенки были раскрыты, точно свежераспустившиеся бутоны весенних

цветов. Из крошечного розового подвижного ротика вылетало влажное погукиванье.

Элис мельком оглядела ребенка. Дейв почувствовал, как ее всю передернуло.

— Тебе холодно? — торопливо спросил он.

— Да, меня что-то в дрожь бросило. Закрой-ка лучше окошко, Дэвид.

Но это был не простой озноб. Дэвид задумчиво поднял стекло.

Ужинали.

Отсветы свечей выделявали причудливые пируэты по просторной, богато обставленной столовой. Оба испытывали знакомое приятное чувство от совместной трапезы, охотно и с удовольствием передавая друг другу соль, делясь последней печенюшкой или обмениваясь впечатлениями о блюдах.

Дэвид Лейбер принес ребенка из детской и усадил его, озадаченного позой, обложив со всех сторон подушками, на недавно купленном высоком стульчике.

— Он еще мал для такого сидения, — заметила Элис, сосредоточенно работая ножом и вилкой.

— Весело, однако, наблюдать, как он там сидит, — радостно откликнулся Лейбер. — Вообще веселья хоть отбавляй. У меня в офисе, например. Завалили заказами. Если не оплошаю, то к концу года отхвачу еще пятнадцать тысяч. А ну, погляди-ка на нашего мальчика! Всего себя обслюнявил!

Он потянулся к ребенку — обтереть ему подбородок салфеткой. Уголком глаза он заметил, что Элис даже и не взглянула в ту сторону. Он тщательно промокнул подбородок ребенка.

— Понимаю, это не очень интересно, — проговорил он, снова усаживаясь на свое место. Он не мог по-

бороть легкого раздражения, сколько ни старался себя переубедить. — Но мать, кажется, могла бы проявить к собственному ребенку больше внимания, разве нет?

Элис резко вскинула голову:

— Не говори со мной таким тоном! По крайней мере, перед ним. Попозже, если уж тебе нейдет.

— Попозже? — вскричал Дэвид. — Перед ним, позади него — какая разница? — Он тотчас же умолк, пристыженный, судорожно сглотнул слюну. — Ладно. Хорошо. Ничего страшного.

После ужина Элис позволила Дэвиду отнести ребенка наверх. Не попросила — именно *позволила*.

Вернувшись, Дэвид застал ее у радиоприемника: звучала музыка, которую она не слушала. Глаза Элис были закрыты: она словно недоуменно спрашивала о чем-то у себя самой. И вздрогнула, когда Дэвид к ней приблизился.

Внезапно она бросилась к нему, порывисто и нежно прижалась: она вновь стала прежней Элис. Ничуть не переменялась. Губами нашла его губы, припала к ним. Дэвид был ошеломлен. У него вырвался невольный смешок, он расхохотался. Что-то в груди у него смягчилось и растаяло — все страхи улетучились, как исчезают с приходом весны зимние тревоги. Сейчас, когда младенца унесли наверх, без него, Элис вздохнула полной грудью, ожила. Стала свободной. И это само по себе насторожило Дэвида, но он отмахнулся от мелькнувших опасений, упиваясь ее объятиями. Элис, ни на миг не умолкая, торопливо шептала ему на ухо:

— Спасибо, спасибо тебе, дорогой. За то, что ты всегда остаешься собой. Ты, ты, только ты — и не надо никого больше! Только на тебя можно положиться!

Дэвид не сдержал усмешки:

— Отец мне наказывал: ты, сынок, должен позаботиться, чтобы твоя семья ни в чем не нуждалась!

Элис утомленно приникла темными блестящими волосами к его плечу:

— Ты переусердствовал. Иногда мне хочется, чтобы все у нас было так, как в первое время после свадьбы. Никаких обязанностей — мы были заняты только собой. И никаких — никаких детей.

Элис судорожно схватила Дэвида за руку, ее бледное лицо странно вспыхнуло, по нему разлилась краска. Казалось, ей не терпится многое высказать, но слов недостает, и потому она произнесла первое, что пришло в голову:

— Вмешался третий. Раньше были только ты и я. Мы оберегали друг друга, а теперь оберегаем ребенка, а от него ждать этого не приходится. Понимаешь? В больнице у меня была уйма времени для того, чтобы как следует поразмыслить. Мир полон зла...

— Разве?

— Да. Именно так. Но нас защищает закон. А если где-то закон не действует, защиту берет на себя любовь. Я не могу тебе навредить: ты защищен моей любовью. Ты для меня уязвимей всех прочих, но любовь прикрывает тебя щитом. Ты не внушаешь мне страха, потому что любовь ставит преграду всем твоим проявлениям незрелости — гневу, враждебности, жестоким выходкам. Ну а ребенок? Он слишком мал — и ничего не знает ни о любви, ни о ее законах, вообще ни о чем. Пока мы его не научим.

— Мы и научим.

— А до тех пор — останемся уязвимы?

— Уязвимы? Перед кем — перед младенцем? — Дэвид слегка отстранил Элис от себя и от души рассмеялся.

— Разве младенцу известно, что правильно, а что нет? — спросила Элис.

— И что из того? Узнает.

— Но ведь младенец только-только явился на свет: как ему разобраться, что хорошо, что плохо — о совести он и понятия не имеет, — заспорила Элис, но тут же осеклась. Она оторвалась от Дэвида и резко повернулась: — Что там такое — какой-то шум?

Лейбер огляделся:

— Я ничего не слышал...

Элис впилась глазами в дверь библиотеки.

— Там, — выговорила она еле слышно.

Лейбер пересек комнату, распахнул дверь библиотеки, включил там свет и снова выключил.

— Пусто. — Он подошел к Элис: — Ты устала. Давай-ка ляжем в постельку, прямо сейчас.

Повернув выключатель, оба не спеша и молча поднялись по безмолвным ступенькам наверх. На площадке Элис извиняющимся тоном сказала:

— Прости, дорогой, я невесть что наговорила. Я и вправду вся вымоталась.

Дэвид охотно ей поддакнул.

Перед дверью детской Элис помедлила в нерешительности. Потом дернула за ручку, вошла. Дэвид следил, как она на цыпочках приблизилась к кровати, заглянула в нее — и вмиг одеревенела, будто ее хлестнули по лицу:

— Дэвид!

Лейбер шагнул к Элис, заглянул в кровать.

Пунцовое лицо ребенка покрывала испарина. Розовый ротик беспрерывно кривился. Ярко-голубые глаза таращились, словно на них давили изнутри. Красными ручонками он мотал в воздухе перед собой.

— Ого! Да он, видать, заходился от плача,— проговорил Дэвид.

— Да неужто? — Элис Лейбер ухватила за перила кровати, чтобы выпрямиться.— Я не слышала, чтобы он плакал.

— Дверь была закрыта.

— И потому он так запыхался и раскраснелся?

— Ну да. Вот бедняжка. Плакал и плакал — один, в темноте. Давай сегодня положим его у нас в спальне — вдруг он снова разревется.

— Ты его испортишь,— заметила Элис.

Лейбер чувствовал на себе ее взгляд, пока катил кроватку в спальню. Он молча разделся и сел на край постели. Вдруг он вскинул голову, шелкнул пальцами и тихонько ругнулся:

— Черт. Совсем забыл тебе сказать. В пятницу мне нужно лететь в Чикаго.

— Ох, Дэвид! — растерянno, будто маленькая девочка, выдохнула Элис.— Так скоро?

— Я откладывал эту поездку целых два месяца, а теперь уж никуда не денешься — хочешь не хочешь, а придется.

— Мне страшно оставаться одной.

— К пятнице найдем новую кухарку. Она будет при тебе неотлучно. Тебе достаточно будет только ее окликнуть. Я надолго не задержусь.

— Но мне страшно. Не знаю отчего. Ты мне не поверишь, но мне кажется, я психопатка.

Дэвид забрался в постель. Элис погасила свет; он слышал, как она обошла вокруг кровати, откинула твердую от крахмала простыню и скользнула под нее. Дэвид вдыхал теплый запах, исходивший от женщины рядом с ним.

— Если хочешь, я могу несколько дней подождать — наверное, это удастся...— сказал он.

— Нет, не надо, — неуверенно протянула Элис. — Поезжай — это важно, я понимаю. Просто у меня в голове вертится то, о чем я с тобой толковала. Законы, любовь, защита. Любовь защищает тебя от меня. Но вот ребенок... — Она перевела дух. — Что защищает тебя от него, Дэвид?

Прежде чем он успел ответить и объяснить, насколько глупо говорить так о младенцах, Элис внезапно зажгла ночник.

— Взгляни! — ткнула она пальцем.

Ребенок в кроватке не спал — и в упор глядел на Дэвида серьезными голубыми глазками. Веки у него сомкнулись.

Свет снова был потушен. Элис, дрожа, прижалась к Дэвиду:

— Это нехорошо — бояться того, кто рожден тобой. — Она понизила голос до шепота — горячего, сумбурного, исступленного. — Он пытался меня убить! Лежа там, он подслушивает наши разговоры и ждет твоего отъезда, чтобы повторить попытку! Клянусь, это чистая правда!

Элис разразилась рыданиями; Дэвид ее обнимал, но они не утихали.

— Успокойся, — повторял он, глядя ее по волосам. — Ну хватит, хватит. Успокойся.

Элис долго еще плакала в темноте. Было уже очень поздно, когда она замолкла и, не переставая дрожать, тесно прижалась к мужу. Ее учащенное жаркое дыхание выровнялось, но, прежде чем она уснула, по ее телу еще несколько раз пробежала застарелая судорога.

Задремал и Дэвид.

Но перед тем как глаза у него окончательно сомкнулись и сонные волны накрыли его с головой, до его слуха из дальнего угла комнаты донеслось странное, еле различимое чмокание.

Чмокание влажных, розовых, подвижных губок.

Младенец.

И тут же он провалился в сон.

Утро выдалось ослепительное. Элис улыбалась.

Дэвид раскачивал свои часы над кроваткой:

— Видишь, малыш? Блестящее. Красивое. Ну-ка. Ну-ка. Блестящее. Красивое.

Элис улыбалась. Она велела ему спокойно лететь в Чикаго: она будет держаться молодцом, беспокоиться не о чем. О малютке она позаботится. Да-да, позаботится, все будет хорошо. Последние слова Элис произнесла с особенным нажимом, но Дэвид Лейбер значения этому не придавал.

Самолет взял курс на восток. Необъятное небо, море солнца, скопища облаков — и вот на горизонте возник Чикаго. Лейбер с головой окунулся в деловую суматоху: надо было размещать заказы, разрабатывать планы, участвовать в банкетах, обходить знакомых, звонить по телефону, выступать на конференциях, в перерывах торопливо глотать обжигающий кофе. Однако он каждый день посылал Элис и малышу письма и телеграммы — писал коротко, четко, сердечно.

На шестой день, вечером, раздался длинный междугородный звонок. Лос-Анджелес.

— Элис?

— Нет, Дейв. Это Джефферс.

— Доктор?

— Соберись с духом, сынок. Элис больна. Вылетай-ка домой — ближайшим рейсом. У нее пневмония.

Чем смогу, дружище, тем помогу. Вот если бы побольше времени прошло после родов. Она очень слаба.

Лейбер опустил трубку на рычаг. Выпрямился: ноги у него сделались как ватные, руки отнялись, тело стало чужим. Гостиничный номер поплыл перед глазами и распался на куски.

— Элис, — тупо пробормотал он, шагнув к выходу.

Самолет летел на запад, впереди показалась Калифорния. Волнообразное металлическое кружение пропеллеров внезапно сменилось подрагивающим кадром: Элис лежит в постели, доктор Джефферс стоит у залитого солнцем окна, а сам Лейбер, постепенно осознавая себя реально существующим, медленно переставляет ноги по направлению к кровати, и тогда наконец все подробности воссоединяются в цельную и завершенную картину действительности.

Все трое молчали. По лицу Элис скользнула слабая улыбка. Джефферс заговорил, но до Дэвида из его речи доходило немного:

— Твоя жена — слишком хорошая мать, сынок. Она куда больше заботилась о ребенке, чем о себе...

Жилка на щеке у Элис перестала пульсировать.

Она вступила в разговор. Повела рассказ, какой от матери и ждешь. Или не такой? Не слышались ли в ее голосе нотки гнева, страха, отвращения? Доктор Джефферс их не уловил, да и не старался.

— Ребенок никак не желал спать, — жаловалась Элис. — Я подумала, что ему нездоровится. Лежал себе в кроватке, уставившись в потолок. А поздно ночью принимался плакать. Из всей мочи. Плакал ночами напролет — до самого утра. Я никак не могла его утихомирить — и самой было не до сна.

Доктор Джефферс кивнул:

— Утомление привело к пневмонии. Но мы начинили ее сульфамидами, и теперь она пойдет на поправку.

У Лейбера защемило в груди:

— А как ребенок, что с ним?

— Да что ему сделается? Здоровей некуда.

— Спасибо, доктор.

Доктор попрощался, сошел с лестницы, с усилием открыл входную дверь и шагнул за порог. Лейбер прислушался к его удалявшимся шагам.

— Дэвид!

Шепот Элис заставил Дэвида обернуться.

— Это все опять он, ребенок. Я стараюсь себя обмануть — внушить себе, что я идиотка. Но ребенок знал, что я еще не окрепла после больницы. И потому плакал всю ночь. А если не плакал, то замирал *совсем неслышно*. Когда я зажигала свет, он смотрел на меня в упор.

Лейбер внутренне содрогнулся. Ему самому вспомнился взгляд младенца, устремленный на него в темноте. Всем малюткам в такой поздний час положено спать — а этот бодрствовал. Дэвид постарался отогнать от себя эти мысли: так и рехнуться недолго.

Элис продолжала:

— Я хотела его убить. Да, убить. Еще и часа не прошло после твоего отъезда, как я поднялась в детскую, схватила его за горло — и стояла так долго-долго в нерешительности, дрожа от страха. Потом накрыла его одеяльцем, перевернула лицом вниз, вдавила в подушку — и так бросила, а сама убежала.

Дэвид попытался ее остановить.

— Нет, дай мне закончить, — хрипло проговорила Элис, не отрывая глаз от стены. — Когда я выбе-

жала из детской, мне казалось — ничего нет проще. Дети, бывает, задыхаются — что ни день. Никто ни о чем никогда не узнает. Но когда я вернулась — убедиться, что он мертв, — Дэвид, он был жив! Да-да, живехонек — лежал на спинке, дышал и рот у него был до ушей! После этого я уже не смела до него дотронуться. Оставила его в кровати как есть и больше не возвращалась — перестала кормить, ухаживать за ним, нянчить. Наверное, кухарка взяла на себя все заботы — не знаю. Знаю только, что своим криком он не давал мне спать: всю ночь, до самого утра я не могла ни о чем другом думать, расхаживала по комнате из угла в угол — и вот теперь слегла. — Элис торопилась закончить: — А он лежит там и придумывает способ, как меня убить. Способ попроще. Потому как знает, что я слишком многое о нем знаю. Я его совсем не люблю, а между нами нет никакой защиты — и уже никогда не будет.

Элис выговорилась. Она бессильно откинулась на подушку и вскоре заснула. Дэвид долго стоял над ней, не в состоянии шевельнуться. Мозг отказывался служить — парализованный до последней клеточки.

Наутро Дэвиду оставалось только одно. Он так и поступил: явился в кабинет к доктору Джефферсу и рассказал обо всем. Джефферс отозвался сдержанно:

— Давай не будем спешить, сынок. Порой случается, что матери проникаются к новорожденным ненавистью, и это вполне естественно. Мы называем это амбивалентностью — двойным подходом. Когда ненавидят, не переставая любить. Нередко ненавидят друг друга любовники. Дети не выносят матерей...

— Я никогда не питал ненависти к своей матери, — прервал доктора Лейбер.

— Разумеется, ты в этом не сознаешься. Кто способен на подобные признания?

— Но Элис ненавидит младенца в открытую.

— Точнее всего сказать, что ею овладела навязчивая идея. Она зашла чуть дальше обычного, заурядного состояния двойственности. Ребенок явился на свет благодаря кесареву сечению, и оно же чуть не отравило Элис на тот. Она винит ребенка за муки и за пневмонию. Она проецирует свои неприятности на посторонние объекты и сваливает всю вину за них на первый попавшийся под руку. Да все мы так поступаем. Споткнемся о стул — и проклинаям мебель, а не собственную неловкость. Промажем, играя в гольф, — и браним то неровный дерн, то клюшку, то качество мяча. Прогорит наш бизнес — виним небесные силы, погоду, собственное невезение. Могу только повторить то, что говорил тебе раньше. Люби жену. Лучшее в мире лекарство. Найди разные тонкие способы продемонстрировать свои чувства, сумей заверить, что она за тобой — как за каменной стеной. Помоги ей осознать, что ее ребенок — невинное, беззлобное существо. Дай ей убедиться, что ради ребенка стоило подвергать себя риску. Мало-помалу Элис успокоится, забудет о смерти и привяжется к ребенку. Если за месяц-другой она не войдет в норму, обратись ко мне — и я подыщу хорошего психиатра. А теперь ступай — и стони с лица эту унылую мину.

С наступлением лета все как будто устроилось, и дела пошли на лад. Лейбер работал, с головой погрузился в офисную рутину, но ни на минуту не забывал о жене. Элис же подолгу гуляла, набиралась сил, иногда играла в бадминтон. Эмоции у нее прорыва-

лись нечасто. Казалось, от всех прежних страхов она избавилась окончательно.

Но вот однажды в полночь на дом внезапно налетел летний ураган: порывы теплого ветра сотрясали деревья, точно это было множество блестящих бубенцов. Элис пробудилась и, дрожа с головы до пят, скользнула в объятия мужа; тот, утешая ее, принялся выпрашивать, что такое с ней приключилось.

— За нами в спальне кто-то следит, — кое-как выговорила она.

Дэвид включил свет.

— Тебе опять что-то мерещится. Но ты, однако, держись теперь молодцом. Тебе уже лучше — давно ничего не пугалась.

Когда свет снова был погашен, Элис вздохнула и через минуту уже спала. Дэвид чуть ли не полчаса не выпускал ее из рук, предаваясь размышлениям о ее дивном и причудливом характере.

Дверь спальни, он услышал, слегка приотворилась.

За порогом — никого. С чего бы ей открыться? Ветер стих.

Дэвид ждал. Ждал целый час, лежа в темноте, не шевелясь.

Далеко-далеко раздался тонкий писк, с каким метеор гаснет в чернильной космической бездне: это в детской расплакался малыш.

Сверкали ночные звезды, ветер снова начал прокрадываться меж деревьев, на руках у Дэвида ровно дышала спящая женщина — и в сердцевине всего этого таился одинокий тихий плач.

Лейбер сосчитал до пятидесяти. Плач не смолкал.

Наконец, осторожно высвободившись из объятий спящей Элис, Дэвид встал с постели, сунул ноги в

шлепанцы, накинул халат и на цыпочках выбрался из спальни.

Спускаюсь вниз, думал он устало, вскипячу немного молока, возьму его с собой и...

Темнота выскользнула из-под него невесть куда. Нога поехала в сторону. Он поскользнулся на чем-то мягком. Нога провалилась в пустоту.

Дэвид судорожно выбросил руки вперед, что есть силы вцепился в перила лестницы. Еле-еле удержал равновесие. Качнулся на месте. Не удержался от крепкого слова.

То мягкое, на чем он поскользнулся, отлетело прочь и с глухим стуком упало несколькими ступенями ниже. В голове у Дэвида гудело. Сердце колотилось в гортани — разбухшее, простреленное болью.

Какого дьявола и кто раскидывает вещи по дому где попало? Он пошарил вокруг себя и едва не скатился кубарем вниз по лестнице.

Рука замерла. Дыхание перехватило от изумления. Сердце застучало учащеннее, с перебоями.

В руке он сжимал игрушку. Нескладную громоздкую куклу из лоскутков, которую ради забавы он купил для...

Для ребенка.

На следующий день Элис сама повезла Дэвида на работу.

На полпути к центру города она снизила скорость, притормозила у обочины и выключила мотор. Потом обернулась к мужу:

— Мне нужно поехать куда-нибудь отдохнуть. Не знаю, можешь ли ты сейчас со мной отправиться, дорогой, но если нет — пожалуйста, позволь мне уехать одной. Наверняка удастся нанять кого-то для ухода

за ребенком, я уверена. Но мне просто необходимо уехать. Я думала, что сумею преодолеть в себе это чувство. Но не сумела. Я не в силах оставаться в комнате наедине с младенцем. Он так на меня глядит, словно тоже меня ненавидит. Не могу в точности это определить — понимаю только одно: мне нужно уехать, пока ничего такого не стряслось.

Дэвид вышел из машины, открыл переднюю дверцу, жестом попросил Элис подвинуться и сел рядом:

— Единственное, что тебе нужно сделать, — это показаться хорошему психиатру. Если он посоветует переменить обстановку — что ж, отлично. Но так продолжаться дальше не может: я уже весь извелся. — Он включил мотор. — Я поведу машину сам.

Голова у Элис поникла, она едва сдерживала слезы. Она подняла глаза только у здания офиса:

— Ладно. Договорись о консультации. Я готова посоветоваться с тем, с кем ты скажешь, Дэвид.

Дэвид поцеловал жену:

— Ну вот, жenuшка, это другой разговор. Добе-решься до дома сама?

— Конечно же, дурачок.

— Тогда до ужина. Будь осторожнее за рулем.

— А разве я лихачка? Пока.

Дэвид постоял на тротуаре, провожая машину взглядом. Ветер трепал длинные темные, с блестящим отливом волосы Элис. Поднявшись наверх, он сразу позвонил Джефферсу и договорился о консультации с опытным психоневрологом. Раз так — то так.

Дневная работа не заладилась. Все валилось из рук, и перед глазами у Дэвида, куда бы он ни посмотрел, постоянно маячила Элис. Ему как будто передались ее страхи. Похоже, она и вправду его убедила, что с их крошкой не все в норме.

Дэвид продиктовал несколько длинных нудных писем. Проследил на нижнем этаже за отправкой товара. Помощников надо было постоянно запрашивать и держать под контролем. К концу дня он совсем измотался, и все ему надоело. В голове пульсировало. Как никогда тянуло поскорее домой.

Спускаясь вниз в лифте, Дэвид раздумывал: что, если рассказать Элис о той самой игрушке — тряпичной кукле, о которую он споткнулся прошлой ночью? Бог мой, да она забьется в истерике! Нет, и словом нельзя обмолвиться. В конце концов, это всего лишь простая случайность.

Когда он подъехал к своему дому в Брентвуде на такси, еще не стемнело. Он расплатился с водителем и медленно побрел по бетонной дорожке, радуясь вечерним лучам, освещавшим верхушки деревьев. С фасада дом — белый, выстроенный в колониальном стиле, — выглядел до странности безмолвным и необитаемым, но Дэвид, успокоившись, вспомнил, что сегодня четверг и приходящая прислуга, которую они могли время от времени нанимать, разошлась по домам. У кухарки сегодня тоже был выходной: значит, о еде им с Элис придется самим позаботиться — или же перекусить где-нибудь на Стрипе.

Дэвид сделал глубокий вдох. За домом насвистывала птица. Через квартал от дома по бульвару двигался поток транспорта. Он повернул ключ в замочной скважине. Хорошо смазанная ручка бесшумно повиновалась его руке.

Дверь распахнулась. Дэвид вошел в дом, положил на стул портфель и шляпу и, высвобождаясь из пальто, бросил взгляд наверх.

Из мансардного окна на лестницу струились полосы закатного света. Лучи переливались разноцвет-

ными оттенками, падая на тряпичную куклу, валявшуюся в гротескно вывернутой позе на нижней ступеньке лестницы.

Но на куклу Дэвид не смотрел, словно и не замечал.

Он не отрываясь смотрел и смотрел, не в силах отвести глаза, на Элис.

Худенькое тело Элис лежало, неестественно скрючившись в беспомощном зове. Лежало у основания лестницы, напоминая истасканную куклу, не желающую больше принимать участия в игре.

Элис была мертва.

В доме стояла нерушимая тишина, стучало только его сердце.

Элис была мертва.

Дэвид стиснул руками ее лицо, подышал на пальцы. Обнял за талию. Элис не оживала. Даже не пыталась подать признаки жизни. Дэвид вслух твердил ее имя, повторяя множество раз, снова и снова прижимал ее к себе в надежде вернуть ей хоть частичку утраченного тепла, но все было тщетно.

Дэвид выпрямился. Нужно позвонить. А он забыл об этом. Неожиданно для себя он обнаружил, что оказался наверху. Он открыл дверь в детскую, шагнул внутрь и тупо уставился на кроватку. Его поташнивало. Перед глазами плавала какая-то муть.

Глаза у ребенка были закрыты, однако лицо покраснелось и было покрыто испариной, будто он долго и надрывно плакал.

— Она умерла,— сказал Лейбер ребенку.— Она умерла.

Тут он захохотал и не переставал тихо и неудержимо хохотать до тех пор, пока из ночного мрака не вы-

ступила фигура доктора Джефферса, который принялся деловито бить его по щекам.

— Возьми себя в руки, сынок! Соберись с духом!

— Она упала с лестницы, доктор. Споткнулась о тряпичную куклу и потеряла равновесие. Я сам прошлой ночью едва не сверзился вниз головой. И вот...

Доктор потряс Дэвида за плечи.

— Да-да, доктор, да,— невнятно бормотал Лейбер.— Занятная штука. Очень занятная. Я... я придумал наконец имя для ребеночка.

Доктор молчал.

Лейбер обхватил голову трясущимися руками и проговорил:

— Собираюсь в ближайшее воскресенье его окрестить. И знаете, что за имечко я ему подобрал? Назову его — назову *Люцифером!*

Было уже одиннадцать часов вечера. В доме побывала целая толпа незнакомых людей: они пришли и ушли, забрав с собой главное сокровище — Элис.

Дэвид Лейбер уединился с доктором в библиотеке.

— Элис не сошла с ума,— медленно выдавил он из себя.— У нее были серьезные основания бояться ребенка.

Джефферс шумно выдохнул воздух:

— Ты следуешь ее примеру. Она обвиняла ребенка в своей болезни, теперь ты винишь ребенка в ее смерти. Она споткнулась об *игрушку*, пойми ты это. При чем тут младенец?

— Ты говоришь о Люцифере?

— Брось его так называть!

Лейбер покачал головой:

— Элис слышала по ночам шорохи. По коридорам кто-то бродил. Словно за нами шпионили. Вы,

доктор, не прочь узнать, кто там шебаршился? Я вам скажу. Младенец! Да-да, мой сынишка! Четырех месяцев от роду — и уже крался ночью в темноте, подслушивая наши разговоры. Ни словечка не пропускал! — Дэвид ухватился за ручки кресел. — А если я зажигал свет — ну так что ж, кроха она и есть кроха. Ему ничего не стоило схорониться за шкафом, за дверью, вжаться в стену — взрослому и не по глазам.

— Хватит болтать! — оборвал его Джефферс.

— Нет, дайте мне до конца выговориться, а не то я свихнусь. Когда я отбыл в Чикаго, кто не давал Элис спать, изводил ее так, что у нее от изнеможения началась пневмония? Дитя! А когда совсем уморить ее не удалось, он попытался убить меня. Проще некуда: достаточно оставить на ступеньках куклу, а потом орать ночью до тех пор, пока папаша не вскочит, не в силах больше выносить твой рев, и не потащится вниз за теплым молочком — и вот тут-то и свернет себе шею. Трюк примитивный, но действенный. Я на него не попался. Зато с Элис он сработал безотказно. — Дэвид Лейбер долго копался, прикуривая сигарету. — Мне надо было сообразить, что к чему. Ведь я не раз включал свет далеко за полночь, а ребеночек лежит себе и как ни в чем не бывало таращит глазенки. Младенцы, как правило, спят до утра без просыпу. Но *этот* не из таковых. Он всю ночь бодрствовал — и размышлял.

— Младенцы ни о чем не размышляют, — вставил Джефферс.

— Однако он бодрствовал — и не важно, как он там раскидывал мозгами или нет. Что нам известно об умственных способностях младенцев? У него были причины ненавидеть Элис: она заподозрила, кто он такой — явно не совсем обычный ребенок. Какой-то...

совсем другой. Что вообще известно о младенцах, доктор? Только в самых общих чертах. Известно, конечно, о том, как младенцы убивают матерей при рождении. Почему? Не потому ли, что мстят за насильственное выталкивание в такой непотребный мир, как наш! — Лейбер с усталым видом наклонился к доктору. — Все сходится. Предположим, что некоторые из миллионов новорожденных с самого начала способны двигаться, видеть, слышать и соображать — как многие животные и насекомые. Насекомые с момента рождения вполне самостоятельны. Большинство птиц и млекопитающих приспособляются к жизни за несколько дней. А человеческим отпрыскам требуется не один год, чтобы научиться говорить и ковылять на непослушных ногах. Но допустим, что один ребенок из миллиона родился особенным? С первого мгновения сознавая собственное «я» и волей инстинкта умея думать. Не это ли идеальное орудие для его замыслов? Он может притвориться самым что ни на есть обыкновенным, беспомощным, ничего не понимающим, кричащим о помощи. Тратя только капельку энергии, он может ползать в ночной темноте по дому и прислушиваться. Подкинуть помеху на пути где-нибудь на лестничной площадке — чего уж проще! Чего уж проще всю ночь не закрывать рот и довести мать до пневмонии. А самое простое — во время родов, когда ты еще одно с матерью, *парочкой ловких маневров вызвать у нее перитонит!*

— Господи боже! — Джефферс вскочил на ноги. — Какую чудовищную чушь ты несешь!

— Вот я и говорю, насколько все это чудовищно. Сколько матерей умерло при родах? Сколько их, что вскормили грудью странных немислимых крох, так или иначе причиняющих гибель? Красные непонят-

ные существа — чем заняты их мозги в алой тьме, нам сроду не догадаться. Примитивные умишки с родовой памятью, пропитанные ненавистью и слепой жестокостью, занятые единственной мыслью о самосохранении. А самосохранение в данном случае равнозначно устранению матери, осознавшей, какой ужас она породила. Ответьте мне, доктор, есть ли на свете что-нибудь эгоистичнее младенца? Нет! Младенец — это замкнутая на себе, скрытная, себялюбивая тварь, ничто другое ему и в подметки не годится!

Джефферс нахмурился, беспомощно пожал плечами, покачал головой.

Лейбер выронил из рук сигарету, не заметив этого:

— Я не утверждаю, что ребенок обладает громадной силой. Достаточно научиться кое-как ползать, опередив на несколько месяцев нормальный срок развития. Достаточно на всю ночь наострить уши. Достаточно зайтись плачем в поздний час. Этого вполне достаточно — даже более чем.

Джефферс попытался поднять эту теорию на смех:

— Хорошо, назовем это убийством. Однако для убийства должен существовать определенный мотив. Скажи, каким мотивом руководствуется ребенок?

С ответом Лейбер не замешкался:

— Кому на свете живется блаженней, счастливей, сытней, удобней и безмятежней, чем эмбриону во чреве матери? Никому. Он плавает в дремотном непроглядном мраке чудесного безмолвного безвременья — согретым и сытым. Внутри ничем не нарушаемого сна. И вдруг, ни с того ни с сего, его заставляют покинуть привычный уют, насильно выталкивают в шумный, равнодушный, занятый своими делами, тревожный и безжалостный мир, где требуется как-то изворачиваться самому, добывать себе пропитание и добывать-

ся улетучивающейся любви, которая когда-то принадлежала ему по праву, окунуться в жизненную сумятицу вместо бывлой глубокой тишины, оберегавшей его сладкий сон! И новорожденный исполнен негодования! Негодование переполняет все мелкие нежные клеточки его крохотного тельца. Он негодует на холодный воздух, на громадное пространство вокруг, на внезапное изъятие из привычной среды. В микроскопических волокнах его мозга пульсируют только себялюбие и ненависть из-за того, что прежний мирок рухнул безвозвратно. Кто же повинен в постигшем его разочаровании, кто грубо разрушил волшебные чары? Мать. И вот новорожденный находит объект для ненависти — ненависти, переполняющей весь состав его миниатюрного сознания. Мать исторгла его из утробы и отвергла. А чем лучше отец? Его тоже надо прикончить! Он тоже виноват — по-своему!

— Если ты прав, — перебил Дэвида Джефферс, — тогда каждая женщина должна видеть в своем ребенке источник опасности: к нему надо постоянно присматриваться и всячески остерегаться.

— А почему бы нет? Ведь у ребенка безупречное алиби. Он защищен тысячелетиями общепризнанной врачебной проповеди. Судя по всем природным данным, он беспомощен и ни за что не несет ни малейшей ответственности. Но ребенок с рождения заражен ненавистью. И чем дальше — тем хуже, надеяться на лучшее не приходится. Поначалу ребенок не обделен ни материнской заботой, ни лаской. Но время идет — ситуация меняется. Младенец — пока он внове — обладает настоящим могуществом. Властью заставить родителей делать разные глупости, стоит ему чихнуть или захныкать; чуть он шевельнется — они вскакивают и бегут к нему со всех ног. Но годы проходят —

и дитя чувствует, как эта его маленькая, но все-таки власть стремительно от него ускользает, навсегда и безвозвратно. Так почему бы не уцепиться за ее остатки, почему бы хитрыми маневрами не отстоять свое положение, пока еще все карты у него на руках? В дальнейшем выражать свою ненависть будет уже слишком поздно. Именно сейчас самый подходящий момент для того, чтобы нанести удар. Со временем ребенок, подрастая и скрытно приходя в разум все больше и больше, усвоит немало нового — как занять место в обществе, как делать деньги, как обеспечить себе уверенность в будущем. Ребенок поймет, что обладание капиталом в конце концов гарантирует ему созданное собственными руками мирное лоно, где в уединении можно наслаждаться теплым уютом и комфортом. Далее следует естественный вывод: устранение отца наверняка принесет выгоду, поскольку по страховому полису жене и ребенку выплатят двадцать тысяч долларов. Опять-таки, должен оговориться: малолетнему несмышленишу подобные соображения в голову вряд ли втемяшатся. О деньгах он пока понятия не имеет. А вот ненависть в нем так и кипит. Финансовую сторону он разглядит только потом, не сейчас. Однако жажда денег станет производным от того же самого желания — желания вернуть себе хорошо устроенный уютный уголок, где бы его никто не трогал. — Лейбер понизил голос до еле различимого шепота. — Вот он — мой малыш: полеживает себе в кроватке всю ночь, а личико у него покраснелось, влажное от испарины, и дышит он так, будто запыхался. От рева? Как бы не так. От того, что он вконец замаялся: ведь так непросто, так адски непросто и так мучительно, преодолевая сантиметр за сантиметром, выбраться из

кроватки и проползти нескончаемо длинный путь по темным коридорам. Мой малыш... Я должен его убить.

Доктор протянул Дэвиду стакан с водой, достал таблетки:

— Никого ты не убьешь. Тебе нужно выспаться, вот что. Проспишь сутки — и посмотришь на вещи иначе. Прими вот это.

Лейбер проглотил таблетки и расплакался, однако послушно согласился подняться с доктором в спальню и дал уложить себя в постель.

Доктор пожелал Дэвиду спокойной ночи и ушел.

Лейбер, в одиночестве, медленно погружался в дремоту.

Послышался шорох.

«Что это — что там такое?» — смутно пронеслось у него в голове.

По коридору что-то передвигалось.

Дэвид Лейбер спал.

Утром доктор Джефферс подъехал к дому Лейбера. На небе сияло солнце, и доктор явился с тем, чтобы предложить Дэвиду отправиться на прогулку за город. Лейбер, должно быть, еще спит. Доза вчерашнего снотворного рассчитана часов на пятнадцать как минимум.

Доктор позвонил в дверной звонок. Молчание. Прислуга еще не приходила, час был ранний. Джефферс подергал дверь: она оказалась незапертой — и он вошел в дом. Положил свой чемоданчик с инструментами на первый попавшийся стул.

На лестничной площадке что-то шелохнулось и скрылось из виду. Будто тень проскользнула. Джефферс ничего не успел разглядеть.

В доме пахло газом.

Джефферс взбежал по ступенькам, ворвался в спальню.

Дэвид лежал на постели неподвижно. Спальню наполнял газ, с шипением струившийся из открытого крана над плинтусом возле двери. Джефферс завернул кран, поспешно распахнул все окна и бросился к Дэвиду.

Труп уже успел остыть. Смерть наступила несколько часов назад.

Надрывно кашляя, доктор выбежал из комнаты: из глаз у него лились слезы. Лейбер не мог сам открыть газ. *Никак* не мог. Снотворное свалило бы и быка: Дэвид должен был проспять до полудня. Это не самоубийство. Или все же такой ничтожной вероятности нельзя исключить?

Джефферс оцепенело простоял в коридоре минут пять. Потом двинулся в сторону детской. Дверь была закрыта. Он распахнул ее. Вошел, шагнул к кровати.

Кровать была пуста.

Доктора шатнуло, но он устоял на ногах, потом произнес куда-то в пространство:

— Дверь в детскую захлопнуло сквозняком. Забраться обратно в кровать, где бояться нечего, ты не смог. Что дверь захлопнется, ты не предвидел. Вот от таких пустячков, вроде захлопнувшейся двери, рушатся самые безупречные планы. Я тебя найду: ты прячешься где-то в доме, притворяясь, что ты — это не ты. — Доктор, казалось, впал в ступор. Он приложил руку ко лбу и вяло улыбнулся. — Вот, я уже заговорил словами Элис и Дэвида. Но другого выхода у меня нет. Я ни в чем не уверен, но другого выхода у меня нет.

Джефферс спустился вниз, раскрыл свой докторский чемоданчик, вынул из него какой-то предмет и зажал в руке.

В холле послышался шорох. Слабый, едва заметный. Джефферс мгновенно обернулся.

— Мне пришлось оперировать, чтобы ты появился на свет. Теперь, выходит, снова нужна операция — спровадить тебя отсюда...

Доктор сделал пять-шесть быстрых, уверенных шагов в глубину холла. Вскинул руку, в которой что-то блеснуло на солнце.

— Погляди-ка, малыш! Блестящее — красивое! Скальпель.

Толпа

*

Weird Tales

Май 1943

Эта история — подлинная. Я пришел в гости к моему другу Эдди, который жил на Вашингтон-стрит, близ Барендо, у кладбища: было это лет шестьдесят пять тому назад. Послышался жуткий грохот. Мы выскочили на улицу, бросились к перекрестку. Автомобиль мчался со скоростью семьдесят миль в час. Врезался в телефонный столб и разлетелся напополам. Внутри сидели шестеро. У троих смерть наступила мгновенно. Я наклонился к одной из женщин, надеясь чем-то помочь: она приподняла голову и умоляюще на меня посмотрела. Ей оторвало челюсть, которая лежала у нее на груди: взглядом она заклинала о спасении, но веки ее сомкнулись, и я понял, что она умерла. Так вот: пока я стоял над женщиной, невеста откуда собралась толпа. С одной стороны улицы располагалось кладбище, но не могли же все эти люди явиться оттуда? Или могли? Все остальное исключалось: здания к вечеру опустели, свет в окнах не зажегся. В школьном дворе неподалеку никого не было. Неоткуда было появиться ни единому человеку, разве что из коттеджей, но до них было несколько кварталов. Однако же сбежалась целая толпа — уж не призраки ли это были? Эта толпа мне вспомнилась шесть лет спустя. И я подумал: «Надо написать об этом рассказ. Не знаю, как сюжет пойдет дальше, но почему бы не начать?» И через два часа рассказ был написан.

*

Мистер Сполнер закрыл лицо руками.

Он почувствовал, как его тащит через пространство, услышал виртуозно извитый взвизг; автомобиль

пробил стену насквозь, кувырнулся вниз, точно игрушка, а его выбросило наружу. Потом — тишина.

Сбегались люди — целая толпа. До него, простертого, смутно доносился топот ног. Он мог определить возраст и рост каждого из тех, кто бежал по летней траве, по размеченному тротуару, по уличному асфальту, и тех, кто пробирался через груды кирпичей к его машине, которая торчала почти вертикально на фоне ночного неба, а колеса ее продолжали бессмысленно крутиться.

Откуда взялась толпа, мистер Сполнер не понимал. Он силился не потерять сознания, и лица собравшихся окружили его, нависая подобно огромным ярким листьям наклоненных деревьев. Лица, взявшие его в кольцо, перемещались, теснились, менялись и вглядывались, вглядывались, стараясь по лицу вычислить срок его жизни и назначить час смерти: оно словно бы превратилось в циферблат лунных часов, где тень от носа, как стрелка, должна показать на щеке время, когда оборвется его дыхание.

Как мгновенно возникла толпа, думал он, и стянулась вокруг него, будто радужная оболочка вокруг зрачка, взявшись неведь откуда.

Вой сирены. Голоса полицейских. Его поднимают. Из губ сочится кровь, носилки вдвигают в карету скорой помощи. Слышится вопрос: «Он умер?» Кто-то отвечает: «Нет, жив». Вмешивается третий: «Он не умрет, до этого далеко». Мистер Сполнер видел в ночи лица столпившихся над ним и по выражению этих лиц понял, что не умрет. Это было странно. Лицо мужчины — худое, бледное, сосредоточенное; мужчина судорожно дергал кадыком и кусал губы, его мутило. Была там и невысокая женщина — рыжеволосая, с ярко накрашенными губами и румянами на щеках.

Веснушчатый мальчуган. Еще и другие лица, разные. Морщинистый старик с запавшим ртом, старуха с родинкой на подбородке. Все они явились откуда-то — но откуда? Из домов, из автомобилей, из переулков, из близлежащих окрестностей, потрясенных слухом о несчастном случае. Из переулков, из гостиниц, из трамваев — или вообще из пустоты?

Толпа глядела на него, мистер Сполнер глядел на толпу — и она ему все больше не нравилась. Подспудно в ней таилось что-то глубоко неладное. Что именно — назвать он не мог. Толпа была куда опасней, чем выверт, случившийся с ним по вине машины.

Дверца «скорой» захлопнулась. Через окошки толпа не уставала пожирать его глазами. Эта толпа, неизменно сбегавшаяся в мгновение ока — на удивление проворно — и собиравшаяся в кружок, чтобы всматриваться, вглядываться, изучать, глазеть, таращиться, тыкать пальцем, досаждать, своим неприкрытым любопытством баламутить человека в предсмертном уединении.

«Скорая» тронулась с места. Мистер Сполнер в полузабытьи запрокинул голову, но даже с закрытыми глазами ощущал на себе взгляды толпы, цепко за ним следившей.

День ото дня перед мысленным взором мистера Сполнера колеса его автомобиля не переставали крутиться. То одно, то все четыре вращались и вращались, непрерывно и неустанно, с мерным стрекотом.

Он понимал: тут что-то не то. Что-то не то и с этими колесами, и со всем случившимся, и с топотом ног, и с въедливым любопытством. Лица из толпы перемешивались и вплетались в бешеное вращение колес.

Мистер Сполнер очнулся.

Солнце заливает больничную палату, врач считает у него пульс.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает врач.

Колеса растворились в воздухе. Мистер Сполнер огляделся.

— Кажется, неплохо. — Он попытался найти нужные слова, чтобы задать вопрос. О том, что с ним произошло. — Доктор!

— Да?

— Эта толпа — она была прошлой ночью?

— Два дня назад. Вы у нас с четверга. Впрочем, у вас все хорошо. Пошли на поправку. Только не вставайте пока.

— Эта толпа. И с колесами что-то. При авариях бывает с людьми, что они... э-э... немного того?

— Временно случается. Но постепенно проходит. Мистер Сполнер не сводил глаз с доктора.

— А бывает так, что смещается чувство времени?

— Шок иногда влияет.

— Так, что минута растягивается на час, а час сжимается до минуты?

— Бывает.

— Позвольте, я вам тогда расскажу. — Мистер Сполнер лежал на жесткой кровати, солнце било ему в лицо. — Вы посчитаете, что я спятил. Ехал я, как вам известно, на большой скорости. Теперь сожалею. Вылетел на обочину и врезался в стену. Меня, видимо, ранило, я не мог шевельнуться, но помню все хорошо до сих пор. Особенно — толпу. — Он немного помолчал, а потом решил продолжить, вдруг осознав, что именно его тревожит. — Толпа собралась слишком быстро. После аварии прошло секунд тридцать, а все они

уже нагнулись надо мной и впились взглядами... немислимо вообразить, что они могли сбежаться вмиг, да еще далеко за полночь...

— Это вам только кажется, что прошло тридцать секунд, — заметил доктор. — На самом деле — три или четыре минуты. Ваше субъективное восприятие...

— Да-да, я понимаю... мое субъективное восприятие, авария. Но я же был в полном сознании! И вот какая подробность мне запомнилась: она ставит все на место и насколько странным все это делает — господа, до чего же странным! Машина перевернулась, колеса торчали кверху. Но когда толпа собралась, они по-прежнему продолжали крутиться!

Доктор улыбнулся.

— Доктор, я не шучу! — настаивал мистер Сполнер. — Колеса вращались что есть силы — передние колеса! Они долго не могут вращаться, трение их останавливает. А этим хоть бы что!

— Вы что-то путаете, — вставил доктор.

— Ничего я не путаю. Улица была пуста. Ни души вокруг. И тут случилась авария, колеса крутятся себе и крутятся, и вдруг, откуда ни возьмись, глазом не успел моргнуть, набежали все эти люди. И по тому выражению лиц, с каким они на меня уставились, я *понял*, что не умру...

— Самый что ни на есть обычный шок, — заключил доктор и удалился, облитый солнцем.

Спустя две недели мистера Сполнера выписали из больницы. Он поехал домой в такси. Две эти недели, пока он лежал в койке, его навещали; всем посетителям он рассказывал свою историю: об аварии, о крутившихся колесах, о толпе. Все до единого вместе с

ним посмеивались над подробностями — и пропускали их мимо ушей.

Мистер Сполнер подался вперед и постучал в окошко водительской кабинки:

— Что там такое?

Таксист оглянулся:

— Прошу прощения, хозяин. Чертов город — просто так не проедешь. На дороге авария. Двинемся в объезд?

— Да. Нет-нет! Подождем. Чутьочку вперед. Давайте — давайте посмотрим.

Сигналя, такси продвинулось немного дальше.

— Черт-те что, — проговорил таксист. — Эй ты! Убери-ка с дороги свою колымагу! Черт-те что, — сбавил он тон. — Всюду эти проныры. Без них никуда.

Мистер Сполнер опустил глаза на руки, прыгавшие у него на коленях:

— Вы тоже это заметили, правда?

— А как же, — подтвердил таксист. — Иначе и не бывает. Чуть что — сразу толпа. Можно подумать, их собственную матушку сбили насмерть.

— Они сбегаются с жуткой скоростью, — донесся голос с заднего сиденья.

— Будто на пожар или там на взрыв какой-нибудь. Оглядишься — ни души. И вдруг — бац! Целая орава сбежалась. Вот и гадай, что к чему.

— А случалось вам бывать при аварии ночью?

— Еще бы, — кивнул таксист. — Разницы ни на грош. Без толпы не обходится.

Впереди показалось место происшествия. На тротуаре лежало тело. Установить это было нетрудно, даже не видя самого пострадавшего. Вокруг сгрудилась толпа. Спинами к пассажиру такси. К мистеру Спол-

неру. Он приоткрыл окошечко и уже собирался крикнуть. Но удержался. Если в толпе его услышат, то обернутся.

От мысли, что он увидит их *лица*, у него по спине побежали мурашки.

— Мне, похоже, везет на дорожные происшествия,— заявил он у себя в офисе. Близился вечер. По другую сторону стола сидел его приятель и слушал.— Сегодня утром выписался из больницы, и вот на́ тебе — сразу же по пути домой пришлось объезжать место, где случилась авария.

— Все на свете идет по кругу,— отозвался Морган.

— Давай я тебе расскажу о случае со мной.

— Я уже слышал. От и до.

— Но тут есть какая-то странность, согласен?

— Согласен. А может, дернем по стаканчику?

Они проговорили еще полчаса, если не больше. Но за беседой где-то в глубине сознания у Сполнера непрерывно тикали какие-то часики — часики, заводить которые не требовалось. В памяти постоянно всплывали одни и те же мелочи... Лица, колеса.

В половине шестого с улицы донесся резкий металлический скрежет. Морган, качая головой, глянул из окна вниз:

— Ну, что я говорил? Все идет по кругу. Грузовик и кремовый «кадиллак». Вот-вот, так оно и есть.

Сполнер подошел к окну. Его бил озноб, но он стоял недвижно, пристально наблюдая за минутной стрелкой на своих часах. Побежали секунды — одна, вторая, третья, четвертая, пятая — люди начали сбегаться; секунды восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая — люди сбегаются со всех сторон; секунды пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемна-

дцатая — полно народу, полно машин, отовсюду свистки. С поразительной отстраненностью Сполнер следил за разыгравшейся сценой, как за взрывом в прокручиваемой обратно киноленте: разлетевшиеся мелкие обломки собираются назад, в первоначальную точку. Девятнадцать, двадцать секунд, пошла двадцать первая — и вот толпа на месте, в полном сборе. Сполнер молча ткнул пальцем вниз, за окно.

Толпа собралась молниеносно.

Он успел увидеть тело женщины, прежде чем толпа сомкнулась вокруг нее.

— Ну и видок у тебя, — заметил Морган. — На-ка вот, допей.

— Со мной все хорошо, все хорошо. Не приставай. Все как надо. Ты видишь эту толпу? Хоть кого-нибудь можешь разглядеть? Нам стоит всмотреться в них поближе.

— Ты куда? — закричал Морган.

Сполнер был уже за дверью, Морган выскочил за ним, и оба со всех ног ринулись вниз по лестнице.

— Скорее-скорее, ждать некогда!

— Осторожней, ты еще не окреп!

Они выбежали на улицу. Сполнер протиснулся вперед, распихивая толпу локтями. Ему показалось, что он увидел рыжеволосую женщину с ярко накрашенными губами и румянами на щеках.

— Вон там, гляди! — Он яростно пихнул Моргана в бок. — Ты видел ее?

— Кого?

— Черт побери, она уже скрылась. Толпа ее заслонила!

Толпа напирала со всех сторон: зеваки, отдуваясь, глазели, переминались с ноги на ногу, толкались, менялись местами, неразборчиво что-то бубнили и то и

дело загораживали Сполнеру дорогу, когда он пытался пробиться вперед. Рыжеволосая женщина, очевидно, его заметила и улизнула.

Еще одно знакомое лицо! Веснушчатый мальчуган. Но ведь на свете веснушчатых мальчишек хоть пруд пруди. Выяснить, впрочем, не удалось: мальчуган, едва только Сполнер вознамерился его ухватить, рванулся прочь и растворился в толпе.

— Она умерла? — спросил кто-то. — Умерла?

— Кончается, — ответил другой голос. — «Скорая» не успеет. Не надо было ее трогать. Не надо было трогать.

Вся толпа — лица знакомые и еще нет — плотно стеснилась, каждый вперил глаза в простертое на асфальте тело.

— Эй, мистер, хватит толкаться!

— Да кто тебя трогает, дружище?

Сполнер кое-как выбрался из толпы, и Морган подхватил его под локоть, иначе бы он упал.

— Вот балда! — вскипел Морган. — Ты же еще не совсем здоров. Какого черта тебя туда понесло?

— Не знаю — право, не знаю. Морган, они ее взяли и пошевелили. А пострадавших при дорожном происшествии трогать нельзя. Это для них верная смерть, верная.

— Угу. Но что с этими олухами поделаешь. Ни шиша не смыслят.

Сполнер тщательно разложил перед собой газетные вырезки.

Морган прищурился:

— Никак не возьму в толк: с тех пор, как ты угодил в аварию, всякую транспортную заварушку принимаешь на свой счет. Это вот что такое?

— Сообщения об автокатастрофах и фотоснимки. Взгляни. Не на разбитые машины,— уточнил Сполнер,— а на толпу вокруг них. Вот, например.— Он выбрал одну фотографию.— Сравни эту катастрофу в Уилшир-Дистрикт с другой — в Вествуде. Сходства ни малейшего. А теперь возьми этот снимок из Вествуда и положи его рядом со снимком, сделанным в Вествуд-Дистрикт десять лет тому назад.— Сполнер ткнул в него палец.— Обрати внимание на женщину, которая присутствует и там, и там.

— Совпадение. Женщина оказалась на месте происшествия сначала в тридцать шестом году, а потом в сорок шестом.

— Возможно, что совпадение. А если она за десять лет оказывается там двенадцать раз, причем катастрофы происходят на расстоянии трех миль друг от друга, тогда что? — Сполнер выложил дюжину фотографий.— Она присутствует *везде*.

— Быть может, она извращенка.

— И более того. Как ей удастся попадать в центр каждого события с таким проворством? И почему она на всех фотографиях одета одинаково — за десять лет ни разу не переодевалась?

— Гром меня разрази, если это не так.

— И последнее: с какой стати она разглядывала меня лежащего, когда я попал в аварию две недели тому назад?

Друзья выпили. Морган перебрал все вырезки.

— Так ты, выходит, лежа в больнице, обратился с запросом в службу газетных вырезок, чтобы для тебя просмотрели все газеты? — Сполнер кивнул. Морган отхлебнул из бокала. Темнело. Внизу за окном зажигались фонари.— И каков же из всего этого вывод?

— Не знаю,— ответил Сполнер.— Заключить можно только одно: для несчастных случаев существует некий всеобщий закон. *Собираются толпы*. Причем собираются *всегда*. Кое-кто, вроде нас с тобой, временами задавался вопросом, почему и как им удастся сбежаться так быстро. Я нашел ответ. Вот он! — Он швырнул вырезки на стол.— И мне страшно.

— Но эти люди — может, они гонятся за острыми ощущениями, извращенными переживаниями? Хлебом их не корми, а подай только кровушки и трупов побольше?

Сполнер дернул плечом:

— Но как объяснить, что они не пропускают *ни единого* несчастного случая? Заметь, что у них тяга к определенной территории. При аварии в Брентвуде собралась одна группа. В Хантингтон-Парке — другая. Однако и там, и там на лица существует некая норма, и всякий раз численность их одинакова.

— Но неужели все лица всюду одни и те же?

— Нет, разумеется. С течением времени катастрофа притягивает и других любопытных. Но эти, как я выяснил, всегда поспевают первыми.

— И кто они? Чего хотят? Ты постоянно отделываешься намеками. Черт возьми, наверняка же какая-то идея у тебя есть. Запугал себя до полусмерти, а теперь и я сижу как на иголках.

— Я пытался до них добраться, но кто-то неизменно вставляет мне палки в колеса. Я вечно опаздываю. Они ныряют в толпу и исчезают бесследно. В толпе, сдается мне, кое у кого находятся покровители. Они меня засекают, едва завидят.

— Похоже, у них своя компашка.

— Общее для них свойство — всегда заявляться вместе. На пожаре, при взрыве и всяких там воинственных

стычках, где публично демонстрируется такая штука, как смерть, они тут как тут. Кто они — стервятники, гиены или святые праведники, — ума не приложу, просто тупик. Но сегодня вечером намерен обратиться в полицию. Пора с этим покончить — дело слишком далеко зашло. Сегодня какой-то из этих типов шевельнул тело пострадавшей женщины. Ее нельзя было касаться. Это ее и погубило.

Сполнер сунул вырезки в портфель. Морган поднялся и натянул на себя пальто. Сполнер щелкнул замком портфеля:

— Или же... Знаешь, что мне сейчас пришло в голову?

— Что?

— Быть может, они *хотели* ее смерти.

— С какой стати?

— Кто его знает. Идем?

— Извини. Уже поздно. Давай до завтра. Счастливого! — Они вместе вышли из офиса. — Привет от меня нашей полиции. Думаешь, тебе там поверят?

— Даже и не сомневаюсь. Спокойной ночи.

Сполнер медленно вел машину к центру города.

— Хочу добраться туда, — бормотал он себе под нос, — живым.

Его бросило в дрожь, но почему-то нисколько не удивило, когда выскочивший из переулка грузовик помчался напрямик навстречу ему. Он как раз мысленно поздравлял себя с тем, какой острой наблюдательностью обладает, и проговаривал заготовленную для полиции речь, когда грузовик врезался в его автомобиль. Автомобиль, собственно, ему не принадлежал, и это было самое огорчительное. Озабоченного раздумьями Сполнера швырнуло сначала в одну сторо-

ну, потом в другую, а его все еще продолжала грызть мысль о том, что — надо же, какая досада! — Морган одолжил ему свою вторую машину, пока его собственная в ремонте, и приспичило ему снова вляпаться. Ветровое стекло ударило Сполнеру в лицо, его несколько раз здорово потрянуло и бросило вперед-назад. Потом его словно парализовало, грохот затих — осталась только боль, заполнившая все его тело.

Послышался топот бегущих ног — ближе, ближе, ближе. Сполнер нашарил дверную ручку. Нажал ее — вывалился на мостовую, точно пьяный, и застыл, прижавшись ухом к асфальту, в ожидании очевидцев. Их приближение походило на сильный дождь, когда множество капель — крупных, средних, мелких — сыплется на землю. Сполнер, выжидая, прислушивался, потом кое-как, с трудом приподнял голову и огляделся.

Толпа его уже обступила.

Сполнер ощущал на себе чужое дыхание, смешанное с различными запахами: вдыхая, втягивая и высасывая, у него отбирали необходимый для него воздух. Толпа густела, теснилась и напирала, лишая его кислорода: вконец задыхаясь, он попробовал взмолиться, чтобы они хоть чуточку отодвинулись, — нельзя же долго продержаться в вакууме. Голову заливала кровь. Он рискнул пошевелиться и понял, что с позвоночником у него совсем плохо. При ударе он почти ничего не почувствовал, но позвоночник явно был поврежден. Лучше никак не двигаться.

Говорить он не мог. Рот разевал, но, кроме нечленораздельного хрипа, ничего из него не исходило.

Кто-то произнес:

— Помогите мне. Мы его перевернем и приподнимем, чтобы ему было удобнее.

Череп Сполнера готов был разорваться от вопля: «Нет! Не трогайте меня, не трогайте!»

— Давайте его переместим,— вкрадчиво предложил чей-то голос.

«Идиоты, вы меня убьете, не смейте!» — надрывался Сполнер от безмолвного крика.

За него взялись. Начали поднимать. Он, борясь с тошнотой, не переставал истошно, хотя и беззвучно, вопить. Его выпрямили, причинив смертную муку. Орудовали двое. Один — худой, бледный, сосредоточенный, проворный юноша; второй — морщинистый старик с запавшим ртом.

Сполнер где-то их уже видел.

Знакомый голос задал вопрос:

— Что — он умер?

Другой голос, врезавшийся в память, отозвался:

— Нет. Пока нет. Но до прибытия «скорой помощи» не доживет.

Какой же все-таки нелепый, безумный заговор. И так при всякой аварии. Сполнер, видя перед собой плотную стену из лиц, истерически взвизгнул. Они замкнули его в кольцо — судьи и присяжные, которых он уже навидался вдоволь. Превозмогая боль, он принялся их подсчитывать.

Веснушчатый мальчуган. Морщинистый старик с запавшим ртом. Рыжеволосая женщина с ярко окрашенными губами и румянами на щеках. Старуха с родинкой на подбородке.

«Понятно, ради чего вы сюда сунулись,— думал Сполнер.— Как при каждом дорожном инциденте. Удостовериться, кому выжить, кому скончаться. Поэтому-то вы меня и подняли. Зная, что мне от этого крышка. Вам ли неизвестно, что оставь вы меня в покое — я бы выкарабкался. И так заведено издавна, стоит народу столпиться. Убивать таким манером куда как легче. Алиби у вас наготове, объяснение проще простого: дескать, откуда нам знать, что шевелить постра-

давшего опасно. Мы вовсе не собирались ему навредить».

Сполнер глядел на толпу снизу с любопытством утопленника, взирающего на прохожих, которые перегнулись через перила моста.

«Кто вы? Откуда взялись и как это в один миг тут очутились? Вы вечно встречаете целой толпой, загромождаете свет, отнимаете у полумертвого последний воздух, лишаете его крошечного остатка пространства. Попираете несчастных, чтобы ни малейшего шанса им не дать. Вы у меня все до единого наперечет».

Этот свой монолог Сполнер изложил как только мог вежливо. В ответ молчание. Лица все те же. Старик. Рыжеволосая женщина.

Кто-то подобрал его портфель.

— Чей портфель? — раздался голос.

«Мой! Там улики против всей вашей коды!»

Глаза впились в него. Поблескивают под взъерошенными волосами или из-под шляп.

Лица.

Издали — вой сирены. Карета «скорой помощи».

Но по лицам — по тому, как они на него смотрели и что выражали, Сполнер понял, что уже поздно. Он прочитал приговор по лицам. Им он был известен.

Он попытался заговорить. Изо рта вылетели на ружу обрывки слов:

— Кажется, я... я примкну к вам... Я, я... буду теперь с вами... в вашей компании...

Сполнер закрыл глаза в ожидании коронера.

Воссоединение

*

Weird Tales

Март 1944

Это не более чем метафора. Когда думаешь о стиральной машине. А я в детстве хвостом ходил за матерью, и у нас была большая медная стиральная машина; стояло это чудо в полуподвале у моей бабушки, и сделано оно было из чистой меди — таких машин не производили потом долго-долго. Но цвета она была чудесного — медного. И я наблюдал, как мать два-три раза пропускала белье через барабан, а потом развешивала. Так что эта метафора была всегда у меня перед глазами, а когда ты думаешь о стирке одежды, то представляешь себе обычно, как стирают людей, не правда ли? Автоматическая стирка. Не сомневаюсь, что именно это и произошло. Однажды мне вспомнилась стиральная машина и мать за развеской белья, а через два часа родился на свет рассказ. [«Таинственным историям»] он не был нужен, но они его взяли. В конечном итоге они взяли рассказ со мной вместе, а «Возвращение» отвергли. Слава богу.

*

По понедельникам в утренние часы на задней веранде что-то ухало и по всему дому дрожали старинные балки и скрипели стыки: начиналась стирка.

Белье лежало аккуратнейшими кучками, рассортированное, готовое отправиться в котел, где ходил вверх-вниз расшатанный механизм, издавая протяжное и-и-и-и-и о-о-о-оу, и-и-и-и-и о-о-о-оу, к которому добавлялся плеск воды. Это была электрическая

стиральная машина, где исключались вибрации, где всплывавшее белье безжалостно топили плунжеры. Оно казалось живым: махало пустыми рукавами, держало пустыми воротниками, показывало, без малейшего смущения, нижние юбки. Бешеное бурление продолжалось почти до вечера. Потом выстиранное белье выстраивалось рядами на проволоке под цветущей яблоней и за него принимался ветер.

В обязанности Малькольма Брайара входило приносить из погреба мыльную стружку, подбирать упавшие прищепки, а также помалкивать и стараться не поднимать пыль, чтобы не испачкались хлопающие на ветру простыни. Малькольм сновал по двору, повинуюсь пронзительному голосу тети Оупи, но в глубине души возмущался против ее диктата.

И вот настал один из тех понедельников. Тетя Оупи, набрав в рот прищепок, протерла тряпкой ряды проволоки и собралась развешивать белье. Но Малькольм, воспользовавшись первым удобным случаем, удрал на чердак их старого дома на Оук-стрит, того самого, где жили его мать с отцом, пока не умерли.

Во дворе надрывалась тетя Оупи. Ее голос скрипел, как кухонный насос:

— Мэл! Эй, Мэл! Мэл!

Через дырочку в заросшем пылью чердачном окошке Мэл глядел вниз, обозревая свое королевство. Тетя Оупи крикнула снова:

— Мэл!

Мэл захихикал. Здесь ей ни за что его не найти. Здесь разбойничье гнездо. Чтобы войти, нужно постучаться и быстро-быстро шепнуть: «Во дворе берега, в пальце заноза!»

Его окружала коллекция предметов, собравшаяся за пятьдесят лет, что здесь жили и умирали люди. Все

те лишние и нелишние принадлежности, безделушки, финтифлюшки, которые люди в течение долгих лет накапливали, раскладывали по полкам и наконец, когда в них отпадала нужда, засовывали куда подальше.

Мелкие кустарные игрушки детей, а ныне взрослых циников, успевших сами обзавестись потомством. Детские кресла, где собирается пыль и кукуется старые пауки, толстые и ленивые, которые редко берут на себя труд сплести порядочную паутину.

К вонючим стенам аккуратным рядом прислонены семейные портреты: мама и папа, бабушка с дедушкой, прабабка и прапрадед, двоюродные братья и сестры, брат Малькольма Дэвид, не доживший до восьми лет.

Большой коричневый чемодан с металлическими защелками. Если увлажнить их дыханием и протереть, они вспыхнут, как внезапные медные звезды в ночи чердака. А если дернуть защелки, пасть чемодана разверзнется и тебе в ноздри хлынет застоявшийся запах нафталиновых шариков. И с ним другой — ни на что не похожий, присущий помещениям вообще.

Здесь Мэлу бывало лучше всего.

Внизу было совсем невесело: там находился старый, больной, похожий на бледное тощее насекомое дядя Уолтер; ноги его были вечно погружены то в кипяток, то в ледяную воду, изо рта пахло тухлым мясом. Характер тети Оупи сделался с годами нестигаемо строгим; как сковал ее фигуру корсет из китового уса, так сковал всю ее жизнь дядя Уолтер.

— Мэл!

Мэл прислушался. Внизу, в солнечном мире, не смолк еще зловещий гром стиральной машины. Напрягая слух, можно было уловить и сухой, отрывистый кашель дяди Уолтера, прочищавшего горло.

Порывшись в одежде, сложенной в старом чемодане, Мэл первым делом обнаружил свои детские вещи. Костюмчики, которые он носил, пока не отмерла эта часть его существа — зеленая, мелкая, необразованная. Рассматривая старые вещи, он как раз и задумался о смерти: трудно было поверить, что он когда-то обитал внутри их. Теперь, одиннадцатилетним, он не надеялся вернуть себе дни пискливого младенчества и удивлялся, что, будучи таким крохотным, вообще их пережил!

Откинув в сторону свое платье, Мэл взялся за одежду брата. Нарядный серый костюмчик, к нему серая шапочка, которая так ловко сидела на красивой голове Дэвида, вспоминал он. Но больше Дэвид ее не наденет: как насекомые застывают в янтаре, он застыл в дереве и следующие тридцать тысяч лет пробудет пленником кладбища «Розовая лужайка». В день памяти павших Мэл ходил на могилу Дэвида, возлагал охапку маргариток и ждал, пока брат скажет «спасибо».

Далее — старая трость отца. Надпись на ней имеет отношение к какой-то оккультной ложе. Рядом — старый резиновый наносник, которым отец защищал лицо, когда играл в университете в футбол.

— Папа, папа, какой ты тогда был? Как выглядел?

Папа был портретом в дубовой раме: красивый юноша с искринкой в глазах, шея стиснута высоким воротничком.

У матери волосы подобраны в нетугой валик, зубы очень мелкие, женские — как белые зерна в плотном кукурузном початке.

Портреты, только и всего. Одежда, украшения, вещи, сложенные на уродливом чердаке.

Пожелтевшая от времени блузка из сетчатой ткани. Наверное, мать надевала ее на картежную вечерин-

ку, или на игру в маджонг, или в театр — смотреть Джона Берримора в «Гамлете»*.

— Мама, мама! — произнес Мэл. — Где ты? А ты какая была?

По его щекам ручейками потекли слезы. Всепонимающий чердак послужил утешителем: он наблюдал, как все на свете, и слезы в том числе, находило себе место на полках, где, забытое, покрывалось пылью.

Мэл проголодался.

Время ланча. Тремя этажами ниже прокатилось на мягких резиновых колесах кресло дяди Уолтера. Стук стиральной машины тут же стих.

Аккуратно возвратив на место одежду, а с ней воспоминания, зашелкнув чемодан и вытерев глаза, Мэл не спеша спустился по лестнице в столовую, где его ждала головомойка.

— А, так вот ты где, Малькольм!

После ланча, когда дядя Уолтер возвратился к себе, чтобы провести остаток жаркого дня в дремоте, Мэл помог снять белье с веревки и отнести в кухню, к горячему утюгу (если плонешь, должен зашипеть). Тетя Оупи весь день гладила, Мэл помогал. Вечером, до темноты, ему позволялось поиграть часок с соседскими ребятами, «но чтобы потом прямоком домой, а к реке — ни-ни!»

Мэл уселся и стал болтать ногами.

— Марш играть! — раздраженно рывкнула тетя Оупи, отставляя наконец утюг. — Не сиди здесь без дела. Ты действуешь мне на нервы. До чего же ты докучливый, ей-богу!

* Джон Берримор (1882–1942) — знаменитый американский актер шекспировского репертуара, а также звезда немого и раннего звукового кино.

— Докучливый, тетя Оупи?

— Еще какой! Ну, ступай с глаз долой!

— Похоже, проку от меня никакого.— Мэл глядел прямо перед собой и не двигался.— Зачем люди рождаются, а, тетя Оупи?

— Чтобы гробовщикам была работа. Ну все, ступай играть.

— Я слишком устал.

— Тогда иди в постель.

— Я слишком устал, чтобы пойти в постель.

— Хватит глупости молоть.

За Мэлом захлопнулась дверь.

— Не хлопай дверью, Мэл!

Он медленно пересек веранду.

— И не шаркай ногами. Подметки сносишь!

Хлоп.

Еще мгновение, и Мэл оказался наверху. Он не помнил, как к нему пришла эта мысль, подобно солнечным лучам, упавшим ему на колени. Не помнил, как взлетел по лестнице. Он просто обнаружил себя здесь плачущим без слез, а перед ним на постели было собрано все его нехитрое имущество.

Шарики для игры, носовые платки, рубашки, обувь, карандаши, книги, проводки, рогатки, перья, шифры, камешки, ленточки; все это он запихал в большие бумажные пакеты.

Когда он вышел из комнаты, солнце уже садилось. Скоро тетя Оупи дунет в серебряный свисток (блестящий, с шариком внутри, который трепетал, как пойманная птичка, когда в свисток дунут) и позовет его:

— Мэл!

Ага, вот уже зовет:

— Мэл!

В непроницаемой темноте он взобрался по шатким ступеням и погрузился в душный и затхлый, но такой уютный запах чердака.

— Мэл!

Голос тети Оупи, зовущий внизу, был сном. Весь нижний мир перестал существовать. Он был упрятан, похоронен под толстыми балками.

Мэл упрятал свою одежду в ближайшем чемодане, глубоко в прежние года, где нашли последний приют вещи, которые никому больше не понадобятся. Рубашки он сунул к рубашкам отца и брата, шапочку — к шапочке Дэвида, ботинки — к серебристым бальным туфелькам матери. Безделушки ухнули вниз, в склад всех, копившихся долгое время, безделушек.

Он отнес портреты папы и мамы к грязному чердачному оконцу, к дырочке в нем, куда проникал свет, — дырочке такой маленькой, что она напоминала паутинку, сотканную золотым пауком. Луч выхватил из темноты последнюю улыбку мамы, последнюю приветливую искорку в глазах папы.

Луч померк.

Улыбка и искорка повисли в воздухе, в темноте, как яркий остаточный образ на сетчатке глаза.

— Мама, папа, какие вы были? Хотели бы вы увидеть, каким я вырос? — Долгое молчание. — А? — Долгое молчание. — Хотели бы? — Долгое молчание. — Мама. — Долгое молчание. — Папа?

Что-то переместилось в темноте.

— Я хочу быть здесь... с вами, — сказал Мэл.

Здесь было много чего от них. Все их вещи. Если сложить все вместе, может, родители восстанут. Восстанут живые.

И верно! Глубоко в чемоданах сохранились капельки пота, пролитые отцом, молекулы плоти с его пальцев, шелушки кожи, обрезки ногтей! Добрый живот-

ный пот, проступивший на коже и впитанный тканью, хранили зимой и летом пиджаки отца! Нетронутым! Одежда и была сам отец! Люди, как рептилии, сбрасывают кожу. Крохотными ошметками, кусочками. Они должны быть здесь, эти недоступные зрению кусочки! В этих чемоданах. Здесь и сейчас! Здесь и сейчас! Мама! И Дэвид тоже!

Мэл, волнуясь, взялся за края чемодана. Он не пойдет вниз, останется здесь на веки вечные. Останется, сделается одним из *них*, выброшенных, обреченных на исчезновение; сведется к портрету, прислоненному к стене, охапке сложенной одежды, россыпи разрозненных игрушек.

Это было только начало приключения. Прежде он и понятия не имел, что такое жить по-настоящему. Теперь же каждый час будет приближать его к настоящей жизни, к настоящим маме, папе и Дэвиду!

Он затрепетал, как пламя одинокой свечи под сквозняком. Еще немного, и отчаянная внутренняя буря загасила бы его совсем.

Мэл отобрал мамины вещи и стал рассматривать. Нитку за ниткой, пуговицу за пуговицей, глядя, целуя, понимая их. Посередине он поставил мамин портрет. Ее украшения, браслеты, искусственный жемчуг, два-три набора косметики, высохших и отдававших плесенью.

Если выложить ее символы узором на дощатом полу, прочесть над ними заклинания плаксивым детским голосом, не сумеет ли он, молочно-бледный юный волхв, вызвать своих близких — всех или хотя бы одного — из этих похожих на гробы чемоданов? Каждый заключал в себе символы трех человек, которых он никогда не видел.

Мэл откинул разом крышки всех трех.

— Мэл!

Едва рассвело. Прошла неделя. Может, месяц. Может, десять лет. Или пятнадцать.

— Мэл!

На зеленой лужайке вопила тетя Оупи и дула в серебряный свисток. Не дождавшись ответа, она тяжелым шагом вернулась в дом — может, чтобы снять телефонную трубку.

Пусть бы даже она звонила в полицию, Мэлу было все равно. Он сидел на чердаке и посмеивался, потому что дело шло к завершению. Все шло как надо. Страха не было, была только хладнокровная уверенность в успехе.

Он уже сделался частью этого скопления лишних вещей. Одним из никчемных предметов, как обозначила его тетя Оупи, таким самое место на чердаке, пусть пауки плетут по ним свои узоры. Он постепенно прилаживался, проваливался в темноту, становился тенью, как мама и папа. Портрет, кучка одежды, всякие пустячки и игрушки — воспоминания, больше ничего. Нужно еще немного времени, только и всего.

Он не поел. Внутри не было ни голода, ни даже места для голода. Быть здесь, наверху, — этого довольно. Лицо, небось, совсем уже чумазое, платье ничуть не лучше, сам исхудал и запущен. Еще немного времени...

Он следил, как ползли часы — вроде красивых животных.

Мэл стал острее воспринимать это место. Звуки, движения. Чувствовал запах — духов? Его глаза начали что-то различать. Ну наконец! Получается! Папа, мама, Дэвид и он! Большое, лихое семейство!

Из запахов, отшелушившейся кожи, пота, косметических ароматов, что хранятся в пирамидах одежды, из фотографий, мебели, где сидели его близкие,

из стопок пожелтевших книг вышли папа, мама и Дэвид! Вышли, чтобы встретить его, взять за руку, расцеловать, сказать «добро пожаловать», обнять, чтобы вместе с ним, смеясь, закружиться в танце!

— Папа, мама! Как же я рад вас видеть! В самом деле видеть! Я понимаю, нужно стараться и у меня получится! Это волшебство! Вы и вправду здесь? Мама, папа!

Они были здесь.

Мэл ощутил на лице горячие слезы радости.

И тут темноту распорол в середине огромный нож дневного света.

Мэл вскрикнул.

Дверь чердака распахнулась. В свете дня на пороге воздвиглась прямая как палка фигура тети Оупи.

— Мэл, Мэл, это ты? Мэл? Ты здесь, наверну?

Мэл снова вскрикнул.

— Мама, папа, подождите! Стойте! Мама, папа, Дэвид!

Чердак заполнился дневным светом. Мэл свернулся на полу в спутанной куче одежды и всякой всячины. Тетя Оупи рванулась к нему.

— И ты все четыре дня пробыл тут? А мы все это время с ума сходили! Боже правый, Малькольм Брайар, ты только посмотри на себя! Посмотри на себя! ПОСМОТРИ НА СЕБЯ!

Тетя Оупи сгребла его в охапку и крутанула к двери. От дневного света у него защемило в глазах. Он споткнулся.

— Уолтер! — крикнула тетя Оупи. — Поди посмотри, где я его нашла!

Дальше последовало сплошное безумие. Мэл вопил, уговаривал, визжал, ругался, наседа на тетю Оупи, но ее решение было твердым.

Весенняя уборка.

Чердак освободили от всех тамошних таинственных сокровищ. Всякую ерунду безжалостно кинули в печь. Портреты продали: они были в ценных рамах.

Но самое немыслимое из всего немыслимого творилось на задней веранде, где была запущена стиральная машина. А в ней крутились и извивались вещи, принадлежавшие маме, папе и Дэвиду! Они ныряли, выскакивали, ходили кругами, дергались, дрожали. Папины рубашки. Мамины блузки. Костюмчики Дэвида!

Неумолимые металлические плунжеры ходили ходуном, мыло пенилось, вода бурлила, отстирывая, отмачивая, выкручивая, выполаскивая все символы, всю память, все волшебство!

Стародавние капли пота, неистребимый аромат духов — вода и лизол не оставляли от них и следа. Мельчайшие шелушки жизни и памяти — распадались, растворялись, тонули!

И вещи, одна за другой извлеченные из машины, висли на веревке под цветущей яблоней, и жаркий ленивый ветер принимался раскачивать эти пустые, лишённые отныне жизни, оболочки.

Малькольм осел, корчась в цепких пальцах тети Оупи. Пронзительные горестные крики сменились слабыми истерическими всхлипываниями:

— Мама, папа, Дэвид, постойте! Не уходите!

Последним, что он слышал, погружаясь в тошнотный мрак, были безжалостное чавканье и бульканье стиральной машины, убийственный такт погружений и поворотов...

Кукольник

*

Weird Tales

Январь 1947

Думаю, что мимо этого кладбища я проходил постоянно. Мой друг Эдди жил через квартал. Это был самый близкий мой приятель, и все три года — с 1935-го по 1937-й — я проводил больше времени у него в доме, чем у себя. Так ведь и водят дружбу, разве нет? Четыре, а то и пять дней в неделю мы с ним были неразлучны — и бродили по всему Лос-Анджелесу. Но по вечерам, проводив его до дома, я всякий раз шел мимо кладбища, и вполне понятно, что в голове у меня роились разные мысли о могилах, ну да. Развилось что-то вроде паранойи, свойственной мальчугану, а позднее — и взрослому: мы ведь в определенном смысле все параноики. Мысль о том, что покойников хоронят целыми рядами, заволашевала. Уверен, что порождена она именно вспышкой паранойи, когда однажды к вечеру мне вспомнилось это кладбище.

*

Мистер Бенедикт вышел из своего домика. Постоял на крыльце, мучительно стесняясь солнца и чувствуя себя приниженным перед ближними. Мимо протрусила собачонка с умными глазами — такими умными, что мистер Бенедикт не решился встретиться с ней взглядом. В кованые железные ворота кладбища у церкви заглянул мальчишка, и рассеянно-цепкое любопытство ребенка заставило мистера Бенедикта содрогнуться.

— Вы — похоронщик, — произнес мальчик.

Мистер Бенедикт, внутренне съжившись, ничего не ответил.

— Эта церковь ваша? — поинтересовался наконец ребенок.

— Да, — сказал мистер Бенедикт.

— И все это место, где хоронят?

— Да, — растерянно подтвердил мистер Бенедикт.

— И дворики, и все могилы, и надгробия?

— Да, — не без гордости согласился мистер Бенедикт.

Это было чистой правдой. Просто на удивление. Удача улыбнулась ему после того, как он долгие годы тянул лямку, не зная ни сна, ни покоя. Сначала он приобрел в собственность здание церкви и кладбище с немногими надгробиями, поросшими мхом вслед за переселением баптистской общины с окраины городка. Затем собственными силами соорудил изящную небольшую покойницкую — разумеется, в готическом стиле, увитую плющом, — а позднее на задах построил домик и для себя. С мистером Бенедиктом умирать было одно удовольствие. Он улаживал вопрос о вносе и выносе тела, сочетая максимум комплексных услуг с минимумом доставляемого беспокойства. «Никакой необходимости в похоронной процессии!» — гласили его набранные крупным шрифтом рекламные объявления в утренней газете. Из церкви прямо в землю — легко и просто. Используются только первоклассные препараты!

Ребенок не отрывал от мистера Бенедикта глаз — и тот затрепетал, будто пламя свечи на ветру. Он остро ощущал свою приниженность. Все живое и подвижное внушало ему чувство подавленности и желание пуститься в извинения. Он только и делал, что согла-

шался с окружающими, даже не помышляя вступить в спор, повысить голос или сказать «нет». Кем бы вы ни были, мистер Бенедикт робко устремлял застенчиво блуждающий взгляд на кончик вашего носа или на мочку вашего уха или принимался изучать ваш пробор, не осмеливаясь встретиться с вами глазами, бережно держал холодными руками вашу руку, точно какой-нибудь бесценный дар, и твердил одно:

— Вы совершенно правы, безоговорочно и неоспоримо правы.

Однако в разговоре с ним вы неизменно догадывались, что из сказанного вами он не слышал ни слова.

И сейчас, стоя на крыльце, мистер Бенедикт, из опасения не понравиться глазевшему на него ребенку, сказал:

— Ты — славный, чудесный малыш.

Сойдя с крыльца, мистер Бенедикт вышел за калитку, ни разу не взглянув на свою небольшую покойницкую. Оттягивал удовольствие. Во всем крайне важно соблюдать правильную последовательность действий. Не стоит пока радоваться, думая о телах, ожидающих там применения его талантов. Нет, лучше заняться привычной ежедневной рутиной. Надо посильнее себя завести.

Мистер Бенедикт знал, куда направиться, где можно толком себя взвинтить. Полдня он пробродил по городку, посещая разные места и позволяя живым согражданам давить на себя своим превосходством, растворялся в собственной приниженности, обливался потом, скручивая сердце и мозг в трепыхавшиеся узлы.

Он поговорил с мистером Роджерсом — аптекарем: пустая, бессмысленная утренняя болтовня. Но сохранил и затаил в себе все мелкие шпильки, пренебрежительным тоном подпущенные мистером Роджерсом

в его адрес. У мистера Роджерса всегда находилась в запасе какая-нибудь издевка над представителями похоронного дела. «Ха-ха!» — заливался хохотом мистер Бенедикт над очередным измывательством, хотя готов был завопить, раздираемый унижением и жадной расправы.

— А, вот и вы, уже совсем, поди, окоченели? — поинтересовался сегодня мистер Роджерс.

— Точно, окоченел, — откликнулся мистер Бенедикт. — Ха-ха-ха!

У входа в аптеку мистер Бенедикт наткнулся на мистера Стюйвезанта, подрядчика. Мистер Стюйвезант взглянул на часы — прикинуть, сколько времени он сможет потратить на Бенедикта до назначенной встречи.

— Приветствую, Бенедикт, — пробасил он. — Как там твои подопечные? Держу пари, ты зубами и ногтями в них вцепляешься. Работенки хватает? Ей-богу, держу пари — зубами и ногтями, а...

— Да-да, — неопределенно хмыкнул мистер Бенедикт. — А как у вас идут дела, мистер Стюйвезант?

— Послушай, Бенни, старина, а почему у тебя руки такие холодные? Точно лед. Ты что, только что бальзамировал фригидную бабенку? Хе-хе, это не так уж плохо — слышишь? — грохотал мистер Стюйвезант, хлопая его по плечу.

— Неплохо, неплохо! — бормотал мистер Бенедикт, пытаясь изобразить улыбку. — Всего вам доброго!

Встреча за встречей... Мистер Бенедикт, пинаемый от одного знакомого к другому, напоминал собой озеро, куда швыряют всякий мусор. Начиналось с мелких камушков, а поскольку мистер Бенедикт не покрывался рябью и не возмущался, в ход пошли камни, кирпичи, валуны. До дна мистера Бенедикта никто не

доставал, не было ни всплеска, ни кругов на воде. Озеро не отзывалось.

По мере того как день подходил к концу, обессиленный мистер Бенедикт проникался все большей яростью к жителям городка, однако брел от дома к дому, заводя все новые и новые разговоры и испытывая к себе ненависть пополам с самым неподдельным мазохистским удовольствием. Главное, что толкало его вперед, — это мысль о предстоящих ночных утехах. И потому он снова и снова растравлял себя насмешками этих заносчивых болванов, кланялся им, бережно держа их руки перед собой на уровне груди, словно бисквиты, и желая только одного — чтобы над ним побольше глумились.

— А, вот и мясорубка пожаловала, — приветствовал мистера Бенедикта мистер Флигнер, кондитер. — Как там у вас с солониной и маринованными мозгами?

Крещендо растоптанности нарастало. После финального удара литавр и нестерпимого самоуничтожения мистер Бенедикт, лихорадочно глянув на циферблат наручных часов, опрометью ринулся домой. Теперь он достиг пика, был во всеоружии, полностью готов приступить к работе — исполнить необходимое и насладиться вволю. Жуткая половина дня осталась позади, счастливая — только начиналась! Мистер Бенедикт проворно взбежал по ступенькам покойницкой.

Поджидавшая его комната напоминала свежее выпавший снег. В сумраке под холмиками простыней угадывались неясные впадины и бугорки.

Дверь распахнулась.

Мистер Бенедикт возник на пороге в раме света: голова гордо вскинута, одна рука простерта в торже-

ственном приветствии, другая с неестественной твердостью оперта о дверную ручку.

Повелитель кукол явился домой.

Он долго простоял посреди своего театра. В ушах у него раздавались громовые, вероятно, аплодисменты. Стоял он недвижно: только слегка склонил голову, сдержанно признавая справедливость одобрения, заслуженного им со стороны почтеннейшей публики.

Мистер Бенедикт аккуратно снял пиджак, повесил его на крюк, облачился в свежевystиранный белый халат, с профессиональной ловкостью застегнул манжеты, затем принялся за мытье рук, одновременно поглядывая на своих самых добрых друзей.

Неделя выдалась удачной: фамильных реликвий под простынями было предостаточно, и мистер Бенедикт, оглядывая их, чувствовал, что растет, становится все выше и выше, воздвигается подобно башне, простирает над ними свое величие.

— Будто Алиса! — вскричал он изумленно. — Выше и выше! Все страньше и страньше!

Он вытянул руки вперед и принялся их разминать.

Наедине с мертвецами мистеру Бенедикту никак не удавалось преодолеть изначальную недоверчивость. Он испытывал и восторг, и озадаченность, сознавая себя властелином над людьми: здесь он мог вытворять с ними все, что угодно, а они, по необходимости, должны были блюсти обходительность и оказывать ему содействие. Бежать им некуда. И сейчас, как обычно, он ощущал в себе прилив сил и жизнерадостности, легко увеличиваясь в росте, как это было с Алисой.

— Ого, какой же я высокий, надо же... такой огромный... скоро голова моя упрется в потолок.

Он прошелся между столами, накрытыми простыней. Ощущал он себя точно таким, как после послед-

него киносеанса поздно вечером, — сильным, крепким, ловким, уверенным в себе. После сеанса прохожие не спускают с него глаз: как он мил, как безупречно себя держит — точь-в-точь герой фильма, — и ох, как внушителен его звучный голос, и как уместно он приподнимает левую бровь, и как артистически постукивает тросточкой. Порой гипноз, внушенный им просмотром ленты, сопровождал его на всем пути домой — вплоть до момента, когда он укладывался в постель. Так чудесно и волшебно он чувствовал себя только в кинематографе и вот здесь — в собственном театре остывших тел.

Мистер Бенедикт двигался вдоль рядов уснувших, читая имена на белых табличках:

— Миссис Уолтерс. Мистер Смит. Мисс Браун. Мистер Эндрюс. Ага, добрый день, рад вас всем! Как вы сегодня, миссис Шеллмунд? — поинтересовался он, приподнимая простыню, словно над спящим ребенком. — Дорогая, вы великолепно выглядите.

Миссис Шеллмунд в жизни не перемолвилась с ним ни единым словом: она неизменно казалась статным мраморным изваянием и передвигалась по улицам столь элегантно невозмутимой и ровной походкой, словно под юбками у нее были спрятаны роликовые коньки.

— Дорогая миссис Шеллмунд, — обратился к ней мистер Бенедикт, подтянув к себе стул и разглядывая ее через увеличительное стекло. — Известно ли вам, миледи, что у вас произошла закупорка сальных желез? При жизни вы выглядели восковой куклой. С порами просто беда. Жирная кожа провоцирует угри. Чересчур калорийная диета — вот причина всех ваших неприятностей. Перебрали мороженого, пирожного, трубочек с кремом. Вы всегда гордились своим умом,

миссис Шеллмунд, почитали меня мелкой сошкой — или того мельче, да-да. Но ваш великолепный драгоценный интеллект плавал в море парфе, шипучек, лимонадов и содовой; вы так заносились передо мной, миссис Шеллмунд, — ну и дождались теперь...

Мистер Бенедикт деловито приступил к операции. Произведя круговой надрез, он снял крышку черепа и вынул мозг. Затем зарядил кондитерский шприц и до краев наполнил пустую полость взбитыми сливками и мелкими леденцами в виде розовых, белых и зеленых полосок, ромбиков и звездочек, а на самом верху вывел розовым цветом затейливую надпись «СЛАДКИЕ ГРЁЗЫ», опустил черепную крышку на место, наложил швы и загримировал следы операции воском и пудрой.

— Так-то вот, — покончив с делом, заключил мистер Бенедикт.

Он перешел к следующему столу:

— Добрый день, мистер Рен, добрый день. Какживаете, проповедник расовой ненависти? А, мистер Рен? Чистенький, беленький, отстиранный мистер Рен. Чистехонек как снег, белехонек как лен — вот вы какой теперь, мистер Рен. Ненавистник евреев и негров. Меншинств, мистер Рен, меншинств. — Он стянул с трупа простыню. Мистер Рен взирал на него холодными стеклянными глазами. — Мистер Рен, взгляните на представителя меншинства. То есть на меня. Меншинства низших существ — не смеющих вякнуть лишний раз, громко заговорить, запуганных ничтожеств, пылинок под вашими ногами. Знаете, что я с вами собираюсь сделать, мистер Рен? Для начала, нетолерантный друг, давайте-ка выпустим из вас всю кровь.

Кровь вытекла.

— А теперь — инъекция бальзамирующей жидкости.

По венам белого как снег и чистого как лен мистера Рена потекла бальзамирующая жидкость.

Мистер Бенедикт давился от смеха.

Мистер Рен почернел: сделался чернее ночи, чернее грязи.

Бальзамирующей жидкостью были чернила.

— Приветствую вас, Эдмунд Ворт!

Что за тело было у этого Ворта! Могучее: крепкие мускулы, широкие кости, грудь колесом. Женщины теряли дар речи, когда он проходил мимо, мужчины глядели вслед с завистью и мечтали позаимствовать его тело хотя бы на ночь, явиться в нем домой и доставить жене приятный сюрприз. Однако тело Ворта неизменно оставалось его собственностью, и он пользовался им для таких удовольствий, что служил неизменной темой сплетен в среде всех городских любителей греха.

— Так или иначе, а вот он вы, — произнес мистер Бенедикт, удовлетворенно разглядывая простертое перед ним стройное тело.

На минуту он предался воспоминаниям о прошлом собственного тела. Некогда он подвергал себя опасности удушения с помощью устройства в дверном проеме, помещая под подбородком головодержатель и подтягиваясь вверх в надежде прибавить хотя бы дюйм к своей смехотворно приземистой фигуре.

В борьбе с мертвенной бледностью он часами пролеживал на солнце, но только обгорал, и куски кожи слезали с него струпьями, оставляя под собой влажную розовую, болезненно чувствительную пленку. А что

он мог поделаться со своими глазами и крохотным неровным ртом? Можно перекрасить дом, сжечь мусор, перебраться из трущоб, пристрелить родную мать, обновить гардероб, купить машину, разбогатеть, полностью сменить окружающую обстановку на новую. Но как раскинуть мозгами, если ты стиснут, будто кусок сыра в зубах у мыши? Мистера Бенедикта подвела собственная внешность: его тело, цвет лица, голос не давали ему ни малейшего шанса проникнуть в тот огромный сверкающий мир, где можно трепать дам за подбородки, целовать их прямо в губы, пожимать руки друзьям и угощать их ароматными сигарами.

Размышляя таким образом, мистер Бенедикт медлил над великолепным телом Эдмунда Ворта.

Он отрубил Вурту голову, пристроил ее в гробу на атласной подушечке носом кверху, далее уложил в гроб сто девяносто фунтов кирпичей, набил подушками черный костюм с белой сорочкой и галстуком для придания сходства с телом и накрыл его, вплоть до самого подбородка, покрывалом из голубого бархата. Иллюзия была полная.

Само тело мистер Бенедикт поместил в холодильную камеру.

— Перед кончиной, мистер Ворт, я оставлю особое распоряжение, чтобы мою отрезанную голову приладили к вашему телу и похоронили его вместе с ней. К тому времени я обзаведусь помощником, согласным за деньги на эту жульническую проделку. Если нельзя при жизни обладать телом, достойным любви, можно, по крайней мере, заполучить такое после смерти. Благодарю вас.

Он захлопнул дверцу за Эдмундом Вортом.

Поскольку в городе все более распространялся обычай хоронить покойников в закрытом гробу, крышку которого не снимали и во время службы, мистер Бенедикт получил широкие возможности для того, чтобы творить расправу над своими незадачливыми визитерами. Одних он укладывал вверх ногами, других — лицом вниз, третьих снабжал непристойным жестом. Он прямо-таки фантастически позабавился со старыми девами, которые спешили на чаепитие, а их автомобиль сплющило в лепешку. Это были известные сплетницы, вечно шушукавшиеся нос к носу о той или иной лакомой новости. Присутствовавшие на тройном погребении никогда бы не подумали (крышки с гробов не снимались), что все трое были кое-как втиснуты в одну домовину, голова к голове — вечно нашептывать друг другу застывшими ртами последнюю сплетню. Два других гроба были набиты галькой, гравием и трясью. Служба удалась на славу: все плакали.

— Трое неразлучных, разлученных смертью, — носилось сквозь рыдания.

— Вот-вот, — поддакнул мистер Бенедикт, вынужденный прятать лицо в горе, точно в платок.

Не обделенный жадой справедливости, мистер Бенедикт похоронил одного толстосума нагишом. А бедняка облачил в вышитую золотом ткань с золотыми пятидолларовыми монетами вместо пуговиц и положил на каждое веко по двадцатидолларовой монете. Юриста не стал хоронить вовсе: труп спалил в мусоросжигательной печи, а в гроб сунул хорька, пойманного как-то в лесу воскресным днем.

Старая дева, по которой отслужили заупокойную службу, пала жертвой чудовищной затеи. Под шелковой подстилкой были спрятаны части тела некоего старика. Дева покоилась в гробу, терпя надругательство:

холодные руки и прочие холодные органы втайне свершали с ней ледяной акт любви. На лице у покойницы проступал неподдельный ужас.

Так мистер Бенедикт бродил по покойницкой от тела к телу, обращаясь с речью поочередно ко всем накрытым простынями собеседникам, выкладывая им все тайны своей души. Последним на сегодня оказалось тело некоего Мерривелла Блайта — глубокого старика, подверженного коматозным приступам. У мистера Блайта не однажды констатировали смерть, однако всякий раз он оживал, не дождавшись преждевременного погребения.

Мистер Бенедикт стянул с лица мистера Блайта простыню.

Мистер Мерривелл Блайт захлопал глазами.

— Ох! — Мистер Бенедикт уронил простыню на прежнее место.

— Эй вы! — проскрипел голос из-под простыни.

Мистер Бенедикт обессиленно прислонился к столу, ноги у него подогнулись.

— Выпустите меня отсюда! — разнесся голос мистера Мерривелла Блайта.

— Вы живы? — вскричал мистер Бенедикт, отшвырнув простыню.

— Ну и ну, чего только я тут не наслушался за один только час! — жалобно заныл лежавший на столе старик, вращая побелевшими глазами, которые едва не вылезали у него из орбит. — Лежу себе, пальцем не могу пошевелить — и слушаю ваши речи! Ах ты мерзавец, негодяй отпетый, чудище, сатана с рогами, выпусти меня отсюда! Уж я расскажу и мэру, и городскому совету, и всем и каждому, какая ты темная личность! Сквернавец ты этакий, садист, подлый извращенец, гнусный паршивец — ну погоди, я всю, всю правду о

тебе выложу! — визжал старик с пеной на губах. — Выпусти меня отсюда!

— Нет! — Мистер Бенедикт рухнул на колени.

— Ах ты чудовище! — всхлипывал мистер Мерривелл Блайт. — Подумать только, какая жуть творилась у нас в городе, и никто даже не подозревал о твоих пакостях! Ах ты мерзкий мерзавец!

— Нет! — шептал мистер Бенедикт, пытаюсь подняться с колен и снова падая, парализованный ужасом.

— Надо же, чего только ты тут не болтал! И чего только не вытворял!

— Виноват, — шептал мистер Бенедикт.

Старик попробовал приподняться.

— Нет, нет! — Мистер Бенедикт ухватился за него.

— Пусти меня! — вопил старик.

— Нет! — твердо произнес мистер Бенедикт.

Он дотянулся до шприца и всадил иглу в руку старика.

— Эй вы! — дико взвыл старик, обращаясь к накрытым простынями фигурам. — На помощь! — Он бросил невидящий взгляд в сторону окна, за которым рядами располагались кладбищенские надгробия. — Вы тоже, там — под землей, помогите! Слышите? — Старик откинулся назад, со свистом втягивая воздух, на губах у него выступила пена. Он понимал, что умирает. — Слушайте, вы все! — бормотал он. — Он поглумился надо мной и над вами тоже, над вами всеми, глумился слишком жутко и слишком долго. Не терпите этого! Не позволяйте, ни за что не позволяйте, чтобы он продолжал над другими изгаляться! — Старик слизнул пену с губ, слабея на глазах. — Сделайте ему что-нибудь этакое!

Мистер Бенедикт, застыв на месте, потрясенно повторял:

— Они мне ничего не могут сделать, ничего. Говорю же вам, ничего.

— Восстаньте из могил! — хрипел старик. — Помогите мне! Сейчас, или завтра, или хоть когда, но восстаньте и расправьтесь с ним — с этим чудищем! — Из глаз старика ручьями полились слезы.

— Чушь! — еле-еле отозвался мистер Бенедикт. — Вы при смерти — и порете всякую чушь. — Мистер Бенедикт с трудом шевелил губами. Глаза у него были широко раскрыты. — А ну, давайте-ка помирать, да поживее.

— Вылезайте все! — голосил старик. — Все до единого! На помощь!

— Хватит трепать языком! — выдавил из себя мистер Бенедикт. — Не желаю больше ничего слушать.

В комнате внезапно потемнело. Спускались сумерки. Час был уже поздний. Старик из последних сил продолжал бессвязно что-то бубнить. Наконец улыбнулся и отчетливо проговорил:

— Немало они от тебя натерпелись, чудище ты это-кое! Но ничего, сегодня ночью они тебе припомнят. Старик умер.

По слухам, той ночью на кладбище прогремел взрыв. Вернее, даже несколько взрывов: разнесся странный запах, что-то металось, происходила какая-то неистовая борьба. Вспышки света, зигзаги молний, с неба обрушилась как будто бы дождевая влага, на колокольне гудели и бешено раскачивались колокола, сверху валились камни, бездушные предметы изрыгали проклятия и летали по воздуху, кто-то за кем-то гнался с визгом; в покойницкой сверкали огни, неясные фи-

гуры неуклюжими прыжками шныряли то внутрь, то за дверь, в окна вышибло стекла, двери сорвало с петель, а с деревьев листья; гроыхали железные ворота, а под конец показался бегущий мистер Бенедикт: он мчался со всех ног, а потом исчез, огни внезапно погасли — и темноту прорезал душераздирающий вопль, который мог испустить только сам мистер Бенедикт.

А потом — тишина. Мертвая тишина.

Наутро явились горожане. Обследовали покойницкую и церковь, а затем направились к кладбищу.

Всюду была только кровь — целое море крови, разбрызганной, расплесканной и разлитой всюду куда ни кинь взгляд, будто небеса кровоточили всю ночь напролет.

Мистера Бенедикта и след простыл.

— Куда бы он мог подеваться? — слышались вопросы.

— А кто его знает? — слышалось в ответ.

И ответ был получен.

В дальнем углу кладбища, под густой древесной сенью, рядами выстроились старинные, покосившиеся от времени надгробия со стертыми надписями. Птицы тут не пели. Солнечный свет, кое-как пробивавшийся сквозь плотную листву, походил на электрический — жалкий, слабый, неестественно театральный, гаснущий.

Кто-то, задержавшись у одного из старых надгробий, воскликнул:

— Взгляните-ка!

Прочие спутники подошли ближе и, склонившись над посеревшим, замшелым камнем, тоже не удержались от удивленных восклицаний.

На камне криво, судорожно, поспешно (процарапанная, скорее всего, ногтями) виднелась свежевыведенная надпись: МИСТЕР БЕНЕДИКТ.

— А гляньте сюда! — раздался новый возглас; все обернулись в ту сторону. — И на этом камне, и на этом, и на вон том тоже! — кричал селянин, указывая на пять других надгробий.

Компания разбрелась по кладбищу: всякий, взглядевшись в очередное надгробие, в ужасе от него отшатывался.

На каждой без исключения могильной плите, выцарапанное ногтями, красовалось одно и то же имя:

МИСТЕР БЕНЕДИКТ

Горожане потрясенно молчали.

— Но это же немыслимо! — слабым голосом уронил наконец кто-то из них. — Не может же он лежать сразу под *всеми* этими надгробиями!

Долгое время никто из присутствующих не в силах был шевельнуться. Под тенью деревьев, безотчетно уставившись друг на друга в нервном молчании, все ждали, кто заговорит первым. Наконец один из них непослушными, онемелыми губами спросил просто:

— А почему нет?

Гроб

(Поминки по живым)

*

Dime Mystery Magazine

Сентябрь 1947

Как только мне попалась метафора, рассказ следовал за нею сам собой. Придумав гроб, способный себя хоронить, вы можете развивать эту идею в самых различных направлениях. Можно отнести эту историю к разряду коротких рассказов, и вы получите добрых три десятка вариантов, точно? Так что я уверен: либо тогда, либо раньше я посмотрел мультфильм студии «Уорнер бразерс». Думаю, братья Уорнер сняли несколько мультфильмов с роботами, коробками, всякой-разной тварью. И возможно, там было некое подобие гроба — или не гроб, а коробка, — и я сделал следующий шаг.

*

Несколько дней не смолкал стук и грохот; торговцы доставляли различные металлические детали, которые мистер Чарльз Брейлинг в лихорадочном волнении уносил в свою маленькую мастерскую. Он был смертельно больной, умирающий человек и, терзаемый мучительным кашлем, торопился, судя по всему, собрать свое последнее изобретение.

— Что ты делаешь? — поинтересовался его младший брат, Ричард Брейлинг.

Уже несколько дней он, недовольный, все больше удивляясь, прислушивался к грохоту и теперь сунул голову в дверь мастерской.

— Иди-ка ты подальше и оставь меня в покое,— сказал Чарльз Брейлинг, которому стукнуло семьдесят и у которого почти все время дрожали руки и мокли губы.

Его трясущиеся пальцы сомкнулись на рукоятке, трясущийся молоток слабо стукнул по большой деревянной доске, приколотил к затейливому механизму узкую металлическую ленту, в общем, работа закипела.

Ричард медлил, глядя со злобным прищуром. Братья ненавидели друг друга. Ненависть существовала годами и не уменьшилась и не увеличилась оттого, что Чарли ступил одной ногой в могилу. Если Ричард вообще думал о грядущей смерти брата, то он ей радовался. Но эти судорожные хлопоты его заинтриговали.

— Объясни, по-хорошему прошу.— Ричард не уходил от двери.

— Ну, если тебе приспичило,— сердито бросил Чарльз, прилаживая к стоявшему перед ним ящику какую-то непонятную деталь.— На следующей неделе я умру, а теперь я... сколачиваю для себя гроб!

— Гроб, дорогой братец? Не больно-то это похоже на гроб. Гробы попроще будут. А ну, колись: что ты такое затеял?

— Говорю же, гроб! Не то чтобы обычный...— Старик покопошился дрожащими пальцами в просторном ящике.— Но все же гроб!

— Проще б было купить.

— Такого не купишь! Такие нигде не продаются. Это будет всем гробам гроб.

— Врешь ты все.— Ричард сделал шаг вперед.— В этом ящике добрых двенадцать футов длины. Шесть футов сверх нормального размера!

— Неужто? — Старик тихонько засмеялся.

— И эта прозрачная крышка; слыханное ли дело — гроб с прозрачной крышкой? Зачем трупу прозрачная крышка?

— Не забивай себе голову, — пропел старик. — Ляля! — Напевая себе под нос, он снова взялся за молоток.

— Глубокий, ужас просто. — Младший брат повысил голос, перекивая стук. — Больше пяти футов в глубину — зачем это нужно!

— Хотел бы я пожить еще немного, чтобы запатентовать этот удивительный гроб, — сказал старик Чарли. — Это было бы благословением для всех бедняков в мире. Подумай, насколько снизились бы расходы на похороны. Хотя ты, конечно, понятия ни о чем не имеешь? Что я за дурак. Но я тебе не расскажу. Если бы такие гробы поставить на поток... вначале они, конечно, будут дорогие... но дело дойдет до массового производства, и, да, это будет внушительная экономия средств.

— Пошел ты к черту! — Младший брат вылетел из мастерской.

Жизнь его была не сахар. У юного Ричарда, человека никчемного, монет в кармане никогда не водилось. Жил он на подачки старшего брата, Чарли, который не стеснялся время от времени его этим попрекать. Многие часы Ричард посвящал своим хобби; он увлеченно громоздил у себя в саду кучи винных бутылок с французскими этикетками. «Мне нравится, как они блестят», — объяснял он часто, сидя и прихлебывая, прихлебывая и сидя. Курить полудолларовую сигару так, чтобы пепел на ее конце долго нарастал, не опадая, — в этом Ричард был рекордсмен, не знавший себе равных во всем округе. Еще он умел держать руку под нужным углом, чтобы заиграли брильянты на пальцах.

Но ни вина, ни брильянтов, ни сигар он не покупал — нет, все это были подарки! Он никогда и ничего не покупал сам. Ему все приносили и давали. Даже писчую бумагу, и ту приходилось просить. Так долго побираться у брата, немощного старика, — это было самое настоящее мучение. Все, к чему прикасался Чарли, превращалось в деньги, Ричард же не преуспел ни в чем, на что пытался употребить свой досуг.

А теперь этот старый крот, Чарли, вот-вот откроет новое изобретение; его косточки, как монету в автомат, опустят в землю, а изобретение будет приносить ему новые доходы!

Прошли две недели.

Однажды утром старший брат с трудом вскарабкался по лестнице и утащил содержимое электрического фонографа. В другое утро он совершил налет на теплицу, вотчину садовника. После этого ему доставили посылку от одной компании, торгующей медицинским оборудованием. Под шарканье ног и перешептывания младшему брату оставалось только сидеть и держать неподвижно длинную сигару, чтобы с нее не свалился пепел.

— Мне конец! — крикнул старый Чарли на четырнадцатое утро и упал замертво.

Ричард докурил сигару, сдерживая внутреннее волнение, положил ее на стол (белесый пепельный кончик составил в длину добрых два дюйма — несомненный рекорд) и встал.

Подойдя к окну, он стал наблюдать, как блестят на солнце бутылки от шампанского, похожие на толстых жуков.

Ричард перевел взгляд на верхушку лестницы, где лежал, мирно простершись у перил, дорогой братец

Чарли. Потом пошел к телефону и небрежно набрал номер.

— Алло, морг «Зеленая лужайка»? Я звоню из дома Брейлинга. Пришлите, пожалуйста, носилки. Да. Для моего брата Чарли. Да. Спасибо. Спасибо.

Пока санитары укладывали Чарли на носилки, молодой Ричард давал им инструкции.

— Гроб обычный, — говорил он. — Погребальной церемонии не надо. Положите его в сосновый гроб. Ему бы хотелось именно так — как можно проще. До свиданья.

— Ага! — Ричард потер себе руки. — Посмотрим-посмотрим, что за домовину соорудил дорогой братец Чарли. Осмелюсь предположить, он не поймет, что его похоронили не в том гробу.

Он вошел в мастерскую, расположенную в нижнем этаже.

Гроб стоял перед распахнутым окном-дверью, закрытая крышка была полностью отделана, все детали аккуратно пригнаны, как внутреннее устройство швейцарских часов. Гроб был громадный, и покоился он на длинной-длинной подставке, снабженной роликами для маневрирования.

Сквозь стеклянную крышку Ричард увидел внутренность гроба, шести футов длиной. Получается, в голове и в изножье есть трехфутовые полости. Три фута с каждой стороны, закрытые потайными панелями, которые нужно отыскать и так или иначе открыть, а за ними обнаружится... что?

Конечно деньги. Очень похоже на Чарли: утащить свои богатства в могилу, не оставить Ричарду даже цента на бутылку. Старый мерзавец!

Ричард поднял стеклянную крышку и стал ощупывать стенки, но скрытых кнопок не нашел. Имелась

лишь маленькая этикетка, приклеенная к шелковой подбивке. Надпись чернилами на белой бумаге гласила:

«ЭКОНОМИЧНЫЙ ГРОБ БРЕЙЛИНГА

Авторское право зарегистрировано в апреле 1946 г.

Прост в обращении. Вниманию владельцев похоронных бюро, а также предусмотрительных клиентов: гроб пригоден к многократному использованию».

Ричард фыркнул. Кого надеялся Чарли одурачить? Но на этом надпись не кончалась:

«СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОСТО ПОМЕСТИТЕ ТЕЛО В ГРОБ».

Что за бред собачий. Положить тело в гроб! Ну да! А что же с ним делать еще? Внимательно рассмотревшись, он дочитал инструкцию:

«ПРОСТО ПОМЕСТИТЕ ТЕЛО В ГРОБ — И МУЗЫКА ЗАИГРАЕТ».

— Не может же быть... — Ричард уставился на этикетку. — Только не рассказывайте мне, что вся эта возня затеяна ради...

Через открытую дверь мастерской он вышел на мощенную плиткой террасу и кликнул садовника из теплицы:

— Роджерс!

Садовник высунул голову наружу.

— Который сейчас час? — спросил Ричард.

— Двенадцать, сэр, — ответил Роджерс.

— Так вот, в четверть первого ты приходишь сюда и проверяешь, все ли благополучно, Роджерс.

— Слушаю, сэр.

Ричард вернулся в мастерскую.

— Посмотрим... — спокойно проговорил он.

Лечь в гроб и испробовать его — какая в том беда? Он заметил по обе стороны вентиляционные отверстия. Даже если закрыть крышку, там будет воздух. А вскоре и Роджерс зайдет. ПРОСТО ПОМЕСТИТЕ ТЕЛО В ГРОБ — И МУЗЫКА ЗАИГРАЕТ. В самом деле, что за наивность со стороны Чарли! Ричард ступил в гроб.

Он почувствовал себя так, словно влезает в ванну. И на него, голого, кто-то смотрит. Он поставил в гроб начищенную туфлю, согнул колено, устроил ногу поудобней, проговорил несколько слов, ни к кому в частности не обращаясь, потом втянул внутрь другое колено, ногу и робко согнулся, словно боялся, что вода окажется не той температуры. Поерзав и тихо хихикнув, он лег и ради забавы представил себя покойником: собравшиеся проливают слезы, дымят свечи, весь мир замер из-за его кончины. Он расслабил мышцы лица, прикрыл глаза, пряча смех за сжатыми, подрагивающими губами. Сложил руки и стал внушать себе, что они восковые и ледяные.

Вжжж. Щелк! В стенке гроба послышался шорох.
Вжик!

Крышка над ним захлопнулась!

Если бы сейчас кто-нибудь вошел в комнату, он решил бы, что где-то в чулане беснуется сумасшедший: стучит, лягается и орет что-то нечленораздельное! Скачет туда-сюда. Колотится в стены туловищем и кулаками. Судорожно дышит, испуганно вскрикивает. Шуршит словно бы бумагой, свистит пронзительно, как много дудок разом. За криком, поистине душераздирающим, наступила тишина.

Ричард Брейлинг лежал в гробу и успокаивался. Он расслабил мускулы. Потихоньку захихикал. Пахло в гробу не то чтобы неприятно. Через отверстия поступало более чем достаточно воздуха, существованию ничто не угрожало. Что требуется, это не лягаться и не орать, а всего лишь легонько толкнуть вверх, и крышка откроется. Спокойствие. Он согнул руки.

Крышка была заперта.

Ладно, это тоже не опасно. Через пару минут явится Роджерс. Бояться нечего.

Заиграла музыка.

Источник звука находился где-то в головах гроба. Это была зеленая музыка. Органная музыка, очень медленная и печальная, близкая готическим аркам и длинным черным свечам. Она пахла землей и шепотами. Отзывалась высоко в каменных стенах. Она была такая гнетущая, что хотелось плакать. Это была музыка комнатных растений и ало-голубых витражных окон. Это было закатное солнце и холодный ветер. Это был рассвет, с одним лишь туманом и отдаленным плачем сирены, что сигналил в тумане кораблям.

— Чарли, Чарли, Чарли, а ты старый дурень! Так вот он какой, твой диковинный гроб! — От смеха на глазах у Ричарда выступили слезы. Гроб, самостоятельно исполняющий погребальную мелодию, только и всего. — Фу ты ну ты!

Он лежал и внимательно слушал, все равно приходилось ждать, пока явится Роджерс и освободит его. Глаза Ричарда бесцельно блуждали, пальцы легонько отбивали ритм по шелковым подушкам. Он небрежно скрестил ноги. Через стеклянную крышку он видел, как плясали пылинки в солнечных лучах, лившихся в окно-дверь. День стоял ясный.

Началась проповедь.

Органная музыка стихла, и чей-то благодный голос произнес:

— Мы собрались здесь все вместе, люди, знавшие и любившие покойного, дабы отдать ему дань уважения и заслуженных...

— Чарли, чтоб тебя, да это твой голос! — Ричард пришел в восторг. — Автоматизированные похороны, ей-ей. Органная музыка, надгробное слово. И производит его сам Чарли!

Мягкий голос продолжал:

— Мы, знавшие его и любившие, опечалены кончиной...

— Что это?

Ричард испуганно привстал. Он не верил собственным ушам. Повторил про себя услышанное: «Мы, знавшие его и любившие, опечалены кончиной Ричарда Брейлинга».

Именно это и было сказано.

— Ричард Брейлинг, — проговорил человек в гробу. — Но ведь Ричард Брейлинг — это я.

Оговорка, понятное дело. Оговорка, только и всего. Чарли хотел сказать — «Чарльза Брейлинга». Верно. Да. Конечно. Да. Верно. Да. Понятное дело. Да.

— Ричард был прекрасным человеком, — продолжал голос. — Подобных мы больше не встретим.

— Опять мое имя!

Ричард беспокойно зашевелился в гробу.

Ну где же застрял Роджерс?

Имя прозвучало дважды — едва ли это ошибка. Ричард Брейлинг. Ричард Брейлинг. Мы собрались здесь. Нам будет не доставать... Мы скорбим. Прекрасным человеком. Подобных мы больше не встретим. Мы собрались здесь. Усопший. Ричард Брейлинг. *Ричард Брейлинг.*

Вжжж-ж. Щелк!

Цветы! Их выпрыгнуло из-за гроба, на потайных пружинах, целых шесть дюжин — ярко-голубых, красных, желтых, ослепительных, как солнце!

Гроб наполнился нежным запахом свежесрезанных цветов. Цветы легонько покачивались перед его изумленным взглядом, неслышно стукались о стеклянную крышку. Они выскакивали новые и новые, пока гроб не затопило лепестками, красками, нежными запахами. Гардении, георгины, нарциссы, трепещущие, горящие.

— Роджерс!

— ...Ричард Брейлинг был знатоком роскоши...

Музыка вдали вздыхала то громче, то тише.

— Ричард Брейлинг вкушал жизнь, как вкушают аромат редкостного вина, поднося его к губам...

Сбоку раскрылась со щелчком небольшая дверка. Оттуда выскочила стремительная металлическая рука. Ричарду в грудь вонзилась игла, но не очень глубоко. Он вскрикнул. Не успев схватить иглу, он получил инъекцию цветной жидкости. Игла спряталась в нишу, дверка захлопнулась.

— Роджерс!

Тело немело. Внезапно он осознал, что не способен шевельнуть рукой, пальцем, повернуть голову. Ноги были холодные и бессильные.

— Ричард Брейлинг любил все красивое. Музыку, цветы,— говорил голос.

— Роджерс!

Но позвать вслух на этот раз не удалось. Он смог только подумать. Его язык был скован анестетиком.

Открылась еще одна дверца. Показалась стальная рука с держателем. Левое запястье Ричарда пронзила огромная сосущая игла.

Она стала откачивать кровь.

Где-то жужжал насосик.

— ...Нам будет не хватать Ричарда Брейлинга...

Орган всхлипнул и забормотал.

На Ричарда смотрели сверху цветы, наклоняя головки с яркими лепестками.

Из потайных ниш поднялись шесть тонких черных свечей и встали позади цветов, горя мигающим пламенем.

Включился второй насос. Пока слева вытекала кровь, в правое запястье воткнулась игла, и насос начал накачивать в Ричарда формальдегид.

Уф... пауза, *уф...* пауза, *уф...* пауза, *уф...* пауза.

Гроб задвигался.

Застучал и захлопал моторчик. Стены мастерской поехали прочь. Колесики гроба завертелись. Нести его не требовалось. Цветы тихонько соскользнули с крышки на террасу, под чистое голубое небо.

Уф... пауза, *уф...* пауза.

— ...Будет не хватать Ричарда Брейлинга...

Нежная тихая музыка.

Уф... пауза.

— Ах, жизни таинство благое мне...— Пение.

— Брейлинг, гурман...

— Ах, тайну сущего я наконец...

Глядит, глядит слепыми глазами, уголками глаз на маленькую этикетку: *Экономичный гроб Брейлинга...*

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОСТО ПОМЕСТИТЕ ТЕЛО В ГРОБ — И МУЗЫКА ЗАИГРАЕТ.

Над головой проплыло дерево. Гроб легко прока-
тился по саду, за кустами, неся с собой голос и музыку.

— Настало время предать земле то, что было в нем
бренного...

По сторонам гроба выскочили блестящие лопаточки.

Начали рыть.

Ричард видел, как они отбрасывали землю. Гроб опустился. Дернулся. Опустился. Заработали лопатки. Дернулся. Опустился. Заработали лопатки. И так снова и снова.

Ух, пауза, ух, пауза. Уф, пауза, ух, уф, пауза.

— Прах к праху, персть к персти...

Цветы затряслись. Гроб был глубоко. Музыка играла.

Последним, что видел Ричард Брейлинг, были руки-лопатки Экономичного гроба Брейлинга: они взметнулись кверху и потянули за собой дыру.

— Ричард Брейлинг, Ричард Брейлинг, Ричард Брейлинг, Ричард Брейлинг, Ричард Брейлинг...

Запись остановилась.

Возражать было некому. Никто не слушал.

Срок

*

Weird Tales

Июль 1947

Не помню, о чем это. Самый что ни на есть нездоровый рассказ. Нездоровый рассказ нездорового автора, и я не хочу иметь с ним ничего общего. Ха-ха!

*

Шорох побежал по пределу из конца в конец; а предел был невелик: с востока и запада ограничен тополями, сикаморами, большими дубами и кустарником, а с севера и юга — кованым железом и кирпичной кладкой. И вот по этому пределу, из одного конца в другой, незадолго до рассвета побежал шорох. Одинокая птишка, собравшаяся было запеть, смолкла, а под землей возник ритмичный гул и неясный шепот.

Гробы, обитель тех, кто нем и недвижим, упрятанные глубоко в земле и разделенные ее толщей, сотрясались от медленных ударов. Их крышки и боковины откликнулись глухими мерными биениями. Звук распространялся в земле. Сигналы зародились в одном из темных вместилищ, достигли следующего, где их повторила, медленно и устало, другая усталая, иссохшая рука. Так оно и продолжалось, пока все обитатели кладбищенских глубин не услышали и не начали понимать.

Со временем звуки слились в стук одного большого сердца. На востоке зазел небосклон, а пульсации не умолкали. Птица на дереве выжидающе склонила голову с глазами-бусинками. Сердце билось.

— Миссис Латтимор.

Это выговорили, медленно и натужно, биения сердца.

(Миссис Латтимор была женщина, похороненная год назад в северном конце, под мшистым деревом; она вот-вот должна была родить — помните? Какая же она была красавица!)

— Миссис Латтимор.

Речь сердцебиений звучала глухо и отдаленно под плотным дерном.

— Вы, — послышался растянутый вопрос сердцебиений. — Слышали, — спросили они устало. — Что, — спросили они. — С нею, — продолжили они и заключили: — Происходит?

Последовала выразительная пауза. И тысячи хладных обитателей тысяч глубинных вместилищ стали ждать ответа на вопрос, заданный посредством медленных-медленных пульсаций.

За отдаленными голубыми холмами показался краешек солнца. Лили холодное сияние звезды.

И вот размеренная, неспешная череда глухих си-столических стуков сложилась в ответ. И дрогнул предел, и повторял ответ снова и снова, удар за ударом, пока не сменила его испуганная, упрятанная под землю тишина.

— Миссис Латтимор.

Глубинная пульсация.

— Сегодня.

Медленно, медленно.

— Родит ребенка.

И быстрое, изумленное стаккато, как будто тысячи рук забарабанили в крышки, истерически вопрошая:

— Что же это будет? Как такое возможно? На что это будет похоже? Почему? Почему? Почему?

Стук затих. Встало солнце.

Глубоко внизу, под пение птицы, глубоко под камнем, где сделалось различимым имя миссис Латтимор, что-то закопошилось и заворочалось, и в окруженном сырой землей ящике зародился непонятный звук.

Попрыгунчик

*

Avon Fantasy Reader

№ 17, 1951

В основе рассказа лежит впечатление из жизни. Тот дом, по правую сторону от оврага, на Вашингтон-стрит в Уокингоне. Каждый день по дороге в школу я проходил мимо его заднего фасада, полускрытого деревьями, и гадал, кто там живет. Что за странную жизнь ведут его обитатели... и есть ли там дети? Они не попадались мне ни разу. Однако я ходил мимо: в школу одной дорогой, из школы — другой, по дну оврага, глядел вверх, и там был этот дом. И у меня разыгрывалось воображение. Я не видел ни души, но мне приходили мысли: «А что, если бы я был обитающим в доме мальчиком, а что, если жильцы так же думают о внешнем мире, как я — о внутренности дома?» Иными словами, им кажется, что внешний мир пуст, как мне кажется, что внутри никого нет.

*

Вообразим себе Попрыгунчика в шкатулке: он заперт в тесное пространство, скрючен, голову придавливает крышка. О, как мучительно хочется пружинам распрямиться и — бац! — вытолкнуть Попрыгунчика из шкатулки, но нет, он все так же напряжен и все так же в плену. Крышка заперта, и тринадцать лет зверек сидит в ловушке. Он ничего не знает о наружном Море, но чувствует, что тот существует; об этом ему говорят не глаза, не уши, не нос, не кожа, об этом говорит чувство, зародившееся просто потому, что зверек

так долго томился взаперти. Так или иначе, вот он, Попрыгунчик, скрюченный, придавленный, на нервном взводе, головой упирается в запертую крышку и ждет, ждет, ждет, чтобы им выстрелили, как из пушки.

Эдвин стоял и глядел в окно. И не видел за деревьями ничего. Деревья окружали дом, а дом окружал Эдвина. Если он пытался разглядеть за ними наружный Мир, они в тот же миг густели: нечего, что за дурацкая мысль взбрела тебе в голову.

Подобным манером Эдвин глядел в окно каждое утро.

Сзади слышалось нетерпеливое, нервное дыхание Матери: она пила кофе. Она звякнула ложкой в опустевшей чашке.

— Эдвин, хватит глазеть. Садись за стол!

— Нет,— ответил он, сам не зная почему.

За спиной послышался шорох. Мать резко обернулась, словно ее ударили.

— Что это тебе вздумалось? Завтрак на столе, так ведь? Или окно лучше?

— Ага, лучше.

Эдвин прижал нос к стеклу, лихорадочно выискивая за окном хоть какие-нибудь признаки жизни. Он выискивал их за деревьями уже тринадцать лет, но ни разу не находил. Только слышал неопределенные шумы.

— Лучше,— повторил он шепотом.

Но в конце концов он отвернулся и взялся за завтрак: безвкусные абрикосы и гренек. Наедине с Матерью, каждое утро, уже пять тысяч завтраков. Тринадцать лет одно и то же, и за деревьями ни малейшего шевеления, а любопытство растет.

Оба ели молча.

Она была из тех бледных женщин, каких видишь в сводчатом окне на третьем этаже старинного дома: по утрам в девять, днем в час и в четыре, вечером в восемь, а также, если случится вдруг пройти мимо ночью, то и в три ночи; она стоит там молчаливая и белолицая, спокойная, одинокая на своей верхотуре. Словно минуешь заброшенную оранжерею, где тянет головку к лунному свету последний белый полевой цветок.

А ее сын, Эдвин, был как чертополох, цвет которого облетает под твоим дыханием в пору чертополоха. Волосы его были шелковые, глаза вечно беспокойные, светившиеся синим накалом. Словно бы он видел призраков. Или плохо высыпался. Скажешь нужное слово — и он разлетится, как заряд конфетти из хлопушки.

И вот они сидели за завтраком. Он, как обычно, снедаемый лихорадкой, она, как всегда, с неживой душой, где лишь изредка вспыхивали искры.

Она заговорила, сперва медленно, потом очень быстро и раздраженно, чуть не плюясь:

— С какой стати ты каждое утро меня не слушаешься? — кричала она. — Не желаю я, чтобы ты глазел в окно, не желаю, и все тут. Слышишь, не желаю! Чего ты хочешь? Хочешь увидеть Их? — Ее пальцы конвульсивно задергались. Мать была ослепительно красива, как сердитый белый цветок. — Хочешь видеть Тварей, что шныряют по дорогам и топчут людей, как землянику? Вот чего ты хочешь?

Да, подумал Эдвин, хочу видеть Тварей, какие бы они ни были жуткие.

Но он промолчал.

— Хочешь выйти на улицу? — напирала она. — Выйти, как твой Отец, когда тебя еще не было на свете,

чтобы тебя раздавили на дороге эти жуткие Твари, вот чего тебе хочется? Отвечай!

Эдвин уставился в пол.

— Нет, мама.

— Разве тебе мало, что так погиб твой Отец? Мало, что они его убили? Как вообще тебе в голову приходят мысли об этих Чудовищах? Сколько я должна тебе повторять? — Она шагнула к двери. — Но конечно, если тебе действительно вздумалось умереть, то вперед. Пусть тебя убьют.

Мать успокоилась, только пальцы все еще дергались.

— Этот Мир построил твой Отец, построил с начала до конца. Он был доволен этим Миром, будь доволен и ты. За деревьями нет ничего, только смерть, и я не хочу, чтобы ты высовывал нос за порог. Помни, это место и есть Мир. Другого нет, и думать забудь!

Эдвин с несчастным видом кивнул.

— Никогда больше так не поступай, — сказала Мать. Она молча принялась за еду, но вскоре подняла взгляд. — Я тебя прощаю. Ты был просто дурачок: решить, что за деревьями есть что-то интересное. Ну, улыбнись и доедай гренок.

Он тихо принялся за еду, тайком разглядывая в ложке отражение окна. Прошло долгое время, пока он поднял глаза.

— Мама? — начал он робко.

— Да? — насторожилась Мать.

— А что такое... — Он не смог выговорить. Сглотнул. — Что такое... умереть? Ты об этом все время твердишь, но что это такое? Чувство?

— Для тех, у кого кто-то умрет, да, это чувство, очень плохое чувство. — Она решительно встала. — Хватит болтать, опоздаешь в школу. Бегом!

Схватившись за учебники, Эдвин поцеловал ее:

— Пока!

— Передай привет Учительнице! — крикнула она ему в спину.

Он стремглав кинулся прочь. Вверх по бесконечным лестницам. По коридорам и залам, мимо окон, походивших в темной галерее на ряд водопадов. Выше и выше через слоистый торт Мира, с глазурью восточных ковров и горящими свечами на верхушке.

С одной из высоких лестниц он посмотрел вниз, пронзая взглядом четыре слоя Мира.

Нижние земли: кухня, столовая, гостиная. Срединные земли музыки, игр, картин и запертых, запретных комнат. И здесь (Эдвин обернулся и огляделся) Верхние земли приключений, пикников, учебы. Здесь он, бродя по комнатам, припрыгивая, напевая одинокие детские песни, совершал неблизкое путешествие к Учительнице.

Это был его Мир. Эти горы из оклеенной обоями штукатурки воздвиг в давние времена Отец (или Бог, как часто называла его Мать). Тут были угорья лестниц, леса перил. Это был Мир Отца-Бога; звезды на небосклоне зажигались от стенного выключателя. А солнце было Матерью, и Мать была солнцем, центром, вокруг которого весь этот Мир всегда вращался. И Эдвин, подобно маленькому темному метеору, бороздил ковровые и гобеленные пространства этого Мира. Сновал туда-сюда по обширным лестницам, гуляя или исследуя окрестности.

Да, это был его Мир, зачарованные прямоугольные страны, границы из полированного дерева с прибитыми на них планками. Неизвестные земли, необжитые земли, а то и земли прикровенные.

Иногда они с Мамой устраивали пикник на Верхних землях: забирались на верхнее плато дома и на-

крывали снежной скатертью персидский ковровый луг с разноцветьем трав по красному туфу основы и пировали под хмурыми, недовольными взглядами старинных портретов. Цедили воду из серебряных кранов в потайных, отделанных плиткой нишах, лихо, словно соревнуясь, били о стену бокалы. Играли в Прятки, и однажды она нашла его на четвертом этаже у окна, завернутым, как мумия, в занавеску. В другой раз он заблудился и бродил часами по нездоровой пыльной местности, в окружении эха и зачехленной мебели. Но в конце концов она его нашла и сквозь слои и пласты земель вернула в привычную Гостиную, где каждая частичка пыли правильна и привычна, как снежинки.

Эдвин взбежал по лестнице.

Здесь были двери, куда можно стучаться, тысячи тысяч дверей, в большинстве запертые и запретные. Были перила, манившие соскользнуть по ним вниз. Были дамы Пикассо и джентльмены Дали; они беззвучно прикрикивали на него со своих полотен-убежищ и грозно сверкали золотистыми глазами, когда он слонялся поблизости.

— Вот такие Твари водятся там, снаружи,— сказала однажды мать, указывая на дали-пикассовских персонажей в рамах.

Нынче он на бегу показал им язык.

И тут он остановился.

Одна из заповедных дверей была открыта.

В проем проникали косые солнечные лучи, от которых сделалось тепло и тревожно.

Он взялся за шарообразную ручку и стал ее покручивать. Заглянул внутрь. За дверью стояла винтовая лестница, ее спираль вела к солнцу и тишине. Глаза Эдвина метнулись, как птицы, по закрученной траектории к запретным, осиянным солнцем высотам.

Не раздумывая, Эдвин уронил книги, ринулся туда и стал накручивать круг за кругом, пока не заломило в коленках, не стеснилось дыхание и не застучал в голове колокол. Но вот головокружительный подъем кончился, вокруг была залитая солнцем башня, а за окнами — новый Мир!

— Это оно! — выдохнул Эдвин, лихорадочно перебегая от окна к окну. — Это оно!

Окна располагались выше мрачной завесы деревьев. Впервые за тринадцать лет затворничества Эдвин смотрел поверх каштанов и вязов; повсюду, насколько хватало глаз, зеленели трава и деревья, лежали белые ленты, по которым бегали жуки, другая же половина мира была голубая, бескрайняя, с солнцем в самой середине, и походила она на голубую комнату невероятной глубины. Среди такого простора у Эдвина закружилась голова, он, вскрикнув, оперся о подоконник и разглядел далеко за деревьями, за белыми лентами, по которым бегали жуки, некое подобие вертикально поднятых пальцев, однако никаких дали-пикассовских тварей нигде не было. И еще плескались на слабом ветру красно-бело-синие платки, привязанные к высоким белым шестам.

Голова кружилась все сильнее. Вверху, по вечной голубой комнате, поползла большая белая масса, со скоростью пули, пронзительно крича, носились птицы.

Повернув назад, он едва не свалился с лестницы. Когда он захлопнул за собой запретную дверь, послышался щелчок замка. Эдвин привалился к двери.

— Ты ослепнешь, — сказал он себе, вздрагивая и закрывая руками глаза. — Тебе нельзя было, а ты посмотрел. Теперь ты ослепнешь!

В зале, судорожно дыша, он ждал, что ослепнет.

Вскоре он смотрел уже в обычное окно Верхних земель и видел только привычный ему Мир — высокие стены вязов, каштанов и орешника-гикори, каменную ограду обширного сада, расположенного внизу. Ему всегда казалось, что лес — это стена, за которой нет ничего, кроме ужаса, пустоты и Существ. Теперь он знал, что его Мир не кончается стеной. В Мире есть много чего сверх Континента Кухни, Архипелага Гостиной, Полуострова Учебы, Зала Музыки (ему слышался голос Матери, отчетливо выговаривающий все эти умные названия мест).

Эдвин снова подергал запертую дверь.

Вправду ли он побывал наверху? Может, это был сон? Не привиделся ли ему этот необъятный, наполовину зеленый, наполовину голубой простор?

А если Бог видел его поступок? Эдвин содрогнулся. Бог, построивший этот дом, бревно за бревном. Бог, который курил таинственную черную трубку и держал магическую блестящую тросточку для прогулок. Бог, который создал Эдвина и этот Мир, Бог, который, быть может, наблюдает за Эдвином и сейчас.

Он огляделся.

— Я не ослеп,— проговорил он благодарно.— Я все еще не ослеп.

В половине десятого, спустя добрых полчаса, он постучался в дверь Школы.

Дверь распахнулась.

— Доброе утро, Учительница.

Учительница Гранли посторонилась.

— Ты опоздал, Эдвин.

— Простите.

Учительница выглядела как обычно. На ней были серебряные очки и серые перчатки.

— Входи,— пригласила она.

За нею, в отсветах камина, лежала страна книг. Стены, сложенные из книг, и камин, такой просторный, что в нем можно встать в полный рост, и пылающее полено, чтобы не мерзнуть.

Дверь за взволнованным мальчиком закрылась.

Здесь бывал Бог. Некогда он сидел за этим вот столом. Ходил по этому полу, трогал эти книги. Набивал табаком эту трубку, раскуривал. Стоял и глядел в то окно. Это была комната Бога, и она хранила его запах — в начищенном дереве, в кожаном кисете, в серебряных шпорах.

Лицо Эдвина сделалось бледной спокойной маской.

Здесь сердце у него начинало биться размеренней. Здесь он отдыхал. Голос Учительницы пел, как арфа, о Боге, о прежних днях, о Море, о том, как перевернула его решительность Бога, потряс Его ум. Учительница рассказывала о тех днях, когда Его пальцы наметили на бумаге остов Мира; карандашная черточка тут, твердое слово там, краткие наметки, а дальше — бревна, гвозди, штукатурка, обои, хрусталь. На карандашиках под стеклом все еще хранились отпечатки Его пальцев. Учительница никогда их не касалась. «Эти отпечатки нужно хранить!» — говорила она.

Здесь, на Верхних землях, Эдвин изучал, чего ждут от него и от его организма. Он должен вырасти в Нечто. Должен пахнуть, как Бог, говорить, как Бог; однажды он, высокий, темный, бледный от злобы, встанет у окна и огласит весь дом своим криком. Ему предстоит самому сделаться Богом, и ничто не должно этому помешать. Ни небо, ни деревья, ни Твари за деревьями.

Учительница скользила по комнате, как туман.

— Почему ты опоздал, Эдвин?

— Не знаю.

— Я повторяю: почему ты опоздал?

— Потому что. — Чтобы не смотреть на Учительницу, он уставился в пол. — Я нашел дверь. Она была открыта. Одна из тех, куда нельзя.

— Дверь!

Учительница Гранли растерянно рухнула в большое резное кресло; очки ее поблескивали, отражая свет камина. Внезапно взгляд ее сделался беспокойным, словно она поняла или почти поняла, но испугалась.

У Эдвина в глазных впадинах собирались капельки пота.

— Да, я вошел, — произнес он тут же, торопясь с этим покончить.

— Я не сделаю тебе ничего плохого, — сказала она. — Ничего плохого не сделаю. Скажи только, которая дверь, где. Такого не должно быть, чтобы она стояла открытой.

Они всегда были друзьями. Неужели дружбе пришел конец? Он все испортил? У Эдвина защипало в глазах.

— Дверь рядом с дали-пикассовскими. Там был солнечный свет и ступени, и я забрался наверх. Простите, я виноват, очень виноват, — взмолился он несчастным голосом. — Не говорите маме, пожалуйста, пожалуйста!

Учительница сжалась в кресле, лицо ее тонуло в сером капюшоне, только слабо поблескивали очки.

— И что ты видел? — спросила она.

— Большую голубую комнату.

— Правда?

— И зеленую! И ленты! — Он старался говорить небрежным тоном, но каждым словом выдавал свое волнение и любопытство.

— Ленты?

— Ленты, а по ним бегали жуки. Вроде божьих коровок, что ползали у меня по руке.

— И по лентам бегали жуки,— повторила она, словно это была последняя соломина.

От ее тона наворачивались слезы. Она как будто потеряла что-то очень ценное. Эдвину хотелось, чтобы она повеселела.

— Но я там был совсем недолго,— торопливо заверил он.— Я сразу сошел вниз, захлопнул дверь и сам запер. И больше я наверх не собираюсь!

— Правда? — От губ, слабо шевелившихся в глубине капюшона, исходило недоверие.

— Правда-правда.

— Но ты видел,— усталым голосом произнесла Учительница,— и теперь захочешь увидеть больше.

— Мэм?

Она помотала головой. Потом склонилась и задала вопрос, на который, судя по тону, хотела получить отрицательный ответ:

— И... тебе понравилось то, что ты увидел?

— Мэм?

— Голубая комната, дитя, голубая комната, она тебе понравилась?

— Не знаю.— Он забеспокоился, стараясь не думать. Но потом ему пришлось на ум решение, выход.— Я испугался.

У Учительницы явно отлегло от сердца.

— Да?

— Да. Она была такая *большая*!

— Она и вправду большая, Эдвин, слишком большая, неудобная, не то что этот мир, и там не знаешь, чего ожидать, Эдвин, запомни.

— Хорошо,— задумчиво отозвался Эдвин.

— Но зачем же ты взобрался по лестнице, зная, что в дверь нельзя входить?

Он знал ответ, но, трепеща, все же скрыл.

— Не знаю.

— Но причина должна быть.

Огонь расцвел, увял и снова расцвел в камине; Учительница Гранли ждала долгих десять секунд. Под конец он сунулся в небольшой тайничок у себя в мозгу, извлек оттуда причину и, не глядя на Учительницу, очень тихо проговорил:

— Мама.

— Твоя мать? Она тебя... огорчает?

— Не знаю, о, не знаю,— заныл он. Лучше всего будет, пожалуй, поплакать, поделиться с кем-то и на этом успокоиться.— Она... она...— выдохнул он и сиротливо обхватил прижатые к животу колени.— Она странная, совсем странная.

— Нервная?

— Да, да.

— Раздражительная, требовательная, строгая, нетерпеливая — такая?

Не в бровь, а в глаз. Эдвин не стал противоречить.

— Да.

Это был ужасный грех, допустить такие мысли о своей матери, и он, хныкая, закрыл лицо руками и плакал и кусал пальцы, пока они не сделались мокрыми и липкими. Однако слова эти произнес не он, их произнесла она, а ему осталось только соглашаться и рыдать:

— Да, да, о да!

— Она странно суетится, так? Прикрикивает на тебя, глаз не спускает? А тебе иногда хочется... побыть одному?

Да, все так! Как ни печально, ведь он любил Мать всей душой!

— И поэтому тебе хочется убежать подальше? Ей нужно знать каждую твою мысль, контролировать каждый поступок?

Можно было подумать, Учительница прожила миллион лет.

— Мы учимся,— устало проговорила она, обращаясь к себе. Порывисто вскочив с кресла, пошла к столу (серое одеяние колыхалось и шелестело на ходу), взяла карандаш и бумагу и начала писать.— Мы учимся, но, боже мой, медленно и очень трудно. Думаем, что делаем все правильно, и при этом постоянно губим свой план.— Она быстро подняла глаза. Перехватила любопытный взгляд его мокрых глаз.— Ты растешь? — проговорила она не столько вопросительно, сколько веско-утвердительно. Она закончила записку.— Отнеси это маме. Тут сказано, чтобы она каждый день на два часа отпускала тебя порезвиться, где тебе вздумается. Но только не за порогом дома.— Она замолчала.— Ты меня слушаешь, дитя?

Эдвин вытер слезы.

— Учительница, мама мне врала? О том, что снаружи, и о Тварях?

— Посмотри на меня.— Он посмотрел. Она чуть сдвинула свой капюшон.— Я была тебе другом и ни разу тебя не шлепнула, а твоей матери иногда приходилось. Но обе мы здесь затем, чтобы помочь тебе понять. Мы не хотим, чтобы ты погиб, как погиб Бог.

Отблеск камина омыл ее лицо.

У Эдвина вырвался судорожный вздох.

Лицо было знакомое. Черты размыты светом камина, но видны.

Она походила на его мать!

Сердце подпрыгнуло у него в груди.

Она заметила его волнение.

— Ты что-то хотел сказать?

— Свет.— Он посмотрел на огонь и вновь на ее лицо, под его взглядом капюшон дернулся, лицо исчезло в черноте.— Вы похожи на маму. Я, наверное, глупости говорю.

Она быстро подошла к книжным полкам, взяла книгу.

— Ты же знаешь, женщины все похожи друг на друга,— сказала она, теребя книгу.— Не думай об этом.— Она дышала учащенно.— Вот.— Протянула ему книгу.— Читай первую главу этого Дневника.

Эдвин стал читать. Огонь гудел и пускал искры в дымоход, серый капюшон, вернувшийся на место, спокойно кивал, лицо в нем походило на язык в торжественном колоколе. Пламя камина высветило тисненую фигурку животного на какой-то из книг. Страницы этих книг подверглись цензуре: иные порезаны бритвой, иные вырваны, строчки зачеркнуты чернилами или стерты, уничтожены все картинки. Книги заклеенные, книги, запертые в бронзовом футляре — а то Эдвин увидит, прочтет, поймет. Он читал из Дневника:

«Вначале был Бог, создавший Мир, со всеми его коридорами, комнатами, низинами и нагорьями. Себе на радость, собственными руками, Он произвел на свет любящую жену и, много позднее, отпрыска Эдвина, которому было назначено по прошествии лет и самому сделаться Богом...»

Учительница кивала, Эдвин читал дальше.

Он спустился по перилам и, запыхавшись, вбежал в Гостиную.

— Мама!

Мать лежала в пухлом красно-коричневом кресле, похожая на изделие из костяного фарфора. Она тяжело дышала и обливалась потом, как после пробежки.

— Мама, ты вся мокрая!

— А, привет. — Она глядела укоризненно, словно по его вине спешила и вспотела. — Ничего, ничего. — Она притянула его к себе и расцеловала. — Прости, дорогой. Я нехорошая. А у меня для тебя сюрприз. Скоро твой день рождения!

— Уже? Прошло всего десять месяцев.

— Все равно, завтра у тебя праздник. Да свершится чудо. Я так говорю. А все, что я говорю, правда, мой дорогой.

— И мы откроем еще одну комнату? — Эдвин был ошеломлен.

— Четырнадцатую! А на следующий год — пятнадцатую, и так до двадцать первого дня рождения, когда мы откроем самую важную комнату и ты станешь хозяином Дома, Богом, Отцом, Повелителем Мира!

— Ура! — Он подкинул вверх книги.

Они с Матерью засмеялись. По всем континентам пробежало эхо, зазвенела хрустальная посуда.

Эдвин лежал в постели, на которую падал лунный свет. За открытым окном находился край Мира. За ним — мир голубой и зеленый, где жили Злобные Душегубы.

Завтра предстояло праздновать его день рождения. Почему? Разве он был хорошим мальчиком? Нет. Ну и почему? Оттого что... было тревожно. Да. Вот именно. День рождения был нужен, чтобы развеселиться и успокоиться.

Эдвин предвидел, что теперь дни рождения будут случаться все чаще. Дела в доме запутывались. Пружина сжималась. Мать смеялась делано и слишком часто, ее глаза сверкали диким блеском.

А Учительницу пригласим? Нет! Они с мамой никогда не встречались.

— Почему нет, Мама?

— Потому.

— А вам не хочется встретиться с Мамой? — спросил он Учительницу.

— Потом когда-нибудь.

Куда Учительница уходит по вечерам? В какую-нибудь из тайных комнат? Эдвин посмотрел на стену деревьев. Вряд ли.

Его глаза закрылись.

В прошлом году, когда в доме стало тревожно, мама тоже передвинула его день рождения.

Как-нибудь ночью, мечтал он, я отправлюсь на Верхние земли и посмотрю, вправду ли Учительница сидит там все время.

Подумай о чем-нибудь другом. Бог. Бог, который построил эту Страну. Подумай о Его Смерти, о том часе, когда Его раздавило из зависти металлическое чудище на бетонной дороге.

Не иначе, Мир всколыхнулся, когда Он умер.

Однажды и я стану Богом. Мама так говорит.

Эдвин заснул.

Утром внизу зазвучали веселые голоса. Они доносились и из комнат, и из двора. Эдвин прислушивался у запертой снаружи двери; по праздникам она всегда бывала закрыта, пока голоса не смолкнут. Эдвин нахмурился. Чьи это голоса? Наверное, работников Бога. Не той же компании с картин Дали, которая живет снаружи? Мама ненавидит их прямо до одури. Тишина.

— С днем рождения!

Мама, приплясывая на ходу, отвела его к праздничному столу. Пирожные, мороженое, клубника, ветчина, говядина, окорок, высокие стаканы с чем-то ро-

зовым, белоснежный торт с его именем и красными цифрами... Эдвин был поражен.

— Откуда все это взялось?

— Откуда берется вся еда, — загадочно отозвалась мама, качая подолом нарядного зеленого платья.

В музыкальной комнате она протренькала на фортепьяно мелодию и пропела: с днем рожденья тебя, с днем рожденья, милый Эдвин, с днем рожденья тебя...

Взрыв радости. Напитки в стороны, начались танцы. Она боялась остановиться.

Серебряным ключом она отперла четырнадцатую, запретную дверь. Ну что там, что там?

Дверь скользнула в стену.

Разочарование. Четырнадцатая деньрожденная комната не содержала в себе ничего интересного. На шестой день рождения для него была открыта школа на Верхних землях. На седьмой? Игровая комната в Нижних землях. На восьмой? Музыкальная комната. На девятый: кухня, повсюду блестящая хромом. На десятый: помещение с граммофоном, где вращались диски и с них пели ангелы. На одиннадцатый — садовая комната, то есть лужайка, где ковер рос из земли и его не подметали, а стригли. На двенадцатый и тринадцатый день рождения его ожидали чудеса маминной туалетной и новая комната для него самого. А теперь он разглядывал четырнадцатую комнату, страшно разочарованный. Тусклый коричневый чулан. Они вошли.

Мама рассмеялась.

— Ты понятия не имеешь, что это за волшебство. Закрой дверь.

Она поспешно стала тыкать в красные кнопки на стенке.

— Мама! — взвизгнул Эдвин.

Стена заскользила вниз. Комната двигалась.

— Тихо, милый, — успокоила его мать.

В ужасе он наблюдал, как стена, прихватив с собой дверь, уходила в пол. Появилась другая дверь, потом еще одна. Комната остановилась. Мать указала на странную новую дверь.

— Открывай.

Эдвин открыл дверь и застыл как громом пораженный.

— Куда девалась Гостиная? Как мы сюда попали? Это же Верхние земли!

— Мы прилетели! Теперь раз в неделю ты будешь летать в школу вместо длинного обходного пути.

— О, мамочка!

Затем они со вкусом бездельничали на мягкой садовой травке и прихлебывали из плошек яблочный сидр, опираясь локтями о темно-красные шелковые подушки и дергая босыми пятками, когда их щекотали одуванчики. Три раза Мама вскакивала, заслышав за деревьями рев Чудовища. Одно из этих Чудовищ насмерть задавило Бога.

— Я не дам тебя в обиду, — заверил Эдвин.

— Спасибо, — отозвалась она вежливо, но неспокойно.

За деревьями поджидал Хаос. Металлические звери издавали брачный зов. Мама вздрагивала и одергивала свою блестящую шаль. Один раз они заметили, как в голубом просвете между кронами пролетела с гулом хромовая птица.

Из сада вела за деревья, в забвение, двойная дорожка. По ночам на ней (мать сообщила это за сидром напряженным шепотом) рычат звери, готовые раздавить Эдвина.

— Видишь? — указала она. — Это они оставили.

Посередине между тропами виднелись маслянистые, похожие на черную патоку, лужи.

День рождения кончился ничем, как целлофан в печи. Только треск напоследок.

На закате, в уютной безопасной Гостиной, Мать втягивала в себя шампанское через крохотные зернышки ноздрей и глазок рта. Ее груди немного вздымались при икоте. Сонная, едва держась на ногах, она загнала трезвого (сидр не в счет) Эдвина в его спальню и отправилась вниз; вскоре послышался грохот бутылки с шампанским, пересчитавшей ступени двух маршей.

Раздеваясь, он раздумывал. Этот год. Следующий. Какие комнаты ему покажут через два года, через три? Звери. Раздавили. Бога. Насмерть. Что такое «насмерть»? Что такое смерть? Это чувство? Богу оно понравилось? Или смерть — это путешествие?

Внизу разбилась еще одна бутылка с шампанским.

Утро возвестило о себе запахом свежести. Внизу уже, наверное, вот-вот возникнет на столе еда.

Эдвин умылся и оделся. Наметил мысленно расписание дня. Завтрак, школа, ланч, час в музыкальной комнате за фортепьяно, час на патефон, час или два с Мамой за увлекательными механическими игрушками, которые отстреливаются, потом чай на Наружных землях. Потом... он вспомнил о записке. Подобрал ее. Надо было отдать ее Маме, а он забыл. Отдаст сейчас. Ей придется отпустить его после чая, и до самого ужина он будет один бегать по Миру. Этим вечером можно будет снова подняться в Школу, они с Учительницей пройдутся вместе по библиотеке, и он будет гадать, какие слова и мысли об окружающем мире убраны из книг, чтобы не попались ему на глаза.

Он открыл дверь. В Море было необычно тихо. Эдвин думал, что Мама будет ждать его веселая, счастливая, отдохнувшая. В холле было пусто.

В лощинах Мира легкой недвижимой пеленой стоял туман. Ничьи шаги не нарушали тишину, среди холмов было спокойно, первые солнечные лучи не играли искрами в серебристых источниках, балюстрада, как некое доисторическое чудовище, тянула кривую шею, силясь заглянуть в его комнату...

Эдвин сошел в гостиную.

Из гостиной отправился в столовую.

— Доброе утро, Мама.

Мама, в блестящем зеленом платье, спала на полу, рука ее все так же сжимала стакан. Поблизости, в камине и рядом, валялись осколки стекла.

— Мама?

Лицо ее было бледным, расслабленным; наверное, ей снились приятные сны.

Не желая ее беспокоить, Эдвин сел за стол, но с удивлением обнаружил, что там пусто. Всю жизнь он находил на столе еду, но не в это утро. Он беспомощно уставился на стол.

Немного раньше он слышал, как за дверью таявал какой-то зверь. Очень настойчиво. С чего бы?

Эдвин подошел к Матери.

— Мама, просыпайся, просыпайся же.

Она не откликнулась. Прежде у нее случались приступы упрямства, но теперь она даже не шевелилась.

— Мне идти в школу? Я есть хочу.

Полчаса он сидел на стуле, ожидая, что еда появится по волшебству. Она не появилась.

— Ладно,— сказал он наконец.— Спи дальше, мама. Я пошел наверх, в Школу.

На Верхних землях было сумрачно и тоскливо. Белые стеклянные солнца, светившие с потолка, теперь

не светили. Это был день зловещего тумана в Мире, в темных коридорах, на бесшумных лестницах, в темных пыльных комнатах, и пока Эдвин там бродил, в нем росло ощущение какой-то неправильности. Что-то вокруг менялось.

Он снова и снова стучался в дверь Школы. Но вот она со стоном, сама по себе отъехала внутрь.

В Школе стояла темень. Плиты очага успели остыть, в глубине не тлели огоньки, по потолку не металась тени. Шторы на окнах были опущены. Книги стояли на полках. Не слышалось ни звука.

— Учительница?

Эдвин раздернул шторы.

— Учительница Гранли?

Все было безжизненно и пусто. В печальном солнечном луче, падавшем на пол, тек чахлый ручеек пылинок.

Эдвин вскинул руки, словно пытаясь вернуть окружающее к обычному порядку. Ему хотелось, чтобы в камине со щелчком, как лопаются зернышко попкорна, вспыхнуло пламя. Он закрыл глаза, давая Учительнице время появиться. Подняв веки и взглянув на стол, он застыл на месте.

На аккуратно сложенных сером капюшоне и сером платье лежала одна серая перчатка и поблескивали серебряные очки. Он потрогал кучку. Второй серой перчатки не было. Нашлись еще два кусочка какого-то жирного мелка: когда Эдвин провел им по тыльной стороне ладони, там осталось пятно.

Эдвин отпрянул, не сводя взгляда с пустого платья Учительницы, очков, жирного мелка. Взялся за круглую ручку двери в дальнем конце комнаты, которая всегда стояла запертая. Дверь распахнулась, за ней оказалась еще одна из тесных подвижных комнат.

— Учительница! — Он шагнул вперед. Дверь скользнула на место.

Нажал кнопку, комната поехала, неся в себе подспудно растущий холод страха, молчания, Мира, который вдруг так затих. Учительница пропала, Мать спит. Мурлыча, как кошка, комната проваливалась вниз, щелкнул какой-то механизм, Эдвин толкнул дверь, и перед ним открылась другая комната. Он вышел.

Это была Столовая!

У него за спиной была не дверь, нет, он вышел из высокого, шестифутового книжного шкафа. Эдвин заморгал.

На полу, по-прежнему неподвижно и безразлично, лежала спящая Мать. И тут только он заметил, что из-под нее выглядывает краешек мягкой серой перчатки, принадлежавшей Учительнице.

Эдвин стоял и разглядывал перчатку.

Потом он захныкал.

Стол был пуст. Эдвин крикнул, чтобы на нем появилась еда. Она не появилась. Он позвал Мать. Мать не двинулась. Он снова взобрался бегом на Верхние земли, застал холодный камин и все так же сложенное платье Учительницы, но серая перчатка там была только одна. Он подождал. Учительница не шла. Расплакавшись, он побежал обратно, в Низины. Сел рядом с Матерью, что-то ей сказал, тронул серую перчатку. Наступил день, хотелось есть.

На него надвинулось сознание голода и одиночества.

Учительница, должно быть, вышла куда-то в Наружные земли. Вот бы найти ее и привести обратно: она разбудит Мать, и все будет хорошо!

В кухне он выглянул в заднюю дверь: день клонился к вечеру, за краем Мира протяжно кричали звери. Эдвин прильнул к садовой стене и не решался отойти, но все было спокойно, солнце грело не хуже камина, и он набрался храбрости. В кронах тихо шелестел ветер. Эдвин двинулся по тропе. Поскользнулся в луже, оставленной зверем, и устался в тоннель между деревьев. Дерзнет ли он переступить черту?

— Учительница?

Он прошагал несколько ярдов по следу зверя.

— Учительница?

За спиной лежал его Мир с новой, непривычной тишиной. Издали, из-за деревьев, доносились шумы. Рот у Эдвина приоткрылся, глаза напряженно сощурились. Он прошел еще немного, остановился, пошел дальше. Его ошеломило, что Мир, оставленный позади, уменьшился. Какой маленький! Как так? Он всегда был большим! Он звал снова и снова, и все вокруг было незнакомым. Ноздри наполнились запахами, глаза — красками, формами, размерами.

Если я зайду за деревья, я умру, подумал он. Так говорит Мама. Что такое умереть? Что это, на что похоже? Это другая комната? Голубая? Зеленая? Вперед как раз такая: большая и зеленая. О Мама, Учительница.

Ноги несли его все быстрее, учащали шаг, почему — он сам не знал. Это были уже не его ноги; его голос, крики были звуками из иной действительности. Тропа под ним бежала, Вселенная, оставшаяся позади, уменьшалась, исчезала. Он засмеялся.

Полисмен поскреб себе затылок и посмотрел на пешехода.

— Эти детишки. Ей-богу, не пойму их ну никак.

— А что такое? — спросил пешеход.

Полисмен задумался.

— Только что мимо пробежал мальчуган. Разом смеялся и плакал. Припрыгивал и трогал все, что попадется под руку. Кусты, деревья, бумажки, пожарные гидранты, собак, людей. Тротуары, ворота, припаркованные машины. Господи, он даже меня потрогал — настоящий или нет, и глядел в небо, и заливался слезами, и все выкрикивал и выкрикивал какую-то белиберду.

— И что он выкрикивал? — спросил пешеход.

— Он кричал: «Я мертвый, я мертвый, как здорово, я мертвый, хорошо быть мертвым, я мертвый, я мертвый, как здорово, что я мертвый». Не иначе, у них сейчас игра такая завелась.

Коса

*

Weird Tales

Июль 1943

Она нравится очень многим. Тут двойная метафора. Прежде всего — знакомство с трудом фермеров, которым случается пользоваться косой, а во-вторых — очевидная связь с войной и смертью, почерпнутая из комиксов. Жатва. Должно быть, я видел такой комикс и решил развить сюжет.

*

Совершенно неожиданно дорога оборвалась. Вначале она была как все прочие: шла вдоль долины, между голыми каменистыми откосами, рядами виргинских дубов, потом мимо большого пшеничного поля, расположенного на отшибе. У белого домика при поле следовал подъем, а дальше дорога просто сходила на нет, словно в ней больше не было нужды.

Но это было не важно, потому что как раз тут в машине кончился бензин. Дрю Эриксон притормозил старый драндулет и молча уставился на свои большие, грубые, как у фермера, руки.

Молли, лежавшая сзади, в углу, сказала:

— Должно быть, мы не там свернули.

Дрю кивнул.

Губы у нее были почти такие же бледные, как лицо. Только они были сухие, а по лицу струился пот. Голос звучал вяло и невыразительно.

— Дрю,— сказала она.— Дрю, и что нам теперь делать?

Дрю разглядывал свои руки. Руки фермера, но ферму выдул из-под них голодный суховец, ненасытный до хорошей почвы.

На заднем сиденье проснулись дети и выбрались из пыльной кучи тюков и постельных принадлежностей. Высунув головы из-за спинки сиденья, они стали спрашивать:

— Зачем мы остановились, па? Нам что, пора перекусить? Па, мы голодные. Можно, мы сейчас поедим, а, папа?

Дрю закрыл глаза. Ему был ненавистен вид собственных рук.

Его запястья коснулись пальцы Молли. Коснулись легко и очень осторожно.

— Дрю... не зайти ли в тот дом? Может, нам дадут какой-нибудь еды.

Кожа у него вокруг рта побелела.

— Побираться,— грубо сказал он.— Мы в жизни не побিরались, проживем без этого и дальше.

Пальцы Молли крепче обхватили его запястье. Он обернулся и увидел ее глаза. А также глаза Сьюзи и маленького Дрю, устремленные на него.

Постепенно его затылок и спина обмякли. Лицо обвисло и сделалось невыразительным, словно его уже долго дубасили почем зря. Дрю вышел из машины и двинулся по дорожке к дому. Шаги его были неуверенными, как у больного или подслеповатого.

Дверь дома стояла открытой. Дрю трижды постучал. Внутри было тихо, только шевелилась под жарким ленивым ветром белая оконная занавеска.

Дрю понял это прежде, чем вошел. Дом посетила смерть. Он понял это по особой тишине.

Дрю прошел через маленькую опрятную гостиную, короткий коридор. Мыслей в голове не было. Мысли его покинули. Он шел в кухню как животное, не рассуждая.

Потом он бросил взгляд через открытую дверь и увидел мертвеца.

Это был старик, лежавший в чистой белой постели. Умер он недавно: с лица не сошло умиротворенное выражение. Должно быть, он знал, что умирает, потому что на нем была одежда, в какой кладут в гроб: аккуратно вычищенный старый черный костюм, свежая белая рубашка, черный галстук.

Рядом с кроватью стояла прислоненная к стене коса. В руке у старика был зажат стебель пшеницы, который не успел еще увянуть. Стебель зрелый, золотистый, с тяжелым колосом.

Неслышными шагами Дрю вступил в спальню. Стащил с головы мятую пыльную шляпу и остановился у постели, опустив взгляд.

На подушке, рядом с головой старика, лежал развернутый лист бумаги. Он был явно оставлен для того, чтобы кто-нибудь прочитал. Распоряжения относительно похорон или просьба известить родных. Дрю, хмурясь и шевеля сухими бледными губами, стал читать.

«Тому, кто стоит у моего смертного одра. Будучи в здравом уме и волею судеб оставшись одиноким, я, Джон Бер, дарую и завещаю эту ферму и все принадлежащее к ней имущество тому человеку, который первый сюда явится. Каково его имя и происхождение — не важно. Отныне ему принадлежит ферма и пшеница; коса и предначертание, с нею связанное. Пусть примет их по свободной воле и без вопросов, и пусть по-

*мнит, что от меня, Джона Бера, он получает только дар, но не предначертание. Скрепляю сие своей подписью и печатью апреля третьего дня 1938 года. (Подписано) Джон Бер. Kyrie eleison!»**

Дрю вернулся к входной двери.

— Молли, — сказал он, — войди. А вы, ребята, оставайтесь в машине.

Молли вошла. Дрю отвел ее в спальню. Она осмотрела завешание, косу, пшеничное поле за окном, колеблемое жарким ветром. Бледное лицо ее вытянулось, и она, закусив губу, прижалась к мужу.

— Это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Тут какая-то хитрость.

— Просто нам наконец улыбнулась удача, — отозвался Дрю. — У нас будет работа, еда и крыша над головой.

Дрю тронул косу. Она блеснула, как серп луны. На лезвии была выцарапана надпись. «Кто владеет мною — владеет миром». Тогда эти слова ничего ему не сказали.

— Дрю. — Молли разглядывала стиснутые пальцы старика. — Почему он так крепко ухватил этот стебелек?

Напряженную тишину нарушил топот: на переднюю веранду взобрались дети. Молли вздохнула.

Они остались жить в доме. Похоронили старика на холме, произнесли надгробное слово, вернулись, подмели в доме, разгрузили автомобиль и поели, потому что в кухне нашлась провизия, масса провизии, и они три дня ничем не занимались, только наводили порядок в комнатах, осматривали землю, нежились в удоб-

* Господи помилуй (*гр.*).

ных постелях и, встречаясь взглядом, удивленно поднимали брови: как необычно все сложилось, и еды вдоволь, и нашлись даже сигары для Дрю — затянуться вечером.

За домом имелся небольшой коровник с быком и тремя коровами, под раскидистыми деревьями, в тени, располагались колодезный домик и родник. В колодезном домике хранились говяжьи бока, бекон, свинина, баранина — запасы, которых хватило бы на два, а то и три года пяти таким семьям, как их. Там же нашлись маслбойка, коробки с сырами, большие металлические бидоны для молока.

На четвертое утро Дрю Эриксон, лежа в кровати и рассматривая косу, понял, что приспело время братьяся за работу: зерно в поле созрело — это ясно, хватит уже лодыря гонять. Три дня просидел сложа руки, ну и будет. Он поднялся, едва в окна пахнуло свежестью рассвета, взял косу и вышел в поле. Перехватил косу поудобней и начал косить.

Поле было большое. Одному такое не обработать, и, однако, его предшественник справлялся в одиночку.

Закончив работу, Дрю вернулся в дом с косой, мирно покоившейся у него на плече. В глазах его, однако, стоял недоуменный вопрос. Такое странное пшеничное поле попало ему впервые в жизни. Оно созревало отдельными, расположенными то там, то сям, участками. Пшеница так себя не ведет. Но Молли он об этом не сказал. Как не сказал и другого. К примеру, того, что скосишь пшеницу, пройдет час-другой, и она начинает гнить. И так тоже пшеница себя не ведет. Впрочем, тревожиться было не о чем. В конце концов, без еды они в любом случае не останутся.

На следующее утро оказалось, что подгнившее зерно возродилось к жизни, выпустив новые зеленые всходы с крохотными корешками.

Дрю Эриксон, потирая себе подбородок, задумался о том, в чем тут дело, и почему, и как оно так получается, и что в том хорошего, но ни до чего не додумался. Раза два за день он отправлялся на дальние холмы, к могиле старика: просто убедиться, что тот остался на месте, а также, вероятно, не без надежды получить хоть какую-нибудь подсказку относительно поля. С холма была видна вся унаследованная им земля.

Пшеничное поле, шириной в два акра, простиралось на три мили в направлении гор и состояло сплошь из заплат: где проростки, где золото, где зелень, а где недавние его покосы. Старик, однако, ничего не поведал: его лицо было придавлено толщей земли и камней. Могила была отдана солнцу, ветру и тишине. Дрю Эриксон поворачивал назад и снова брался за косу, сам себе удивляясь и радуясь работе, потому что она казалась ему важной. Почему — он сам не знал, важной, и все тут. Важнее не бывает.

Он просто не мог оставить пшеницу на корню. Пшеница созревала то на одном, то на другом участке, и Дрю замечал в пустоту: «Если косить здесь еще десять лет только то, что поспеет, второй раз на то же место вернуться не успеешь. Такое уж поле — конца-краю нет. — Он тряс головой. — Уж так она поспевает, эта пшеница. За день ровно столько, чтобы я успел убрать. Остается одна зелень. А на следующее утро, глядь, пора браться за новый участок...»

Дурацкое это было занятие: жать зерно, которое сей же миг сгнивает. К концу недели Дрю решил, что в ближайшие дни в поле не выйдет.

Залежавшись в постели, он прислушивался к тишине в доме. Тишина говорила не о смерти, а о жизни и благополучии.

Дрю встал, оделся и не спеша позавтракал. Работать он не думал. Выйдя подоить корову, он выкурил

на веранде самокрутку, послонялся немного по заднему двору, вернулся в дом и спросил Молли, куда и зачем собирался.

— Подоить коров,— отвечала жена.

— А, ну да.

Дрю снова вышел. Коровы ждали с полным выменем, он надоил молока и отнес бидоны в колодезный домик, но мысли его были не об этом. Мысли были о пшенице. И косе.

Весь остаток утра он сидел на задней веранде и крутил самокрутки. Смастерил для младшего Дрю игрушечную лодочку и еще одну для Сьюзи, сбил немного масла, сцедил пахту, но все время его не отпускала головная боль. Солнечный жар жег голову изнутри. Приближался ланч, но есть не хотелось. Дрю следил за пшеницей, как она ходила волнами под ветром. Руки, сложенные на коленях, непроизвольно сгибались, в пальцах свербило, и они хватали воздух. Ладони горели. Дрю встал, отер руки о штаны, снова сел, начал сворачивать самокрутку, но, озлившись, с ругательством отшвырнул ее прочь. Чувство было такое, словно у него отрезали руку — не одну из двух, а третью — или он потерял часть себя. Что-то было неладное с ладонями, руками.

Он услышал шепот ветра в поле.

До часу дня он мотался по дому и около, мешал домашним, раздумывал, не прорыть ли оросительную канаву, но на самом деле у него из головы не шла пшеница, такая красивая и спелая, ждущая косы.

— К черту!

Он шагнул в спальню и сорвал со стены косу, висевшую на крючке. Постоял на месте. Ему полегчало. Руки еще больше зачесались. Голова не болела. Третья рука вернулась на место. Он полностью обрел себя.

Это был инстинкт. Нелепый, как молния, что бьет, но не обжигает. Пшеницу нужно жать каждый день. Жатва необходима. Почему? Да просто необходима, и все тут. Глядя на косу в своих крупных руках, он рассмеялся. Вышел, насвистывая, в зрелое, полное ожидания поле и принялся за работу. Чуток тронулся, думал он. Черт, ведь поле как поле, ничего в нем особенного? Почти ничего.

Дни бежали резво, как бойкие лошадки.

Свою тягу к работе Дрю Эриксон начал сравнивать с болезненной жаждой или голодом. С самыми привычными жизненными потребностями.

Однажды в полдень дети принялись играть с косой. Отец, за ланчем в кухне, услышал их хихиканье и вышел забрать косу. Он не кричал на них, но выглядел очень встревоженным. С тех пор он каждый раз после работы убирал косу под замок.

Не было дня, чтобы он не выходил в поле.

И вверх, и вниз. И вверх, и вниз, и наискось. И вверх, и вниз, и наискось. Вжик-вжик. И вверх, и вниз.

И вверх.

Подумай о старике, как он умер со стеблем пшеницы в руках.

И вниз.

Подумай об этой мертвой земле, земле, населенной пшеницей.

И вверх.

Подумай о том, как чудно, заплатами, она растет.

И вниз.

Подумай...

Желтая волна пшеницы захлестнула его лодыжки. Небо потемнело. Дрю Эриксон согнулся, схватившись за живот и бессмысленно вращая глазами. Мир заколебался.

— Я убил человека! — задыхаясь, прохрипел Дрю, схватился за грудь и упал на колени рядом со скошенным стеблем. — Я убил незнамо сколько...

Небо пошло кругом, как голубая карусель на деревенской ярмарке в Канзасе. Только музыки не было. Один лишь звон в ушах.

Когда Дрю, волоча за собой косу, ввалился в кухню, Молли сидела за голубым кухонным столом и чистила картошку.

— Молли!

В глазах у него стояли слезы, и он едва видел жену.

Она сидела, уронив руки, и ждала, что он скажет.

— Собирай-ка вещи. — Дрю глядел в пол.

— Почему?

— Мы уезжаем, — глухо проговорил он.

— Уезжаем?

— Этот старик. Знаешь, чем он здесь занимался?

Я говорю о пшенице, Молли, и о косе. Стоит взмахнуть косой на пшеничном поле, и умирает множество народу. Ты их подкашиваешь, и...

Молли поднялась на ноги, положила нож, сгребла в сторону картошку и мягко, сочувственно проговорила:

— Ты вымотался. Здесь мы живем месяц, а прежде проделали большой путь, недоедали. А ты еще работаешь как проклятый, не пропуская ни дня, вот и вымотался...

— Я слышу в поле голоса, печальные голоса. Просят меня остановиться. Просят не убивать их!

— Дрю!

Он ее не слышал.

— Пшеница растет не так, как надо, не по-людски. Я тебе не говорил. Она какая-то ненормальная.

Жена глядела на Дрю бессмысленными, похожими на голубые стекляшки, глазами.

— Думаешь, я спятил? Но погоди, это еще не все. О боже, помоги мне, Молли, я ведь только что убил свою мать!

— Прекрати! — возмутилась Молли.

— Я срезал стебель и убил ее, я почувствовал, что она умирает, потому-то я и понял...

— Дрю! — Ее злой, испуганный голос прозвучал хлестко, как пощечина. — Заткнись!

— Ох... Молли... — бормотал он.

Коса выпала из его рук и грохнулась на пол. Молли раздраженно ее схватила и поставила в угол.

— Десять лет мы прожили вместе, — сказала она. — Порой во рту маковой росинки не бывало — одна только пыль да молитвы. А теперь, когда нам вдруг посчастливилось, ты взял и не выдержал!

Она принесла из гостиной Библию.

Зашуршала страницами. Так же шуршала пшеница при слабом ветерке.

— Сядь и слушай, — распорядилась Молли.

С улицы донеслись голоса. Это дети смеялись рядом с домом в тени большого виргинского дуба.

Молли стала читать из Библии, то и дело поднимая глаза, чтобы проследить за выражением лица Дрю.

Она стала читать ему из Библии каждый день. На следующей неделе в среду Дрю отправился пешком на почту в соседний город, и там его ждало письмо.

Когда он вернулся домой, его было не узнать.

Он протянул письмо Молли и слабым дрожащим голосом пересказал его содержание.

— Мать умерла... во вторник в час дня... сердце...

К этому Дрю Эриксон добавил одно:

— Посади детей в машину, погрузи продукты. Мы едем в Калифорнию.

— Дрю. — Жена не выпускала из рук письмо.

— Ты знаешь сама, на здешних землях плохо растут зерновые. А теперь посмотри, как у нас вызревает пшеница. Я тебе еще не все рассказал. Она вызревает участками, каждый день понемногу. А сжатая сразу гниет. А на следующее утро сама по себе прорастает и растет дальше. Во вторник на той неделе, когда я срезал этот колос, мне показалось, что коса вонзилась в меня. Я слышал чей-то крик. Голос был точь-в-точь... голос моей матери. И вот это письмо.

— Мы остаемся, — сказала Молли.

— Молли.

— Мы остаемся здесь, где нам обеспечены еда, постели, безбедная и долгая жизнь. Я не хочу, чтобы от моих детей опять остались кожа да кости.

За окнами виднелось голубое небо. На спокойное лицо Молли падал с одной стороны косой луч, зажигая в глазу голубые искры. Под кухонным краном одна за другой медленно набухали сверкающие капли. Их упало четыре или пять, и только тут Дрю хрипло вздохнул. В этом вздохе слышались усталость и отчаяние. Он кивнул, глядя в сторону.

— Ладно. Мы остаемся.

Слабой рукой он поднял косу. Ярko сверкнули процарапанные на металле слова:

КТО ВЛАДЕЕТ МНОЙ — ВЛАДЕЕТ МИРОМ!

— Мы остаемся...

На следующее утро он отправился к могиле старика. В самом ее центре показался из земли молодой побег пшеницы. Это возродился тот колос, прежний

стебель, бывший у старика в руке, но только возродившийся.

Дрю заговорил, не получая ответа.

— Ты всю жизнь проработал на этом поле, потому что не мог иначе, и вот пришел день, когда тебе попалась среди стеблей твоя собственная жизнь. Ты знал, что она твоя. Ты ее срезал. Пошел домой, надел костюм, сердце остановилось, и ты умер. Так оно было, правда? Ты передал землю мне, а когда я умру, она должна будет перейти к кому-нибудь другому.

Голос Дрю дрожал от благоговейного страха.

— Сколько же времени длится эта история? И никто не знает, что такое поле существует, кроме человека с косой?..

Вдруг он ощутил себя глубоким старцем. От долины, как от сухой скрюченной мумии, повеяло древностью, тайной, мощью. Когда по прерии сновали пляшущими шагами индейцы, это поле уже здесь было. То же небо, тот же ветер, та же пшеница. А до индейцев? Тогда, небось, сквозь стену живой пшеницы пробирался с примитивной деревянной косой какой-нибудь кроманьонец, грубый и лохматый...

Дрю вернулся к работе. И вверх, и вниз. Его зачаровывала мысль, что он владеет не какой-нибудь, а этой косой. Он, он сам! Безумный, неистовый прилив силы и ужаса захлестнул Дрю.

И вверх! КТО ВЛАДЕЕТ МНОЙ! И вниз! ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ!

Чтобы смириться с этой работой, требовалась определенная философия. Просто таким образом он обеспечивает своей семье еду и кров. После стольких лет мытарств они заслужили приличный дом и кормежку, рассуждал он.

И вверх, и вниз. Каждое зернышко — это жизнь, и ее он аккуратно разрезал пополам. Если подойти с умом (Дрю окинул пшеницу пытливым взглядом) — они с Молли и ребята смогут жить вечно!

Найду участок с колосьями Молли, Сьюзи и маленького Дрю и не буду их трогать. Они станут бессмертными!

И тут, словно по сигналу, он понял.

Молли, и маленький Дрю, и Сьюзи.

Здесь, перед ним. Колосья пшеницы.

Еще один взмах косы, и он бы их срезал.

Молли, Дрю, Сьюзи. Он знал это точно. Задрожав, он опустился на колени и стал рассматривать колоски. Они запыхали жаром под его пальцами.

Дрю застонал от облегчения. Что, если бы он, ни о чем не подозревая, их скосил? Он выдохнул, поднялся на ноги, взял косу и отошел от трех тоненьких колосков.

Молли очень удивилась, когда он ни с того ни с сего вернулся домой раньше обычного и поцеловал ее в щеку.

За обедом Молли сказала:

— Ты сегодня ушел пораньше? А... как пшеница: все так же гниет, едва ее скосишь?

Дрю кивнул и взял еще мяса.

— Тебе бы написать в министерство земледелия, пусть приедут посмотрят.

— Нет.

— Я предложила, только и всего.

Дрю широко раскрыл глаза.

— Я должен оставаться здесь до конца жизни. Нельзя допускать к этой пшенице посторонних, они не знают, где жать, а где нет. Могут скосить не в том месте.

— В каком это — не в том?

— Не важно. — Он медленно жевал. — Ерунда. — Он со стуком опустил на стол вилку. — Кто знает, что им взбредет в голову. Этим, из правительства! Может, даже... может, даже перепахать целиком все поле!

Молли кивнула.

— Это было бы самое правильное, — сказала она. — И засеять снова, новыми семенами.

Дрю встал, не закончив обед.

— Не собираюсь я писать в министерство и отдавать поле чужакам, чтобы они его выкосили, тоже не собираюсь, так и знай!

За ним захлопнулась входная дверь.

Дрю обошел участок, где зрели под солнцем колосья его детей и жены, и занялся косьбой на дальнем участке, где уж точно не погубишь по ошибке свое семейство.

Но работа больше его не радовала. К концу часа он отправил на тот свет троих своих давних и любимых друзей, живших в Миссури. Джо Спанглер, Билл Марч, Оле Джонсон — их имена он прочел на срезанных колосьях и не смог работать дальше.

Дрю запер косу в подвале и выбросил ключ. Все, поработал Смертью с косой, и будет. Зарекся навеки!

В тот же вечер он курил трубку на передней веранде и рассказывал детям смешные истории. Но они не особенно веселились. Они выглядели усталыми, отсутствующими и вообще непохожими на его детей.

Молли жаловалась на головную боль, послонялась, волоча ноги, вокруг дома, рано отправилась в постель и заснула. Это тоже было непривычно. Молли всегда ложилась поздно и не знала устали.

При лунном свете по пшеничному полю пробежала рябь, похожая на морские волны.

Оно жаждало жатвы. Не терпело, чтобы его запускали. Иные колосья просто необходимо было срезать сейчас. Дрю Эриксон сидел, стараясь на него не глядеть, и спокойно курил.

Что станет с миром, если Дрю никогда больше не выйдет в поле? Что случится с людьми, которые созрели для смерти, которые ждут прихода косы?

Поживем — увидим.

Задув масляную лампу, Дрю забрался в постель. Молли тихонько посапывала. Дрю не спалось. В поле шумел ветер, руки ныли от желания взяться за работу.

Среди ночи он очнулся: держа в руках косу, он шагал в поле. Шагал как ненормальный, шагал и боялся, шагал наполовину во сне. Дрю не помнил, как открыл дверь подвала и достал косу, но вот он здесь, шагает при луне к пшеничному полю.

Среди колосьев много старых, усталых, им так хочется заснуть. Заснуть долгим, спокойным, безлунным сном.

Коса держала его, вращала в его ладони, заставляла идти.

Напрягая силы, он как-то сумел освободиться. Отшвырнул косу, забежал в пшеницу, остановился и рухнул на колени.

— Не хочу больше убивать, — сказал он. — Если я буду и дальше махать косой, мне придется убить Молли и ребят. Не требуйте от меня этого!

Звезды не двигались и только сияли.

Сзади слышался глухой стук.

Поверх холма в небо метнулось зарево. Оно было похоже на живое существо с красными руками, тяну-

щееся языком к звездам. В лицо Дрю полетели искры. В ноздри хлынул густой горячий дух огня.

Дом!

Взвыв, Дрю медленно, без надежды, поднялся с колен и устоял на пожаре.

Неистовое пламя с гулом поглощало маленький белый домик и виргинские дубы. Волна жара, накатившись на холм, достигла Дрю, и тот, спотыкаясь, двинулся вниз, чтобы погрузиться в нее с головой.

К тому времени, как он добрался до подножия холма, пылало уже все: гонт на крыше, замок в двери, пороги. Огонь гудел, трещал и фыркал.

Внутри не слышалось голосов. Никто не бегал вокруг и не вопил.

Во дворе Дрю крикнул:

— Молли! Сюзи! Дрю!

Ответа не было. Он подбежал так близко, что опалило брови; еще немного — и раскаленная кожа свернулась бы, как горящая бумага, в тугие чешуйки, колечки, завитки.

— Молли! Сюзи!

Крыша рухнула. Дом оделся облаком блестящих искр.

Огонь удовлетворенно осел вниз, чтобы продолжить пиршество. Дрю раз десять обежал дом кругом, надеясь найти путь внутрь. Потом сел у самого пекла и дождался, пока не осыпались, задрожав, стены, пока не выгнулись остатки перекрытий, завалив пол штукатуркой и горелой дранкой. Пока не затихло пламя, не пыхнул последний дымок, не приблизился неспешно новый день, а на пожарище не остались одни лишь тлеющие угли да зола.

От сгоревшего остова веяло жаром, но Дрю вошел внутрь. Еще не совсем рассвело и видно было плохо.

В каплях пота на шее Дрю играли красные огоньки. Он стоял, как чужак, прибывший в незнакомую землю. Вот — кухня. Обугленные столы, стулья, железная плита, буфет, шкафы. Вот — прихожая. Вот общая комната, а вот спальня, где...

Где оставалась все еще живая Молли.

Она спала среди обвалившихся балок, почерневшего металла, пружин.

Спала как ни в чем не бывало. На изящных белых ручках, вытянутых по бокам, тлели искорки. Лицо было спокойно, веки сомкнуты, а на щеке лежала горящая деревяшка.

Дрю замер, не веря собственным глазам. Вокруг — дымящиеся руины спальни, постель полна искр, а кожа жены нетронута, грудь вздымается и опадает.

— Молли!

Жива и спит себе — а ведь недавно вокруг бушевал пожар, рушились с грохотом стены, обвалился потолок, все пылало адским пламенем.

Когда Дрю ступил на кучу тлеющих обломков, его подошвы задымились. Но он этого не замечал, не заметил бы даже, если бы ноги обожгло до самых лодыжек.

— Молли!

Он склонился над женой. Она не двигалась, не слышала, не говорила. Она не была мертва. Она не была жива. Просто лежала среди огня, который ее не касался, не причинял ей никакого вреда. Хлопчатобумажная ночная рубашка была запачкана золой, но не сгорела. Темноволосую голову подпирала груда раскаленных углей.

Дрю коснулся щеки Молли. Она была холодная. Среди пекла — и холодная. Чуть улыбающиеся губы едва заметно трепетали в такт дыханию.

— Молли, что с тобой? Как ты?..

Сьюзи с братом тоже были тут. Сквозь завесу дыма Дрю различил две фигуры — они спали на обломках штукатурки.

Он вынес всех троих на край пшеничного поля и попытался оживить. Не получилось.

— Молли! Молли, проснись! Ребята! Ребята, проснитесь!

Они дышали, не двигались и спали дальше.

— Ребята, проснитесь! Ваша мама...

Умерла? Нет, не умерла. Но...

Он стал тормошить детей, словно они были виноваты. Они, не обращая внимания, смотрели свои сны. Дрю опустил их на землю и выпрямился. Его лицо прорезала сеть морщин. Он понял.

Он понял, почему они проспали пожар и почему не просыпались теперь. Понял, почему Молли лежала пластом и не собиралась улыбаться.

Власть пшеницы и косы.

Их жизням было назначено окончиться вчера, 30 мая 1938 года, но они не умерли, потому что он отказался сжать колосья. Они должны были погибнуть в огне. Именно так было определено. Но он не сжал колоски, и вот они целы. Дом сгорел и обрушился, а они по-прежнему живы. Но им здесь больше нечего делать. Они застряли на полпути, не мертвые и не живые. Просто — в ожидании. И по всему миру таких тысячи; жертвы несчастных случаев, пожаров, болезней, самоубийцы ждут и спят, как Молли с ее детьми. Неспособные умереть и неспособные жить. И все потому, что кто-то побоялся сжать созревшую пшеницу. Все потому, что кто-то решил забросить косу и никогда больше не брать ее в руки.

Дрю перевел взгляд на детей. Работу нужно делать каждый день, каждый день, без остановки, работать и работать, не останавливаться, косить, косить и косить.

Ладно, подумал он. Ей-богу, я им покажу. Скошу к чертовой матери все треклятые колосья!

Дрю не простился со своей семьей. Все больше злясь, он отвернулся, нашел косу, припустил быстрым шагом, перешел на рысь, понесся вприпрыжку в поле; в голове крутились безумные мысли, руки жаждали работы, и он со всем неистовством стремился дать им волю! Пшеница хлестала его по ногам. Он шел напролом и кричал. Остановился.

— Молли! — крикнул он и махнул косой.

— Сюзи! — крикнул он снова. — Дрю! — И снова махнул косой.

Кто-то вскрикнул. Вроде бы трое. Дрю не обернулся, чтобы посмотреть на сгоревший дом.

Истерически всхлипывая, каждым мускулом ощущая безумное, яростное желание поквитаться с судьбой, он вновь подступился к пшенице. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда — ходила коса. Вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик! Под ругань, божбу и смех гигантские шрамы множились без разбору на спелых и зеленых участках, на фоне встающего солнца сверкало со свистом лезвие! И вниз!

И Гитлер вторгся в Австрию.

Неистовый взмах.

И Гитлер вторгся в Чехословакию.

Лезвие пело, влажно алея.

Пала Польша.

Зерна так и летели, зеленые, направо и налево.

Бомбы рушили Лондон, рушили Москву, рушили Токио.

А лезвие все вздымалось, резало, крушило с яростью человека, кто имел и потерял близких и кому все равно, как поступить с этим миром.

В каких-то нескольких милях от магистрали, по ухабистой проселочной дороге, ведущей в никуда; в каких-нибудь нескольких милях от забитого транспортом калифорнийского шоссе.

Раз в кои-то веки с автомагистрали съезжает ветхий драндулет и тормозит в конце грунтовой дороги у обгорелых руин белого домика, чтобы спросить дорогу у фермера, который день и ночь, безумно, неистово, нескончаемо трудится на пшеничном поле.

Ни помощи, ни ответа они не получают. Прошли годы, но фермер все еще по горло занят; он все еще режет и крошит пшеницу, зеленую вместо спелой.

И Дрю Эриксон идет с косой все дальше, и в глазах его горит безумный огонек. Все дальше, дальше и дальше.

Поиграем в «отраву»

*

Weird Tales

Июль 1947

Дело в том, что меня очень интересовали эти бетонные плиты. Я каждый раз перепрыгивал через них по дороге в школу — перепрыгивал, чтобы не отравиться. Это вошло у меня в привычку. По дороге в школу главное — не соскучиться, вот и прыгаешь, а через годы, когда сюда вернешься, вспомнишь об этом и видишь: они на прежнем месте, люди, что «похоронены» под тротуаром. Там ведь помечены фамилии [изготовителей]. Это мне, наверное, и вспомнилось — и случился рассказ.

*

— Ненавидим тебя!

Шестнадцать мальчиков и девочек налетели со всех сторон на Майкла. Майкл взвизгнул. Перемена кончилась, все возвращались в классную комнату, но учитель, мистер Говард, еще не появлялся.

— Ненавидим!

Шестнадцать мальчиков и девочек, теснясь, толкаясь и пыхтя, подняли оконную раму. Внизу виднелся тротуар, до него было три этажа. Майкл отбивался.

Майкла схватили и вытолкнули в окно.

В класс вошел учитель, мистер Говард.

— Погодите! — крикнул он.

Майкл пролетел три этажа. Майкл умер.

Мер никаких не последовало. Полицейские выразительно пожимали плечами. Детишкам по восемь-девять лет, разве они понимают, что делают. Так вот.

На следующий день у мистера Говарда случился срыв. Отныне и навсегда он отказался учить детей. «Почему?» — спрашивали друзья. Мистер Говард не отвечал. Он помалкивал, и только глаза у него жутко сверкали. Как-то впоследствии он заметил, что, если бы сказал правду, его бы приняли за сумасшедшего.

Мистер Говард уехал из Мэдисон-Сити. Он поселился в соседнем небольшом городке, Грин-Бэй, где прожил семь лет на гонорары за рассказы и стихи.

Он не женился. Те немногие женщины, с которыми он сближался, неизменно хотели... детей.

На седьмой год его добровольной отставки, осенью, заболел добрый приятель мистера Говарда, тоже учитель. Подходящей замены не нашлось, вызвали мистера Говарда и постарались ему внушить, что он просто обязан взять на себя руководство классом. Поскольку речь шла о паре-тройке недель, мистер Говард, к несчастью, согласился.

— Иной раз, — объявил мистер Говард в тот сентябрьский понедельник, меряя шагами классную комнату, — иной раз я готов поверить, что дети — это захватчики, явившиеся из другого измерения.

Он остановился и скользнул блестящими темными глазами по немногочисленным детским лицам. Одну руку, сжатую в кулак, он прятал за спиной. Другая, как белесый зверек, взобралась по лацкану пиджака, потом сползла обратно и принялась поигрывать очками на ленточке.

— Иной раз, — продолжил мистер Говард, глядя на Уильяма Арнольда, и Рассела Ньюэлла, и Дональда Бауэрза, и Чарли Хенкупа, — иной раз мне верится, что дети — это маленькие чудовища, которых выгнали из ада, потому что у дьявола лопнуло терпение. И что я знаю точно: чтобы исправить их варварские умишки, пригодны любые меры.

Большую часть этих слов мытые, а равно и немые уши компании, включавшей в себя Арнольда, Ньюэлла, Бауэрза и прочих, воспринимали впервые. Однако тон внушал страх. Девочки прижались к спинке стула, пряча косички, а то как бы учитель не воспользовался ими, как шнуром колокольчика, чтобы вызвать темных ангелов. Все, как загипнотизированные, усталились на мистера Говарда.

— Вы — иная раса, строптивая, с непонятными целями и взглядами. Вы не люди. Вы — дети. Поэтому, пока не станете взрослыми, извольте помалкивать и слушать старших.

Замолкнув, он опустил свое элегантное сиденье на стул за опрятным, без единой пылинки, столом.

— Живете в мире фантазий, — нахмурился он. — Что ж, здесь фантазиям не место. Скоро всем станет ясно: линейкой по рукам — это реальность, а никакие не фантазии, не чары фей и не выдумки Питера Пэна. — Мистер Говард фыркнул. — Что, испугались? Ага. Очень хорошо! Отлично. Так вам и надо. Вы должны усвоить, что к чему. Я вас не боюсь, зарубите себе на носу. Я вас не боюсь. — Рука его дрогнула, и он, под взглядами класса, подался назад. — Так-то! — Он устал в дальний конец комнаты. — О чем это вы шепчетесь там, на задах? Некромантию какую-то замышляете?

Одна из девочек подняла руку.

— Что такое «некромантия»?

— Это мы обсудим потом, а сейчас пусть наши юные друзья, мистер Арнольд и мистер Бауэрз, объяснят, о чем они шептались. Ну, молодые люди?

Дональд Бауэрз встал.

— Вы нам не нравитесь. Вот все, о чем мы говорили. — Он снова сел.

Мистер Говард поднял брови.

— Правда, откровенность мне по душе. Спасибо, вы были честны. Но притом это и вопиющая дерзость, а дерзости я не потерплю. После школы вы на час остаетесь и вымоете столы.

После занятий, шагая домой по падавшим под ноги осенним листьям, мистер Говард наткнулся на четырех своих учеников. Он крепко стукнул тростью по тротуару.

— Чем это вы занимаетесь, дети?

Мальчики и девочки вздрогнули, словно удар пришелся по ним.

— Ой. — Другого ответа им в головы не пришлось.

— А ну выкладывайте, — потребовал учитель. — Чем вы занимались, когда я подошел?

Уильям Арнольд отозвался:

— Играли в отраву.

— В отраву? — Учитель скривился. В его голосе слышался настороженный сарказм. — Отраву, отраву, играли в отраву. Ладно. И как в нее играют?

Уильям Арнольд неохотно пустился бежать.

— Сию минуту вернись! — закричал мистер Говард.

— Я просто показываю. — Мальчик перепрыгнул через бетонную плиту на тротуаре. — Вот так мы играем в отраву. Когда на пути покойник, мы через него перепрыгиваем.

— Да ну?

— Если ступишь на могилу, значит, ты отравлен, падаешь на землю и умираешь, — развеселым тоном объяснила Изабел Склтон.

— Покойники, отравленные могилы, — фыркнул мистер Говард. — Откуда вы взяли этих покойников?

— Видите? — Клара Парис указала учебником арифметики. — На этом месте имена двух мертвецов.

— Ха-ха.— Мистер Говард прищурился.— Да это просто фамилии подрядчиков, которые замешивали бетон и строили тротуар.

Изабел с Кларой ахнули и обратили возмущенные взгляды на мальчиков.

— А вы говорили, это могильные камни! — выкрикнули они почти одновременно.

Уильям Арнольд потупился.

— Ну да. Так и есть. Почти. Как бы.— Он поднял глаза.— Поздно уже. Мне пора домой. Пока.

Клара Парис всмотрелась в две фамилии, мелким шрифтом впечатанные в тротуар.

— Мистер Келли и мистер Террилл,— прочитала она.— Так это не могилы? Никакие мистер Келли и мистер Террилл здесь не похоронены? Видишь, Изабел, я ведь десять раз тебе говорила.

— Ничего ты мне не говорила,— надулась Изабел.

— Намеренная ложь.— Трость мистера Говарда выступивала нетерпеливую морзянку.— Чистой воды надувательство. Боже, мистер Арнольд, мистер Бауэрз, чтоб этого больше не было, поняли?

— Да, сэр,— пробормотали мальчики.

— Повторите громко!

— Да, сэр.

Мерным быстрым шагом мистер Говард двинулся прочь. Дождавшись, пока он скроется, Уильям Арнольд сказал:

— Хоть бы какая-нибудь птичка какнула ему прямо на нос...

— Пошли, Клара, поиграем в отраву,— с надеждой предложила Изабел.

Клара сморщила нос.

— Все настроение пропало. Я домой.

— Я отравился! — Дональд Бауэрз упал на землю и радостно затараторил: — Смотрите, я отравился! Гы-ы-ы!

Сердито фыркнув, Клара сорвалась с места.

Субботним утром мистер Говард выглянул в окно и узнал Изабел Скелтон: она что-то нарисовала мелом на тротуаре и, монотонно напевая, стала прыгать вокруг.

— А ну прекрати!

Стремительно выбежав из дома, мистер Говард едва не сбил девочку с ног. Он сгреб ее за плечи и бешено затряс, потом отпустил и замер, глядя на нее и рисунок.

— Я просто играла в классы. — Изабел утирала слезы.

— Знать ничего не хочу, здесь нельзя играть, — объявил учитель. Он наклонился и носовым платком стал стирать мел. — Ишь, ведьмочка малолетняя. Пентаграммы. Стишки и заклинания, а на вид все совершенно невинно. Боже, как невинно. Чертовка малолетняя! — Он замахнулся, но сдержал себя. Изабел, всхлипывая, убежала. — Беги, дура малолетняя! — ярился он. — Беги давай, доложи своей шайке, что затея сорвалась. Пусть придумают чего похитрей! Меня голыми руками не возьмешь, нет уж!

Ввалившись в дом, мистер Говард налил себе неразбавленного бренди и залпом выпил. Весь день, под каждым кустом, во всех тенистых уголках не умолкали голоса детей, игравших в прятки, камешки, шарики, запуская юлу и пинавших консервные банки. Маленькие чудовища не давали ему ни минуты покоя. «Еще неделя такой жизни, — подумал он, — и я окончательно рехнусь. — Он прижал ладонь к ноюще-

му лбу. — Боже, ну почему люди не рождаются сразу взрослыми?»

Прошла еще неделя. Учитель и дети все больше ненавидели друг друга. Ненависть росла не по дням, а по часам. Нервозность, взрывы гнева из-за выеденного яйца, а потом... молчаливое ожидание, и дети, забравшиеся на дерево за поздними яблоками, бросали сверху такие странные взгляды, и так печально пахла вступающая в свои права осень, и дни становились короче, и ночи наступали слишком рано.

«Они меня не тронут, не посмеют, — думал мистер Говард, заглатывая один стакан бренди за другим. — Все это глупости, ничего страшного. Скоро я уеду отсюда и... от них. Скоро...»

В окне забелел череп.

Это произошло вечером в четверг, в восемь. Неделя была долгая, со вспышками гнева, с руганью. У его дома рыли траншею для водопроводной трубы, и приходилось постоянно гонять оттуда детей. Рвы, котлованы, трубы — это им интересней всего на свете; лишь только где-нибудь начнется укладка водопровода, они уже тут как тут, лезут во все дыры. Но, слава богу, работы кончились, завтра рабочие засыпят траншею землей, утрумбуют, зальют тротуар бетоном, и детей и след простынет. Но в эту самую минуту...

В окне забелел череп!

Что им водит и стучит по стеклу детская рука, сомнений не было. Снаружи слышалось ребячье хихиканье.

Мистер Говард пулей вылетел из дома. «Эй вы!» Он догнал трех бегущих мальчиков. С криком на них набросился. На улице было темно, но мистер Говард увидел, как спереди и сзади возникли какие-то люди. Он разглядел, что они вроде бы связаны между собой, но что это значит, понял слишком поздно.

Земля разверзлась у него под ногами. Он свалился в яму и со всего маху треснулся головой об уложенную водопроводную трубу. Теряя сознание, он успел заметить признаки обвала, вызванного его падением: холодные, мокрые катышки земли шлепались на его брюки, ботинки, пиджак, на спину, загривок, голову, заполняли рот, уши, глаза, ноздри...

На следующий день соседка с завернутыми в салфетку яйцами стучалась в дверь мистера Говарда добрых пять минут. Открыв наконец дверь и войдя в дом, она не обнаружила ничего, кроме парящей в солнечных лучах пыли; в просторных коридорах было пусто, в подвале пахло углем и шлаком, на чердаке шныряли крысы, висели пауки, лежали выпцветшие письма. «Ума не приложу, — часто повторяла она в тот год, — и что такое могло случиться с мистером Говардом».

Взрослые, надо сказать, люди не наблюдательные: и в ту осень, и в последующие они не обратили ни малейшего внимания на группу ребятишек, игравших на Оук-Бэй-стрит в «отраву». И даже когда дети скакали и возились у бетонной плиты с надписью «М. ГОВАРД — R. I. P.»*, никто ничего не заподозрил.

— Кто такой мистер Говард, Билли?

— Ну, наверное, это мастер, который заливал бетон.

— А что значит R. I. P.?

— Ну кто его знает? Ты отравилась! Ты на него ступила!

— Прочь, дети, прочь, не путайтесь у мамы под ногами! А ну, живо!

* «Requiescat in pace» — «Да упокоится с миром» (лат.).

Дядюшка Эйнар

*

Argosy

Октябрь 1949

Моему дяде не было равных. Он был мой любимый супердядя. Работал он в прачечной в Уокигане и жил на другом конце города. Он и его семейство были наши шведские родственники, и дядя посещал нас не реже раза в неделю — доставлял белье (стирали нам за полцены, поскольку дядя у них служил). Он входил через заднюю дверь, и, когда он пересекал порог, весь дом оглашался смехом. Веселый, громогласный, удивительный шведский дядюшка. И вот я сказал: «Что ж, он заслуживает крыльев». Я приладил ему крылья, и это мне ничего не стоило. Рассказ дяде понравился: ему я первому отнес журнал со свежей публикацией.

*

— Да это минутное дело, — проговорила любимая спутница жизни дяди Эйнара.

— Я отказываюсь, — сказал дядя. — Отказаться — дело и вовсе секундное.

— Я все утро трудилась как проклятая. — Жена потерла свою стройную спину. — А ты и помочь не хочешь? Уже и погромыхивает, вот-вот ливень начнется.

— Пусть начнется, — упрямо возразил Эйнар. — Не подставлять же мне себя под молнии, только чтобы высушить твоё белье.

— Но ты ведь такой проворный, — улещала его жена. — И не заметишь, как сделаешь.

— Повторяю: я отказываюсь. — Огромные брезентовые крылья нервно шуршали за его негодующей спиной.

Жена дала ему тонкую веревку со свежестыраным бельем — сотня предметов. Дядя Эйнар pokrутил веревку в руках; на его лице было написано отвращение.

— Так вот до чего дошло, — пробормотал он горестным тоном. — Вот до чего, вот до чего. — На глазах у него выступили злые, едкие слезы.

— Не хнычь, а то снова его промочишь. Ну, поднимайся, сделай круг, и вся недолга.

— Сделай круг, — передразнил он голосом низким, замогильным и смертельно обиженным. — А дождь, а ливень — это ладно, это пусть!

— Если б на дворе было солнечно, я бы не просила, — резонно заметила жена. — Если ты откажешься, вся моя стирка пойдет коту под хвост. Придется развесить белье по всему дому...

Это заставило дядю Эйнара решиться. Что он смертельно ненавидел, так это гирлянды белья, от которых в доме нет проходу, только и кланяйся им на каждом шагу. Он подпрыгнул. Шумно расправил огромные зеленые крылья.

— Но только до ограды у выгона, — оговорил он.

— Отличненько! — Жена рассмеялась от облегчения.

Разворот: прыжок, как на пружине, и крылья, ласково жующие прохладный воздух. Гигантской петлей потянулась от дома над полями веревка, затряслось мелкой дрожью, роняя капли, белье, и растворилась в воздушном потоке последняя влага, и произошло это все быстрее, чем вы бы выговорили: «У дядюшки Эйнара есть зеленые крылья!»

— Лови!

Спустя минуту он вернулся, и сухое, как попкорн, белье легло на чистые одеяла, разостланные женой на месте приземления.

— Спасибо, дорогуша! — крикнула жена.

— Угу! — отозвался он, нырнул под яблоню и застыл там в задумчивости.

Красивые, шелковистые крылья дядюшки Эйна-ра висели у него за спиной, как паруса цвета морской волны, и громко шуршали, стоило ему чихнуть или резко обернуться. Он был одним из немногих представителей семейства, чьи таланты были у всех на виду. Прочая родня (родные и двоюродные братья, племянники), обитавшая по мелким городкам в разных концах земли, владела всякими фокусами, недоступными глазу, или обладала особой сноровистостью пальцев или зубов, умела летать по воздуху в образе сухого листа или бегать по лесам в образе волка. И им простые смертные были не очень страшны. Не то что человеку с большими зелеными крыльями.

Нельзя сказать, что он не любил свои крылья. Ничего подобного. В молодости он имел обыкновение летать по ночам. Ночь — самое то время, чтобы разгуляться обладателю крыльев. День таит в себе опасность — всегда таил и будет таить, но ночью... ах, ночью пари сколько хочешь над дальними странами и морями. Совершенно безопасно. Это был сплошной восторг.

Но теперь он не мог летать по ночам.

Несколько лет назад, после очередного Возвращения (члены Семьи собирались в Меллин-Тауне, Иллинойс), изрядно нагрузившись благородным алым вином, дядюшка Эйнар летел домой, на один из евро-

пейских горных перевалов. «Ничего со мной не случится», — бормотал он заплетающимся языком на долгом пути под утренними звездами, над холмами, что грезили о луне. И тут за Меллин-Тауном грянул гром небесный...

Опора линии электропередачи.

Попалась птичка! Адский жар! Фонтан синих искр, молотящий в лицо. Отчаянно дернув крыльями, он вырвался из плена проводов и упал.

И шлепнулся на залитый лунным светом луг под опорой, как толстая телефонная книга, которую кто-то вышвырнул в окошко.

Рано утром дядя Эйнар встал, мощно отряхивая сырые от росы крылья. Было еще темно. Только на восточном горизонте показалась тусклая полоска рассвета. Скоро она нальется солнцем, и тогда не полетаешь. Оставалось только спрятаться в лесу и дождаться в самой чаще, пока не наступит ночь и крылья в небе станут незаметны.

Тогда он и познакомился со своей женой.

В тот день (на редкость теплый для 1 ноября в Иллинойсе) хорошенькая юная Брунилла Уэксли вышла подоить потерявшуюся корову; с серебряным ведерком в руках пробираясь в чащу, она обращала к невидимой корове умную речь: не пора ли, мол, вернуться домой, пока не треснуло разбухшее вымя. В том, что корова, когда ей в самом деле приспичит подоиться, сама найдет дорогу, сомневаться не приходилось, однако это волновало Бруниллу Уэксли меньше всего. Корова была подходящим предлогом, чтобы побродить по лесу, подуть на чертополох, пожевать одуванчики, чем Брунилла и занималась, когда ей на пути попался дядюшка Эйнар.

Спящий под кустом, он походил на человека, соорудившего себе зеленое прикрытие.

— О,— сказала Брунилла, волнуясь.— Человек в палатке.

Дядя Эйнар пробудился. Палатка распустилась у него за спиной большим зеленым веером.

— О,— сказала Брунилла, искательница коровы.— Человек с крыльями.

Именно так она отнеслась к этой встрече. Ну да, Брунилла удивилась, но ей ни разу в жизни никто не причинял вреда, и поэтому она ничего не боялась, а между тем встреча с крылатым человеком была приключением, которым можно гордиться. Завязался разговор, и через какой-нибудь час они почувствовали себя старыми друзьями, а через два часа Брунилла уже не вспоминала о его крыльях. А дядя Эйнар, слово за слово, признался, что привело его в лес.

— Да, я заметила, вид у вас побитый,— кивнула Брунилла.— Правое крыло выглядит совсем неважно. Давайте я отведу вас к себе и поправлю его. Так или иначе до Европы на нем не долетишь. Да и кому в наши дни хочется жить в Европе?

Поблагодарив ее за предложение, дядя Эйнар усомнился, что сможет его принять.

— Но я живу одна,— заверила Брунилла.— Я ведь такая уродина, сами видите.

Дядя Эйнар со всей решительностью опроверг ее слова.

— Вы очень любезны,— последовал ответ,— но это так, и нечего себя обманывать. Родители у меня умерли, я — единственная владелица фермы, большой фермы, Меллин-Таун довольно далеко, словом перемолвиться не с кем, а хочется.

И она ничуть его не боится? — спросил он.

— Скорее завидую и горжусь знакомством. Можно? — Она почтительно, не без зависти, погладила большие зеленые мембраны.

Он вздрогнул от прикосновения и закусил язык.

После этого ему ничего не оставалось, кроме как пойти к ней в дом, чтобы приложить мазь к синяку и ожогу — ой, под самым глазом!

— Хорошо еще глаз уцелел, — сказала она. — Как вас угораздило?

— Опора линии электропередачи.

Показалась ферма. Не спуская друг с друга глаз, собеседники незаметно для себя прошагали уже целую милю.

Прошел день, потом другой. Дядя Эйнар в дверях поблагодарил Брунилу за мазь, заботу и приют и сказал, что должен идти. Наступали сумерки, и за срок от шести вечера до пяти утра ему нужно было пересечь океан и континент.

— Спасибо и до свидания, — заключил он, взмыл вверх и ткнулся прямиком в клен.

— Ой! — взвизгнула Брунилла и кинулась к бесчувственному телу.

Это решило дело. Пробудившись через час, дядя Эйнар понял, что впредь не сможет летать по ночам. Он утратил свой тонкий инструмент — ночное восприятие. Крылатое телепатическое чутье, сообщавшее о преградах: столбах, деревьях, телеграфных проводах; ясные зрение и разум, благодаря которым он лавировал меж сосен и утесов, — все было потеряно. Ушиб лица, синий электрический разряд — и чутье покинуло его, быть может, навсегда.

— И как же я теперь полечу в Европу? — жалобно простонал он.

— О,— протянула Брунилла, робко опустив глаза.— Кому туда хочется, в эту Европу?

Они поженились. Обряд свершил дальний родственник, один из членов Семейства. Звали его «священник Элиот»; Семейство постоянно упивалось тем, что один из обреченных на вечное проклятие Элиотов служит христианским проповедником. Ироническим замечаниям, шуточкам не было конца. Как бы то ни было, священник Элиот прибыл из Меллин-Тауна с папашей и мамашей Элиот и Лорой. Непродолжительная церемония показалась Брунилле немного непонятной, какой-то перевернутой, но завершилась она весельем. Стоя рядом с новобрачной, дядя Эйнар думал о том, что не смог полететь в Европу ночью, потому что в ночные часы ему изменяет зрение; не смог и днем, потому что днем его могут увидеть и застрелить, но это теперь и не важно, ведь рядом Брунилла и в Европу его тянет все меньше и меньше.

Однако чтобы взлететь вертикально в небо или спуститься на землю, особой зоркости не требуется. Поэтому неудивительно, что в день их венчания он обнял Бруниллу и взлетел с нею в облака.

Около полуночи фермер, живший в пяти милях отсюда, обратил внимание на низкое облако, которое слабо светилось и потрескивало.

— Зарница,— сказал он и сплюнул.

Спустились они только на следующее утро, с росой.

Брак оказался удачным. Брунилла лопалась от гордости за мужа; ее возвышало сознание, что нет на земле другой женщины, которая бы вышла замуж за чело-

века с крыльями. «Кто еще может этим похвастаться? — спрашивала она, глядя в зеркало. И отвечала: — Никто!»

Дядя Эйнар, со своей стороны, проницая взглядом ее лицо, видел большую красоту, безграничную доброту и понимание. Чтобы не смущать жену, он внес некоторые изменения в свой обычный рацион, а также с сугубой осторожностью вел себя в доме; разбить крылом фарфор или опрокинуть лампу — такого он себе не позволял, щадя нервы супруги. Еще он изменил распорядок сна и бодрствования, ведь летать ночами он все равно не мог. Супруга же переделала кресла, чтобы ему, с его крыльями, было удобно, — где добавила набивки, где убрала; и она вела речи, за которые он ее любил.

— Мы сидим в коконах, все мы, — сказала она однажды. — Видишь, какая я уродливая? Но придет день, и я вырвусь наружу и расправлю крылья, такие же красивые и нарядные, как у тебя.

— Ты вырвалась наружу уже давно, — уверил он. Она задумалась.

— Да, — признала она. — И мне известно, в какой день это случилось. Это случилось, когда я искала в лесу заблудившуюся корову и нашла палатку!

Они засмеялись. Достаточно было поглядеть на лицо Бруниллы, чтобы убедиться: со дня их встречи ее красота засверкала, как шпага, выхваченная из ножен.

У них родились дети. В первое время дядя Эйнар опасался, что они появятся на свет с крыльями.

— Ерунда, — сказала Брунилла. — Я буду их любить. Не станут путаться под ногами.

— Тогда они станут путаться у тебя в волосах! — воскликнул дядя Эйнар, обнимая супругу.

— Отлично!

Детей родилось четверо, трое мальчиков и одна девочка, пусть не крылатые, но очень бойкие — за несколько лет они повыскакивали, как поганки после дождя. В жаркие летние дни они просили отца сидеть с ними под яблоней, махать, как веером, крыльями и рассказывать чудные байки о юности и путешествиях в звездном небе. И он рассказывал. О ветрах, о разновидностях облаков, и что чувствуешь, когда у тебя во рту тает звезда, и каков на вкус высокогорный воздух, и как бывает, когда летишь камнем с вершины Эвереста, у самой мерзлой земли распускаешь крылья и расцветаешь зеленым цветком.

Такова была его семейная жизнь — тогда.

Но теперь, шесть лет спустя, дядя Эйнар куksился под яблоней, раздражался и ворчал; не потому, что так хотел, а потому, что после долгого ожидания так и не обрел своего особого чутья, способности к ночным полетам. Уныло сидя во дворе, он походил на зеленый тент от солнца, служивший летом защитой беспечным отпускникам, а ныне заброшенный и никому не нужный. Неужели он обречен сидеть здесь вечно, так как в дневном небе его может кто-нибудь заметить? Неужели его крыльям не найдется другого применения — только сушить белье для женушки и обмахивать в жаркий августовский полдень детей? Страшно подумать!

Вначале он не особенно роптал. Была Брунилла, была новая семья, какое-то время нужно было растить детей. Но вот он снова загрустил. Он не находил себе применения. Его единственным занятием всегда были полеты, поручения от семейства он выполнял с быстротой молнии. Ну да, в прежние дни он опережал телеграф. Подобно бумерангу, он носился над холма-

ми и долами, а приземлялся — как пушинка чертополоха. В деньгах он не нуждался — крылатый посланец требуется всем.

А теперь? Увы! Крылья трепетали у него за спиной.

— Папа, повей нам, — попросила маленькая Мэг.

Перед дядей Эйнаром стояли дети, заглядывая в хмурое от дум лицо.

— Не стану.

— Повей нам, папа, — попросил Рональд.

— Жары нет, март на дворе, и скоро дождь пойдет.

— Нет, папа, это просто ветер дует. Ветер раздувает все облака, — вмешался Стивен, кроха размером с пчелу.

— Придешь на нас посмотреть, папа? — спросил Майкл.

Дядя Эйнар спрятался в себе, как прячутся пальцы в кулаке.

— Ну все, марш отсюда, — велел он детям. — Дайте папе подумать.

В тот день он отгородился от всего: от брака, любви, детей любви и любви к детям. Брунилла на задней веранде развешивала белье.

— Сухое-пресухое, отличная работа, — радостно крикнула она, желая подбодрить мужа. Ей нравилось, чтобы все сияло: и горшки, и кастрюльки, и человеческие лица, а его настроение в последнее время можно было сравнить с ржавчиной, которую поди отчисти.

— На здоровье, — апатично отозвался дядя Эйнар, думая о прежних небесах, ночных небесах, звездных небесах, лунных небесах, ветреных небесах, прохладных небесах, полуночных и рассветных небесах, небесах облачных и всевозможных прочих.

Что же, такова его судьба: скрываясь от глаз, летать над выгоном так низко, что, того и гляди, слома-

ешь крыло о силосную башню или забор? Беда, да и только!

— Приходи на нас посмотреть, папа, — не унималась Мэг.

— Март наступил, — сказал Рональд.

— Да, март, — отозвался дядя Эйнар. — Дни, когда зима особенно ярится напоследок.

— Мы собираемся на холм. — Глаза Мэг блеснули как две бусинки. — И все дети из города — тоже.

Дядюшка Эйнар прихватил губами свою руку.

— На какой холм?

— На холм Змеев, куда же еще? — хором ответили дети.

Тут только он поднял взгляд.

Все четверо держали, прижимая к трепещущей груди по большому воздушному змею; покрытые испариной лица выражали нетерпеливое, пылкое ожидание. В маленьких пальчиках были зажаты мотки белой бечевки. Змеи были пестрые, красно-сине-желто-зеленые, с хвостами из хлопчатобумажных и шелковых лент.

— Мы будем запускать наших змеев! — сообщил Рональд. — Неужели не придешь посмотреть?

— Нет, — грустно отозвался отец. — Меня увидят. Вы ведь знаете, мне нельзя показываться, а то будут неприятности.

— Ты можешь прятаться в лесу и смотреть оттуда. Нам так хочется, чтобы ты посмотрел, — взмолилась Мэг.

— Мы их сами сделали, — похвастался Майкл. — Потому что мы знаем как.

— Откуда вы это узнали?

— Потому что наш отец — ты! — вскричали все разом. — Потому и узнали.

Дядя Эйнар обвел взглядом всех четырех. Вздыхнул.

— Фестиваль воздушных змеев, так?

— Да, сэр!

— Я собираюсь победить, — сказала Мэг.

— Нет, я! — крикнул Майкл.

— Я, я! — пропищал Стивен.

— Так боже ж мой! — взревел дядя Эйнар и подпрыгнул, оглушительно гремя крыльями. — Дети! Дети, я люблю вас, люблю больше всего на свете!

— Ты заболел? — спросил Майкл, отступая.

— Нет, клянусь небом! — пропел дядя Эйнар, выгибая свои крылья во всю их красоту и славу. Стук, гром, цимбалы! Дети, подкошенные потоком воздуха, с хохотом попадали на землю. — Я знаю, знаю! Свобода, я снова свободен! Огонь в дымоходе! Перо на ветру! Брунилла! — крикнул Эйнар, повернувшись к дому; Брунилла высунула голову. — Я свободен! — кричал он, высокий, устремленный в небо. — Послушай, Брунилла, мне не нужна теперь ночь! Я могу летать и днем! Ночь не нужна! Теперь я буду летать днем, каждый день, и никто не узнает, никто меня не подстрелит, и... но боже, что ж я болтаю. Время не ждет. Гляди!

Под испуганными взглядами домашних дядя Эйнар схватил хлопчатобумажный хвост от одного из маленьких змеев, прицепил себе к поясу, ближе к спине, зажал в зубах конец бечевки, сунул моток в руки кого-то из детей и круто взмыл в поток мартовского ветра!

И дети дяди Эйнара помчались через луга и фермы, ликуя, спотыкаясь и выпуская в ясное небо все новые ярды бечевки, а Брунилла осталась возле их общего обиталища и только махала рукой и смеялась от облегчения, поскольку знала, что счастье семье теперь обеспечено; и дети добрались до холма Змеев и, сжи-

мая в дрожащих от гордости пальцах моток, принялись все четверо дергать, травить и тянуть. Прибежали ребятишки из Меллин-Тауна, запуская своих маленьких змеев, увидели, как пляшет в небе большой зеленый змей, и затараторили:

— Ух ты, ну и змеище! Ну и змеище! Ух ты! Вот бы мне такого! Ну и змеище! Где вы такого взяли?

— Это наш папа сделал! — закричали Мэг, и Майкл, и Стивен, и Рональд и восторженно повисли на бечевке, а в небе гудел и громыхал воздушный змей, выписывая на облаке волшебный восклицательный знак!

Ветер

*

Weird Tales

Март 1943

Просто удивительно, насколько они взяты из жизни, все эти рассказы. Случилось так, что, пока я рос, мне снова и снова приходилось слышать этот ветер. Иногда над Уокиганом проносились просто ураганные ветра. И звучали они печально, словно туманный горн. И в один прекрасный день я сказал: «Ладно, все понятно... больше я не позволю ветру меня донимать. Я напишу о нем рассказ».

*

В тот вечер телефон зазвонил в половине седьмого. На дворе был декабрь; когда Томпсон взял трубку, успело уже стемнеть.

— Алло.

— Привет, это Херб?

— А, это ты, Аллин.

— Твоя жена дома, Херб?

— Конечно. А что?

— Черт.

Херб Томпсон спокойно прижимал к уху трубку.

— Что случилось? Ты как-то странно разговариваешь.

— Я хотел, чтобы ты приехал.

— У нас гости.

— Я хотел, чтобы ты остался у меня ночевать. Когда твоя жена уезжает?

— На следующей неделе. Пробудет в Огайо дней девять. У нее мать болеет. Вот тогда я смогу приехать.

— Мне нужно, чтобы ты приехал сегодня.

— Что случилось? Опять ветер?

— Нет-нет. Нет.

— Ветер? — спросил Томпсон.

Собеседник колебался.

— Да. Да, ветер.

— Вечер ясный, ветер не особенно сильный.

— Достаточно сильный. Задувает в окно, колышет занавески. Достаточно сильный, чтобы сказать мне.

— Слушай, отчего бы тебе не приехать и не переночевать здесь? — Херб Томпсон обвел взглядом ярко освещенную прихожую.

— О нет. Слишком поздно. Он может настигнуть меня на дороге. Уж очень дальний путь. Я не решусь, но все равно спасибо. Тридцать миль, но спасибо тебе.

— Прими снотворное.

— Херб, я уже час стою в дверях. Я вижу, что творится на западе. Там облака, и их рвет на клочья. Ветер будет, можешь не сомневаться.

— Ладно, заглоти таблеточку снотворного — и порядок. И звони мне, когда захочешь. Хочешь — позвони еще раз сегодня вечером.

— В любое время? — спросил голос в телефоне.

— Конечно.

— Я так и сделаю, но мне хотелось, чтобы ты приехал. Впрочем, я не хочу, чтобы ты пострадал. Ты мой лучший друг, и я предпочитаю, чтобы ты был цел. Наверное, будет лучше мне самому с этим разобраться. Прости, что я тебя побеспокоил.

— Черт, а на что же лучшие друзья? Ты вот чем займись: сядь спокойно и сделай за вечер кусок работы, — говорил Херб Томпсон, переминаясь с ноги на ногу в прихожей. — Выбрось из головы Гималаи и До-

лину ветров, забудь о своих любимых бурях и ураганах. Добавь лучше новую главу к очередной книге о путешествиях.

— Да, наверное. Может, и получится, не знаю. Может, и получится. Да, наверное. Спасибо и прости за беспокойство.

— Да за что, к черту, спасибо. Я разъединяюсь. Жена зовет к столу.

Херб Томпсон повесил трубку.

Сел за обеденный стол; жена села напротив.

— Это Аллин? — спросила жена; Томпсон кивнул. — Аллин с его ветрами: ветер в гору, ветер с горы, ветер жаркий, ветер холодный. — И жена протянула Томпсону до краев наполненную тарелку.

— У него была неприятная история в Гималаях, во время войны.

— Ты веришь тому, что он рассказывает об этой долине?

— Рассказ интересный.

— Туда полезли, сюда забрались... Зачем карабкаться черт-те куда, чтобы там перетрусить?

— Шел снег, — сказал Херб Томпсон.

— Правда?

— Снег, дождь, град и ветер — все случилось разом там, в долине. Аллин мне десять раз рассказывал. Он рассказывает так, что заслушаешься. Он забрался на большую высоту. Облака и все такое. И долина зашумела.

— Ну наверно, — хмуро бросила жена.

— Словно бы ветер был не один, а множество. Ветра со всего мира. — Он проглотил кусок. — Так Аллин говорит.

— Прежде всего, зря его туда понесло. Суете всюду любопытный нос, а потом воображение разыгры-

вается. Покоя от вас нет, вот ветра на вас и накидываются.

— Хватит шутить, он мой лучший друг,— огрызнулся Херб Томпсон.

— Глупость несусветная!

— Как бы то ни было, он очень многое пережил. Позднее была буря в Бомбее, а через два месяца — ураган на островах в Тихом океане. И в тот раз, в Корнуолле.

— Я не готова сочувствовать человеку, который на каждом шагу попадает в бури и ураганы и от этого у него мания преследования.

Телефон снова зазвонил.

— Не бери трубку,— сказала жена.

— Может, это что-то важное.

— Это опять Аллин.

Телефон прозвонил девять раз, супруги не отвечали. Наконец он смолк. Томпсон с женой закончили обед. За дверью, в кухне, легкий ветерок шевелил занавески у приоткрытого окна.

Телефон снова зазвонил.

— Нет, я так не могу,— сказал Херб Томпсон и взял трубку.— А, Аллин, привет.

— Херб! Он здесь! Он добрался сюда!

— Ты слишком близко держишь трубку, отодвинься немного.

— Я стоял в открытых дверях и ждал. И увидел, как он движется по шоссе, как раскачивает по пути деревья, как затряслись деревья у самого дома; и он нырнул к двери, и я захлопнул дверь перед самым его носом!

Томпсон молчал. Ему не шли в голову слова, пока в дверях прихожей стояла жена и наблюдала.

— Интересно,— произнес он наконец.

— Он окружил дом, Херб. Я не могу сейчас выйти, не могу ничего сделать. Но я его ловко обставил: в самый последний момент захлопнул и запер дверь! Я был готов, я не одну неделю готовился.

— Я слушаю, рассказывай, Аллин, старина. — Под взглядом жены Херб Томпсон говорил жизнерадостным тоном, но на шее у него выступила испарина.

— Это началось полтора месяца назад...

— Правда? Ну-ну.

— ...Я-то думал, что все уладилось. Думал, он отступился, оставил меня в покое. Но он просто выжидал. Полтора месяца назад я услышал, как ветер смеялся и шептал у меня под окнами. Не очень долго, какой-нибудь час, и не очень громко. Потом он улетел.

Томпсон кивнул в телефонную трубку:

— Рад это слышать, рад слышать.

Жена не спускала с него глаз.

— На следующий вечер он вернулся. Хлопал шторами, вздувал искры в камине. Это повторялось пять вечеров, каждый раз с чуть большей силой. Когда я открывал переднюю дверь, он накидывался на меня, стараясь вытянуть наружу, но у него не хватало силы. А сейчас хватает.

— Рад слышать, что ты себя лучше чувствуешь, — сказал Томпсон.

— Ничуть не лучше, что там с тобой? Жена слушает?

— Да.

— А, понятно. Я знаю, меня можно принять за дурачка.

— Ничего подобного. Продолжай.

Жена Томпсона вернулась в кухню. Он вздохнул свободно. Сел на стульчик у телефона.

— Продолжай, Аллин, тебе надо выговориться, лучше будешь спать.

— Он теперь окружил дом, огромным пылесосом присосался к стенам. Деревья кругом гнутся.

— Странное дело, Аллин, здесь у меня ветра нет.

— Конечно, ему нужен не ты, ему я нужен!

— Не знаю, как еще это объяснить.

— Это убийца, Херб, доисторический убийца, таких жестоких свет еще не видел. Большая сопящая собака, ищет меня, вынюхивает. Тычется в стены своим огромным холодным носом, втягивает воздух: я в гостиной — весь напор в гостиную, я в кухне — весь напор туда. Пытается забраться в окна, но я их укрепил, в дверях обновил петли и засовы. Дом крепкий. В старые времена дома строили на совесть. У меня сейчас всюду горит свет. Весь дом ярко освещен. А то ветер следовал за мной от окна к окну, следил, где зажигаются лампочки. Ох!

— Что такое?

— Он только что взялся за переднюю дверь!

— Лучше бы ты переночевал у меня, Аллин.

— Не могу! Боже, я не могу выйти из дому. Я ничего не могу сделать. Господи, я знаю этот ветер, он большой и хитрый. Только что я попробовал закурить сигарету, но спичку загасило сквозняком. Этому ветру нравится играть в кошки-мышки, нравится меня дразнить, он нарочно медлит, всю ночь медлил. А теперь! Господи, видел бы ты мой рабочий стол, что делается с моей старой книгой о путешествиях. Легкий ветерок — через какую такую малюсенькую дырочку он просочился, одному богу известно, — откидывает обложку, листает страницы, одну за другой. Ты бы только видел. Там мое предисловие. Помнишь мое предисловие к книге о Тибете, а, Херб?

— Помню.

— Книга посвящена тем, кто потерпел поражение в игре стихий, а написал ее человек, который видел, но всегда избегал возмездия.

— Да, помню.

— Свет погас.

В телефоне затрещало.

— Электропитание нарушено. Херб, ты там?

— Я у телефона.

— Ветру не понравилось, что во всем доме горят лампочки, и он повредил линию электропередачи. Теперь, наверно, очередь за телефоном. Настоящий поединок, скажу я тебе, я и ветер! погоди минутку.

— Аллин? — Молчание. Херб приник к трубке. Из кухни выглянула жена. Херб Томпсон ждал. — Аллин?

— Вот и я, — доложил голос в трубке. — От двери дуло, я заткнул щель под дверью, чтобы не простудить ноги. Теперь, Херб, я даже рад, что ты не приехал; лучше не втягивать тебя в эту заварушку. Он разбил окно гостиной, по дому гуляет буря, срывает картины со стен. Слышишь?

Херб Томпсон прислушался. Из трубки несяся дикий вой, свист и стуки. Аллин повторил, перекрикивая шум:

— Слышишь?

Херб Томпсон нервно сглотнул.

— Слышу.

— Я ему нужен живым, Херб. А то бы он одним бешеным порывом смел дом с лица земли. Тогда бы я погиб. Но я ему нужен живым, он хочет разорвать меня на части, палец за пальцем. Ему нужно то, что внутри меня. Мой разум, мой мозг. Ему нужно мое жизненное начало, душевная сила, мое эго. Интеллект, вот до чего он добирается.

— Аллин, меня жена зовет. Я должен пойти вытереть тарелки.

— Это большой клуб тумана, ветра со всего мира. Тот самый ветер, что год назад опустошил Целебес, тот памперо, что привел к жертвам в Аргентине, тайфун, что питал источники на Гавайях, ураган, атаковавший в этом году берег Африки. Он — часть всех бурь, от которых я спасся. Он гнался за мной с Гималаев, потому что я узнал то, чего знать не должен; узнал в Долине ветров, где он собирается воедино и намечает, что разрушить. Когда-то, уже давно, в нем отчего-то проросло зерно жизни. Я знаю, где кормится этот ветер, где он рождается, где угасают ветра, из которых он состоит. Поэтому он меня возненавидел, я ведь писал книги против него, рассказывал, как с ним бороться. Он хочет заткнуть мне рот. Хочет сделать меня частью своего огромного организма, присвоить себе мои знания. Он хочет, чтобы я перешел на его сторону!

— Я должен повесить трубку, Аллин, моя жена...

— Что? — Собеседник замолк, только где-то вдали шумел ветер. — Что ты сказал?

— Перезвони мне примерно через час, Аллин.

Херб Томпсон повесил трубку.

Он пошел в кухню вытирать тарелки. Жена глядела на него, а он — на тарелки, вытирая их полотенцем.

— Как сегодня на дворе? — спросил он.

— Погода неплохая. Мороза нет. Звезды. А что?

— Ничего.

За час телефон звонил еще три раза. В восемь прибыли гости, Стоддарт с женой. До половины девятого все болтали, потом сели за карточный стол играть в очко.

Херб Томпсон снова и снова тасовал, мешал, сдвигал колоду, громко хлопая, раздавал карты игрокам.

Разговор перескакивал с темы на тему. Сжимая в зубах сигару с красивым серым пеплом на кончике, а в руке — веер карт, Томпсон то и дело вскидывал голову и прислушивался. Снаружи не доносилось ни звука. Жена видела его беспокойство; часы в прихожей негромко и мелодично пробили девять.

— Так-то вот,— произнес Херб Томпсон, вынимая изо рта сигару и задумчиво ее рассматривая.— Странная штука — жизнь.

— Да? — спросил мистер Стоддарт.

— Я только хочу сказать, мы вот здесь проживаем свои жизни, а где-то еще на земле миллиард других людей проживают свои.

— Утверждение, я бы сказал, наивное.

— И тем не менее верное. Жизнь...— Томпсон опять сунул в рот сигару.— Жизнь — штука одинокая. Даже у семейных пар. Обнимаешь, бывает, кого-то, а чувствуешь, что между вами расстояние в миллион миль.

— Недурно сказано,— вмешалась его жена.

— Я не то имел в виду.— Херб Томпсон объяснял-ся неспешно; вины он за собой не чувствовал и потому мог не торопиться.— Я вот о чем: все мы верим в то, во что верим, и проживаем свои маленькие жизни, а другие люди проживают свои, отличные от нашей. Я о том, что, пока мы здесь сидим, множество народу на земле умирает. Кто от рака, кто от воспаления легких, кто от туберкулеза. И именно в эту минуту кто-то в Соединенных Штатах погибает в автомобильной аварии.

— Не очень-то веселый разговор,— заметила жена.

— Я хочу сказать, все мы живем и не думаем о том, как живут, умирают, о чем думают другие. Мы ждем, пока за нами не придет смерть. Я хочу сказать, мы си-

дим здесь на наших самодовольных задницах, а в тридцати милях отсюда, в большом старом доме, окруженном ночью и бог знает чем, один из самых замечательных на свете парней...

— Херб!

Он затянулся, пожевал сигару и невидящим взглядом уставился в карты.

— Прости.— Он мигнул и прикусил сигару.— Мой ход?

— Твой.

Игра продолжалась, карты мелькали, игроки делали ходы, беседовали, перешептывались, смеялись. Херб Томпсон все ниже сползал по спинке стула и все больше бледнел.

Зазвонил телефон. Томпсон молнией кинулся к нему и схватил трубку.

— Херб! Я так долго звонил.

— Я не мог подойти, жена не пускала.

— Что делается у тебя дома, Херб?

— Что делается? Ты это о чем?

— Гости пришли?

— Черт, да...

— Разговариваете, смеетесь, играете в карты?

— Господи, да, но какое это имеет отношение?..

— Куришь, как обычно, десятицентовую сигару?

— Проклятье, да, но...

— Здорово,— с завистью произнес голос в трубке.— Здорово, ничего не скажешь. Хотел бы и я там быть. Хотел бы я не знать того, что знаю. Мне много чего хочется.

— Как ты?

— Пока неплохо. Я теперь заперся в кухне. Ветер только что обрушил переднюю стену дома. Но я спла-

нировал, как буду отступать. Когда не выдержит дверь кухни, я спущусь в погреб. Если повезет, продержусь там до утра. Чтобы до меня добраться, ему нужно будет снести к черту весь дом, а дверь погреба очень прочная. У меня есть лопата, можно закопаться глубже...

В трубке послышался хор других голосов.

— Что это? — спросил Херб Томпсон, холодея.

— Это? Это голоса десятка тысяч людей, убитых тайфуном, семи тысяч, убитых ураганом, трех тысяч, погубленных циклоном. Тебе не надоело? Перечень длинный. Это все он, тот самый ветер. Множество мертвецов, погубленных душ. Ветер убил их и отнял их ум, их души, чтобы самому стать мыслящим существом. Он отнял их голоса, сделав из них единый голос. Любопытно, правда? Их миллионы, убитых в прежние века, замученных и искалеченных, несомых с континента на континент в утробах муссонов и вихрей. В такие дни, как этот, я делаюсь поэтом.

В трубке звенели, отдаваясь эхом, голоса, крики, вой.

— Херб, иди к нам, — позвала жена, сидевшая за карточным столом.

— Вот так он и умнеет год от года, этот ветер; приумножает свой ум с каждым новым телом, с каждой новой жизнью, с каждой новой смертью.

— Мы ждем тебя, Херб, — позвала жена.

— Тыфу ты! — огрызнулся Томпсон. — Секунду потерпеть не можешь! — И снова заговорил в трубку: — Аллин, если хочешь, если тебе нужна помощь, я приеду прямо сейчас.

— Даже не думай. Это битва не на жизнь, а на смерть, не хочу тебя вмешивать. Ладно, я вешаю трубку. Кухонная дверь еле держится, лучше я сойду в погреб.

— Перезвонишь мне позднее?

— Если получится. Не думаю, что на этот раз я вернусь. На Целебесе я от него сбежал, но тут вряд ли. Надеюсь, я не очень побеспокоил тебя, Херб.

— Да брось, никого ты не побеспокоил. Звони еще...

— Попытаюсь...

Херб Томпсон вернулся к карточной игре. Жена смотрела на него с любопытством.

— Ну, как там твой приятель Аллин? Он хоть трезвый?

— Он в жизни не прикасался к спиртному, — сердито буркнул Томпсон, садясь на место. — Нужно мне было поехать к нему.

— Но он уже больше месяца трезвонит тебе по вечерам, ты раз десять у него ночевал, и ничего страшного не случилось.

— Ему нужна помощь. Он может себе повредить.

— Ты уже был у него на днях, нельзя же вечно с ним нянчиться.

— Первое, что я сделаю с утра, это отправлю его в медицинское учреждение. Я этого не хотел. Он кажется таким разумным, здравомыслящим.

Они сыграли несколько партий. В половине одиннадцатого был подан кофе. Херб Томпсон пил медленно, поглядывая на телефон. «Где он, интересно, в погребке?» — думал он.

Херб Томпсон пошел к телефону, вызвал междугородную, попросил соединить.

— Извините, — отозвалась телефонистка. — Там повреждение на линии. Когда починят, мы вас соединим.

— Так телефонная линия в самом деле вышла из строя!

Томпсон кинул трубку. Он бегом пересек холл, открыл чулан, выхватил шляпу и пальто.

— Простите! — крикнул он. — Вы ведь не обидитесь? Мне, ей-богу, очень жаль, — сказал он изумленным гостям и жене, застывшей с кофейником в руках.

— Херб! — возмутилась она.

— Мне надо ехать, — бросил он. И стал натягивать пальто.

В дверь словно бы кто-то тихонько заскребся.

Хозяева и гости превратились в слух.

— Кто бы это мог быть? — спросила жена.

Шорох послышался снова, очень слабый.

Томпсон поспешил к двери, остановился и стал слушать.

Снаружи раздался едва различимый смех.

— Чтоб мне провалиться, — проговорил Томпсон. Судивленной улыбкой и вздохом облегчения он взялся за дверную ручку. — Этот смех я узнаю где угодно. Это Аллин. Он все-таки приехал, на машине. Спешит поделиться своими невероятными байками, не мог подождать до утра. — Томпсон хихикнул. — Наверное, привез с собой приятелей. Там вроде бы много голосов...

Он открыл дверь.

На веранде было пусто.

Томпсон не удивился, лишь состроил хитрую физиономию и рассмеялся.

— Аллин? Брось свои шуточки! Входи. — Он включил на веранде свет и огляделся. — Ты где, Аллин? Ну, входи давай.

Ему в лицо подул слабый ветерок.

Томпсон на мгновение задержался в дверях; внезапно его до костей пробрал холод. Потом он шагнул на веранду и боязливо огляделся.

Внезапно налетевший ветер захлопал полами его пальто, взъерошил волосы. Ему снова почудился смех. Вдруг ветер обогнул дом, задул со всех сторон, бушевал с минуту и улетел.

Ветер замирал, жалобно плакал в ветвях, улета прочь; возвращаясь к морю, Целебесу, Берегу Слоновой Кости, к Суматре и мысу Горн, к Корнуоллу и Филиппинам. Слабея, слабея, слабея.

Томпсон стоял, похолодевший. Вернулся в дом, закрыл дверь и оперся на нее спиной; недвижимый, с закрытыми глазами.

— Что стряслось?...— спросила жена.

Ночь

*

Weird Tales

Июль 1946

Это правдивая история — с начала до конца. Мне было около восьми лет, дело происходило летней ночью, мой брат отправился куда-то на ту сторону оврага играть в бейсбол и не вернулся домой. И вот мы с матерью пришли к оврагу, остановились на краю, и мать крикнула брата. Ответа не было. Она звала и звала. У нее на глаза навернулись слезы. Тогда я впервые в жизни по-настоящему испугался, потому что в голове вертелась мысль: «А если он так и не ответит?» Что, если он спустился в овраг и не вышел? Я испугался до чертиков. А потом издали донесся крик брата: он с приятелями был на той стороне. Брат бегом пересек овраг, и мы пошли домой. Поздно ночью вернулся с профсоюзного собрания отец. Я уже засыпал, но проснулся, дверь открылась, захлопнулась, отец вошел, неся с собой запах ночи, холодный и чистый, как ментол. Словно бы Бог явился под конец неудачного вечера. Ты ничего не говоришь, он тоже молчит, но такая радость, что ты дома, в постели, и брат, мать и отец тоже дома. История правдивая, правдивей не бывает.

*

Ты ребенок, живешь в маленьком городке. Точнее, тебе восемь лет, уже поздно, наступает ночь. Поздно для тебя, ведь ты привык ложиться в девять или в половине десятого, только иногда просишь маму и папу, чтобы позволили тебе задержаться и послушать Сэма и Генри на странном радио, что было популярным в

тот, 1927 год. Но чаще всего в это время суток ты лежишь уютненько в постели.

На дворе лето, тепло. Ты живешь в маленьком домике на узкой улочке на окраине, где уличные фонари — редкость. Магазин открыт только один, в соседнем квартале, его владелица — миссис Сингер. В тот жаркий вечер мать гладила выстиранное в понедельник белье, а ты то клянчил мороженое, то всматривался в темноту.

Вы с матерью в доме одни, вас окружает душная темнота. Наконец, перед самым закрытием магазина миссис Сингер, мать сдается и говорит:

— Беги, купи пинту мороженого, но только пусть миссис Сингер получше его упакует.

Ты спрашиваешь, можно ли сверху положить шоколадного, потому что ванильное ты не любишь, и мать соглашается. Ты хватаешь деньги и босиком припускаешь по нагретому за день тротуару, над головой мелькает листва яблонь и дубов. Город затих в отдалении, только поют сверчки за густо-синими деревьями, заслонившими небосвод.

Шлепая босыми ногами по мостовой, ты перебегаешь улицу и видишь миссис Сингер: она неуклюже расхаживает по магазину, напевая еврейские мелодии.

— Пинту мороженого? — переспрашивает она. — Сверху — шоколадное? Ага!

Ты наблюдаешь, как она снимает ошупью металлическую крышку контейнера для мороженого, как орудует ложечкой, заполняет до краев пинтовую картонную емкость — «сверху шоколадным, ага!». Ты отдаешь деньги, берешь ледяную упаковку, радостно смеясь, проводишь ею по лбу и щекам и шлепаешь босыми ногами домой. За спиной, мигая, погасает витрина одинокого магазинчика, дорогу освещает толь-

ко неяркий фонарь на углу, кажется, весь город отошел ко сну...

Открыв дверь, ты обнаруживаешь, что мама все еще гладит белье. Она глядит встревоженно, но пытается улыбаться.

— Когда папа возвращается с профсоюзного собрания? — спрашиваешь ты.

— В половине двенадцатого или в двенадцать, — отзывается мать. Относит мороженое в кухню, делит. Отдает тебе свое шоколадное, накладывает немного себе, а остальное прячет: — Для Скиппера и отца, когда вернутся.

Скиппер — твой брат. Старший брат. Ему двенадцать, он румяный здоровячок с орлиным носом, рыжеватыми волосами, плечами, слишком широкими для его возраста, и он ни минуты не сидит на месте. Ему разрешено ложиться позднее, чем тебе. Ненамного, но достаточно, чтобы он почувствовал свои преимущества как старшего. Тем вечером он отправился на другой конец города играть в пятнашки и скоро должен был вернуться. Когда они с ребятами затевали игру, беготня и вопли продолжались часами. Скоро он, потный, протопает через порог, колени его будут пахнуть свежей травой, а все остальное, как обычно, Скиппером, что и понятно.

Ты садишься есть мороженое. Ты в самом сердце летней ночи, тихой и безмятежной. Твоя мать, ты сам, ночь вокруг маленького домика на тесной улочке. Прежде чем заново погрузить ложку в мороженое, ты досуха ее облизываешь, мама убирает гладильную доску, укладывает в ящичек горячий утюг, усаживается в кресло у патефона, берется за мороженое и говорит:

— Господи боже, ну и жаркий же был день. И сейчас еще жарко. Земля прогревается за день и ночью отдает тепло. Как спать в такую духотищу?

Оба вы сидите и слушаете летнюю тишину. За окнами, дверьми простерт сумрак, радио не работает: сели батарейки; пластинки (Никербокер-квартет, Эл Джолсон, «Две черные вороны») играны-переиграны, так что ты просто сидишь на полу у двери и вглядываешься в сумрачный-пресумрачный наружный сумрак, прижимая нос к стеклянной панели так плотно, что на кончике образуются два темных квадрата.

— Не пойму, куда запропастился твой брат? — спрашивает наконец мать. Ее ложка скребет по тарелке. — Ему пора быть дома. Уже почти половина десятого.

— Появится, — отвечаешь ты, зная точно, что он и в самом деле появится.

Выходишь за мамой в кухню, чтобы помыть посуду. Каждый звук, звяканье ложки или тарелки, усиливается в раскаленном воздухе. Молча отправляешься в гостиную, снимаешь с дивана подушки, рывком его открываешь и растягиваешь, превращая в двуспальную кровать, которой он втайне является. Мать застилает постель, аккуратно взбивает подушки, чтобы твоей голове было удобно. Ты начинаешь расстегивать рубашку, но мать говорит:

— Погоди, Дуг.

— Почему?

— Потому что я так говорю.

— Ты какая-то странная, мама.

Мать садится, потом встает, идет к двери и зовет Скиппера. Ты слушаешь ее неумолчный крик: Скиппер, Скиппер, Ски-и-и-и-пер-р-р-р. Ее крики улетают в летний жаркий сумрак и назад не возвращаются. Эхо не обращает на них внимания.

Скиппер, Скиппер, Скиппер.

Skipper!

Ты сидишь на полу, и тебя пробирает холодок, не имеющий никакого отношения ни к мороженому, ни

к времени года, ни к времени суток. Мама прячет взгляд, моргает; поза ее нерешительна, движения дерганные. Все как-то не так.

Она открывает наружную дверь. Погружаясь в темноту, сходит по ступенькам, добирается до сиреневого куста у дорожки. Ты прислушиваешься к ее шагам.

Она снова зовет. Молчание.

Она дважды выкрикивает имя Скиппера. Ты сидишь в комнате. Ждешь, что Скиппер вот-вот отзовется из дальнего конца тесной протяженной улицы: «Все нормально, мама! Мам, все нормально! Привет!»

Но он не откликается. Минуты две ты сидишь, оглядывая разостланную постель, немое радио, немой патефон, мирно поблескивающую люстру с хрустальными подвесками, ковер с алыми и пурпурными завитушками. Намеренно спотыкаешься о кровать, чтобы посмотреть, будет ли больно. Чувствуешь боль.

Дверь со скрипом открывается, мать говорит:

— Пошли, Мелкий. Прогуляемся.

— Куда?

— До угла. Пошли. Только надень-ка ботинки. А то протушишься.

— Не, не хочу. Ничего со мной не будет.

Ты берешь ее за руку. Вы идете по Сент-Джеймс-стрит. Пахнет сиренью, раздавленные опавшие яблоки в траве тоже испускают аромат. Бетон под ногами еще теплый, сверчки заливаются еще громче в густеющем сумраке. Вы выходите на угол, поворачиваете, направляетесь к оврагу.

Где-то проезжает автомобиль, в отдалении сверкают фары. Нигде ни жизни, ни света, ни движения. Там и сям, сзади, вдали от оврага, куда вы идете, слабо светятся прямоугольники окон: кто-то еще не спит. Но большинство уже удалилось на покой, лишь кое-

где на верандах сидят без света обитатели жилищ и ведут тихие непонятные разговоры. Приближаясь, ты слышишь, как поскрипывают доски под их ногами.

— Жаль, твоего отца нет дома, — говорит мать. Ее большая ладонь крепче обхватывает твою маленькую. — Ну, поймаю я этого мальчишку. Ему не поздоровится.

Специально для таких случаев в кухне висит ремень для правки бритв. Ты вспоминаешь, как папа, свернув ремень вдвое и строго дозируя усилия, махал им над твоими мятежными конечностями. Ты сомневался, что мать исполнит свое обещание.

Вы миновали следующий квартал и стоите теперь на углу Чейпел-стрит и Глен-Рок, у черного силуэта Немецкой баптистской церкви. За церковью, ярдах ста, начинается овраг. Ты чуешь его запах. Пахнет канализацией, гнилой листвой, густой зеленью. Овраг широкий, пересекает город волнистой линией; днем он похож на джунгли, а ночью на место, где лучше не показываться. Это часто повторяет мать.

Близость Немецкой баптистской церкви должна бы тебя успокаивать, но не успокаивает: от неосвещенного холодного здания пользы не больше, чем от развалин на краю оврага.

Тебе всего восемь лет, ты мало что знаешь о смерти, страхе или опасности.

Смерть — это восковая фигура в гробу; тебе было шесть лет, когда умер дедушка: в гробу он походил на большую хищную птицу, упавшую с неба; замкнулся в молчании, и никогда больше не услышишь от него ни наказа быть хорошим мальчиком, ни отрывистых замечаний о политике. Смерть — это твоя младшая сестренка: однажды утром (тебе было семь лет) ты заглянул в ее кроватку и встретил ответный взгляд ее голубых глаз, невидящий и застывший, и под этим взгля-

дом ты дождался, пока не пришли люди с плетеной корзинкой и не забрали ее с собой. Смерть — это когда ты, стоя через месяц у ее креслица, внезапно понял, что больше она никогда здесь не будет, не зальется, вызывая в тебе ревность, смехом или плачем. Такова смерть.

Но сейчас ты столкнулся с чем-то большим, чем смерть. Летняя ночь погружается в глубины времени, в звезды и теплую вечность. Это вдруг вернулось и прочно обосновалось в тебе существо всего того, что ты за свою жизнь почувствовал, увидел или услышал.

Сойдя с тротуара, вы бредете к оврагу по исхоженной гравиевой тропинке, окаймленной сорной травой. Сверчки, слившиеся в оглушительный барабанный хор, надрываются так, что мертвого поднимут. Ты послушно следуешь за матерью — храброй, красивой, высокой матерью, которая способна защитить хоть всю вселенную. Ты не боишься, потому что она идет впереди; чуть отстанешь, а потом опять нагоняешь. Вместе вы приближаетесь к самому краю цивилизации и там останавливаетесь.

Овраг.

Здесь и сейчас, в этой яме черных зарослей, сконцентрировалось внезапно все зло, с каким ты сталкивался за свою жизнь. Зло, которое тебе никогда не понять. Все, чему нет названия. Позднее, когда вырастешь, ты узнаешь названия и сможешь обозначить эти сущности. Бессмысленные звуки для описания ждущего ничто. Там внизу, в скоплении теней, среди толстых стволов и ползучих стеблей, живет запах гнили. Здесь, в этом месте, кончается цивилизация, кончается разум и вступает в права всемирное зло.

Мы понимаешь, что ты один. Ты и твоя мать. Ее рука вздрагивает.

Ее рука *вздрагивает*.

Твоя вера в свой уютный, закрытый от чужих мир поколеблена. Ты чувствуешь, как дрожит мать. Почему? Ее тоже одолели сомнения? Но она больше тебя, сильнее, умней — так ведь? Неужели и она ощущает неуловимую угрозу, что выбирается из темноты, ползучую злобу там, на дне? Выходит, человек, вырастая, не становится сильным? Взрослым живет не покойней? И нет никакого прибежища? И ни одна цитадель из крови и плоти не может противостоять идущей на приступ полуночи? Тебя захлестывают сомнения. Горло, желудок, спинной хребет, конечности вспоминают о съеденном мороженом; на тебя пахнуло холодом отсутствующего декабря.

Ты понимаешь, что люди все такие. Каждый человек для себя — один-одинешенек. Он — единица, единица, входящая в общество, но ему всегда страшно. Как страшно стоять здесь, у оврага. Если ты сейчас закричишь, позовешь на помощь — что толку?

Ты стоишь у самого края; пока ты крикнешь, кто-то услышит и прибежит, может произойти все, что угодно.

Мгла надвинется, разинет пасть мгновенно; одно мощное леденящее усилие — и все будет кончено. И когда еще наступит рассвет, когда полицейские с фонариками начнут отыскивать на гравии следы, когда потрясенный народ ринется по тропе тебе на помощь? Допустим даже, они сейчас в каких-нибудь пятистах ярдах и не станут раздумывать — но волне мрака достанет и трех секунд, и нет тебя и всех восьми лет, что ты прожил на этой земле, и...

Тебя сотрясает дрожь, придавливает к земле сознание того, насколько одинок человек. Мать тоже одинока. Сейчас, в это мгновение, она не может обратиться ни к священным узам брака, ни к конституции

Соединенных Штатов, ни к городской полиции, ни куда — только к собственному сердцу, но в нем не найдет ничего, кроме необоримого отвращения и желания поддаться страху. В это мгновение ее трудности — трудности личные, и побороть их может только она сама. Необходимо смириться со своим одиночеством и дальше действовать из него.

Ты судорожно вздыхаешь и цепляешься за мать. Господи, пожалуйста, не дай ей умереть. Сохрани нас, Господи. Через час вернется с профсоюзного собрания отец, и что, если он застанет дом пустым?..

Мать делает шаг по тропе вниз, в первобытные джунгли. Ты молишь дрожащим голосом:

— Мама. Со Скипом ничего не случилось. Со Скипом ничего не случилось. Он цел. Скип цел.

Мать говорит высоким, напряженным голосом:

— Он всегда ходит через овраг. Я ему запрещала, но эта окаянная детвора, им что говори, что не говори. В одну прекрасную ночь он спустится и уже не выйдет...

Уже не выйдет. Это может означать что угодно. Бродяги. Уголовники. Темнота. Несчастный случай. И главное — смерть.

Один во вселенной.

Таких маленьких городков по всему миру миллион. И всюду такая же глушь, так же темно и одиноко, и всюду люди дрожат и задают недоуменные вопросы. Маленькие городки, где нет света, где толпятся тени, где музыка — гнусавый плач скрипок. О, тамошнее одиночество, всепоглощающее, необъятное! Потайные овраги, полные сырости. Как страшно горожанам по ночам, когда на каждом углу стережет великан по имени Смерть, готовый отнять у тебя здравый смысл, семью, детей, счастье.

В темноте раздается голос матери:

— Скип! Скиппер! Скип! Скиппер!

Вдруг оба вы начинаете подозревать: случилось что-то нехорошее. Очень нехорошее. Вы напряженно прислушиваетесь и постепенно понимаете.

Сверчки молчат.

Тишину ничто не нарушает.

Ни разу в жизни ты не слышал такой тишины. Тишины полной и абсолютной. Почему замолкли сверчки? Почему? Что произошло? Прежде они стрекотали неумолчно. Без остановки.

Разве что. Разве что...

Что-то должно произойти.

Кажется, овраг напрягает, собирает в пучок свои черные волокна, черпает энергию со всей спящей окрестности, на мили и мили вокруг. Из росистых лесов и ложин, с холмов, где бродят, задрав морду к луне, собаки, отовсюду тянется в единый центр великая тишина, и ты находишься как раз в этой точке. Две-три секунды, и что-нибудь случится, что-нибудь случится. Сверчки держат паузу, звезды так низко, что хочется потрогать. Их множество, ярких и каленых.

Растет, растет тишина. Растет, растет напряжение.

Как же темно, как далеко от всего на свете. О боже!

И потом, издалека, с той стороны оврага:

— Все хорошо, мам! Я иду!

И снова:

— Привет, мам! Я иду!

Проворное шарканье теннисных туфель, глухой топот в провале оврага, хихиканье в три детских голоса, все ближе и ближе. Твой братец Скиппер, Чак Редман и Оджи Барц. Бегут, пересмеиваются.

Звезды втягиваются наверх, как усики десяти миллионов улиток.

Сверчки заводят песню!

Застигнутая врасплох мгла отступает, злится. Только собралась закусить, а тут аппетит испортили, да так грубо. Тьма откатывается, как волна, вынеся на берег троих смеющихся мальчиков.

— Привет, мам! Привет, Мелкий! Эй!

Запах Скиппера, он самый. Пот, трава и кожаная бейсбольная перчатка, смазанная маслом.

— Ну, будет вам, молодой человек, по первое число, — объявляет мать.

Она тут же забывает об испуге. Ты знаешь: она никогда никому не признается. Но память об этом страхе останется с нею навсегда, как навсегда останется и с тобой.

Глухой летней ночью вы отправляетесь домой, в постель. Ты рад, что Скиппер жив. Очень рад. Ведь ты было подумал...

Вдалеке, в тусклом лунном свете, бежит через виадук и вниз по склону поезд, заливается свистом: одушевленная громадина из металла, безымянная и стремительная. Ты, дрожа, отправляешься в постель, ложишься рядом с братом, слушаешь свисток поезда и думаешь о кузене, жившем там, где проезжает сейчас поезд; кузене, умершем поздно ночью от воспаления легких (это случилось несколько лет назад)... Чуешь запах пота: это Скип. Чудо. Ты больше не дрожишь. Кто-то ступает за окном по дорожке, мать как раз выключает в доме свет. Раздается знакомое покашливание.

Мама говорит:

— Твой отец вернулся.

Это он.

Жила-была старушка

*

Weird Tales

Июль 1944

Это еще одна параноидальная фантазия, не более того. История на тему «а если бы». А если бы я был умершей женщиной и отказывался признать, что умер. Что бы тогда случилось? Воображаете это и пишете рассказ.

*

— Нет, спорить бессмысленно. Я решила твердо. Забирайте свою дурацкую плетеную корзину и скатертью дорога. Боже мой, откуда вы вообще набрались таких понятий? Давайте-ка отсюда, оставьте меня в покое. Мне есть чем заняться: кружево вот, вязанье, а всякие долговязые в черном с их дурацкими идеями мне без надобности.

Высокий молодой человек в черном стоял спокойно, не сходя с места. Тетушка Тильди затараторила дальше:

— Вы что, оглохли, молодой человек? Ну если вам приспичило вести со мной беседу, то ладно, но, надеюсь, вы не будете против, если я, пока суд да дело, налью себе кофе. Ну вот. Будь вы чуток повежливей, я бы и вас угостила, но уж больно важный вы сюда заявились, в дверь постучать и то не удосужились. Не по вкусу мне это. Держите себя будто хозяин.

Тетушка Тильди поискала у себя в подоле.

— Господи, куда я задевала шерсть? Вяжу себе шарф. Зимы-то все студеней и студеней, кости у меня как из рисовой бумаги, домишко продувается сквозняком — надо подумать о том, чем согреться.

Долговязый в черном сел.

— Стул старинный, осторожней с ним, — предупредила тетушка Тильди. — Ну, если вы опять за старое, будете говорить то, что обязаны сказать, я слушаю вас внимательно. Только голос не больно повышайте и хватит глазеть на меня так странно. У меня прямо сердце как собачий хвост трясется.

Фарфоровые, в цветочках, часы на каминной полке пробили заключительный удар: три. Снаружи, в холле, ждали спокойно, застыв у плетеной корзины, четверо мужчин.

— А теперь об этой корзине, — проговорила тетушка Тильди. — Длины в ней больше шести футов, и по виду она явно не из прачечной. А те четверо, которых вы привели с собой, неужели они нужны, чтобы нести корзину? Она ведь легкая, как пушинка?

Молодой человек в черном, сидевший на старинном стуле, клонился вперед. Что-то в его лице говорило, что скоро корзина станет не такой уж легкой. В ней будет какой-то груз.

— Смотри-ка, — рассуждала тетушка Тильди. — Где мне встречалась такая корзина? Пожалуй, пару лет назад. Пожалуй... ага! Помню-помню. Точно. Это было, когда умерла соседка, миссис Дуайер.

Сурово поджав губы, тетушка Тильди отставила чашку с кофе.

— Так вот что у вас на уме? Я-то думала, вы мне что-то стараетесь продать. Ну погодите, вот вернется сегодня из университета моя маленькая Эмили, она вам выдаст по первое число! Я ей на днях отправила

письмецо. Ни слова, конечно, что я не совсем бодрячком, но вроде как с намеком, что долгонько ее не было, пора бы уже повидаться. Она в Нью-Йорке живет. Она мне почти как дочь, моя Эмили... Уж она-то с вами в два счета разберется, молодой человек. Вмиг духу вашего в этой гостинной не будет...

Взгляд молодого человека в черном сказал, что она устала.

— Ничего подобного, — раздраженно бросила тетушка Тильди.

Прикрыв глаза, он стал раскачиваться в кресле. Может, и ей неплохо бы отдохнуть? Хорошенько отдохнуть.

— Вот те, славны Гесема сыны! Да эти пальцы, даром что тощие, состряпали сотню шарфов, две сотни свитеров и шесть сотен прихваток! Подите-ка куда подалее и не возвращайтесь, пока я не спекусь, — вот тогда, может, с вами поговорю. — Тетушка Тильди перешла к другой теме. — Послушайте лучше про Эмили. Уж такая хорошая девочка.

Тетушка Тильди задумчиво кивнула. Эмили. Волосы светло-желтые, как метелки кукурузы, такие же нежные и мягкие.

— Как сейчас вспоминаю день, тому уже двадцать лет, когда умерла ее мать и оставила Эмили на мое попечение. Вот почему мне так ненавистны вы, ваши корзины и все прочее. Ну что хорошего в том, что люди умирают? Молодой человек, мне это не по вкусу. Помнится...

Тетушка Тильди замолкла, ощутив болезненный укол воспоминания. В воображении возникла сцена четвертьвековой давности, голос отца.

— Тильди, — говорил он, — как ты собираешься жить? С мужчинами у тебя отношения не складываются.

ся. Я имею в виду постоянные отношения. Тебе только бы вскружить голову и бросить. Нет чтобы остепениться, завести мужа, детей.

— Папа,— тут же прервала его Тильди,— я люблю смеяться, порхать и петь, но я не из тех, кто выходит замуж. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что мне не найти мужчину с той же философией, что у меня.

— Какая же это «философия»?

— Что смерть глупа! Она и в самом деле глупа. Смерть забрала маму, когда она больше всего была нам нужна. Это, по-твоему, умно?

Папа поглядел на нее, и его глаза помрачнели и застлались слезами. Он похлопал дочь по плечу.

— Ты, как всегда, права, Тильди. Но что же делать? Смерть приходит за каждым.

— Отбиваться! — крикнула Тильди.— Дать ей под дых! Бороться! Не верить в смерть!

— Не получится,— промолвил папа печально.— Каждый из нас в этом мире одинок.

— Где-то нужно начинать, папа. Я начинаю мою философию здесь и сейчас,— объявила Тильди.— Глупость, что и говорить: живет человек каких-нибудь пару лет, роняют его потом, как влажное семечко, в землю, а вместо ростков — один дурной запах. Разве это дело? Миллион лет пролежит, а толку никому никакого. И человек-то был хороший, порядочный — по крайней мере, старался.

Прошло несколько лет, и папа умер. Тетушка Тильди помнила, как уговаривала его этого не делать, но он все равно умер. Тогда она сбежала. Она не могла остаться с папой, после того как он превратился в холодный труп. Он стал отрицанием ее философии. Она не

присутствовала на похоронах. Она не сделала ничего, только открыла антикварную лавку в фасадной части старого дома и годами жила одна, пока не появилась Эмили. Тильди не хотела принимать девушку к себе. Почему? Потому что Эмили верила в смерть. Но ее мать была подругой Тильди, и та дала обещание помочь.

— До Эмили многие годы в доме не обитал никто, кроме меня, — продолжала тетушка Тильди, обращаясь к человеку в черном. — Замуж я не вышла. Не нравилось мне это: проживешь с человеком двадцать — тридцать лет, а потом он возьмет и умрет на твою голову. И вся моя философия развалится как карточный домик. Я тогда пряталась в свою раковину. Шугала всех, кто при мне хоть словом упомянет о смерти.

Молодой человек слушал терпеливо, вежливо. Потом он поднял руку. Щеки его блестели, а глаза как будто знали заранее, что она скажет. Он знал про нее и последнюю войну, 1917 года, когда она не открывала газет. Он знал о том случае, когда она огрела зонтиком по голове и прогнала за порог покупателя, который непременно желал поведать ей о сражении в Аргоннском лесу!

Да и молодой человек в черном, сидевший на старинном стуле и улыбавшийся, знал о том времени, когда вошло в обиход радио, а тетушка Тильди прилипла к доброму старому патефону. Гарри Лодер с его «Блуждая в сумерках», мадам Шуман-Хайнк, колыбельные песенки. Без вторжения новостей: катастроф, убийств, кончин, отравлений, несчастных случаев, жути. Музыки, изо дня в день одна и та же. Шли годы, тетушка Тильди пыталась преподать Эмили свою философию. Но Эмили заняла твердую позицию насчет... определенных предметов. С тетушкой Тильди она не спори-

ла, уважала ее образ мыслей и никогда не затрагивала в разговоре... мрачные темы.

Обо всем этом молодой человек знал.

Тетушка Тильди фыркнула.

— Считаете себя очень умным, да? Откуда вам все это известно? — Она пожала плечами. — Ладно, если вы надеетесь уговорить меня на эту дурацкую плетеную корзину, то считайте, оплошка с вами вышла. Прикоснитесь ко мне хоть пальцем, и я плюну прямо вам в физиономию!

Молодой человек улыбнулся. Тетушка Тильди снова фыркнула.

— И хорош скалиться, как хворый пес. Для кокетства я слишком старая. В свое время нагулялась досыта, а теперь и не вспоминаю.

Послышался какой-то шум. Часы на каминной полке пробили три. Тетушка Тильди уставилась на них. Странно. Ей казалось, они уже били три — пять минут назад. Ей нравились эти старые часы. Матовый костяной фарфор, циферблат обвешан позолоченными нагими ангелочками. Приятный тон. Как соборные колокола, только маленькие и тихие.

— Вы собираетесь и дальше здесь сидеть, молодой человек?

Он собирался.

— Тогда, с вашего разрешения, я немного вздремну. Самую чуточку. Только чур не вставайте со стула. Там и сидите. Не вздумайте ко мне подбираться. Я просто на крохотную секундочку закрою глаза. Вот и ладно. Вот и ладно...

Уютное, спокойное время дня, для отдыха как раз то, что нужно. Тихо. Только тикают часы, неустанные, как термиты. Только старая комната пахнет полиро-

ванной мебелью и намасленной кожей моррисовского кресла и плотным рядом стоят на полках книги. Уютно.

Вы ведь не собираетесь встать со стула, а, мистер? Лучше не пытайтесь. Один глаз у меня открыт, я за вами слежу. Да, слежу. Угу... Хмм...

Такая легкость. Лень. Погружение. Почти как под водой. О, как уютно.

Кто там шныряет в темноте, пока у меня закрыты глаза?

Кто целует меня в щеку? Ты, Эмили? Нет. Нет. Показалось, наверно. Я просто сплю. Господи, да, меня уносит сон. Уносит, уносит, уносит...

А? ЧТО? О!

— Минуту, я только надену очки. Ну вот!

Часы снова пробили три. Да что это они? Нужно отдать их в ремонт.

Молодой человек в черном костюме стоял в дверях. Тетушка Тильди кивнула.

— Уходите, молодой человек? Так скоро? Тем лучше! А то вернется Эмили и вам не поздоровится. Сдайтесь, так ведь? Не смогли меня убедить? Верно, у меня ослиное упрямство. Я из этого дома ни ногой, как бы не так. И не трудитесь возвращаться, молодой человек, все равно ничего не получится.

Молодой человек с неспешным достоинством поклонился.

Он не собирался возвращаться. Никогда.

— Отлично, — заявила тетушка Тильди. — Я всегда говорила папе: победа будет за мной. Буду сидеть у окошка и вязать еще тысячу лет. Легче эти стены унести, чем меня из них вынести.

Молодой человек в черном моргнул.

— Ни дать ни взять кот, сцапавший птичку! — крикнула тетушка Тильди. — Убирайтесь. И свою дурацкую корзину не забудьте!

Четверо мужчин тяжелыми шагами вышли за порог. Тильди обратила внимание на то, как они несли корзину. Она была не тяжелая, однако они покачивались на ходу.

— Эй-эй! — вознегодовала она. — Вы что, украли что-то из моего антиквариата? Книги? — Она встревоженно огляделась. — Нет. Часы? Нет. Что же тогда у вас в корзине?

Молодой человек в черном, повернувшись к ней спиной и беспечно насвистывая, двинулся вслед за четверкой носильщиков. У дверей он обернулся к тетушке Тильди, жестом предлагая ей открыть крышку и заглянуть внутрь.

— Любопытно? Мне? Да боже упаси! Прочь отсюда! Убирайтесь!

Молодой человек в черном нахлобучил на голову шляпу, обозначая этим движением решительное «прощайте».

— Прощайте! — заключила Тильди. — Прочь!

Дверь хлопнула. Хорошо. Ушли. Чертово дурачье с их бредовыми идеями. Бог с ней, с корзиной. Если что-то и украли, ладно, главное — убрались прочь.

— Смотри-ка, — обрадовалась тетушка Тильди. — Да это Эмили, приехала из университета. Ну наконец. Хорошенькая — загляденье. А походка какая. Но, господи, что-то она сегодня бледненькая и какая-то странная. Еле ноги передвигает. Почему бы? Выглядит расстроенной. Бедняжка. Устала, наверно. Надо собрать ей побыстрее кофе и пирожные.

Эмили поднялась на переднюю веранду. Хлопоча на кухне, тетушка Тильди слышала ее медленные ша-

ги. Что такое с девочкой? Не идет, а прямо-таки ползет. Передняя дверь распахнулась. Эмили стояла в холле, держась за медную дверную ручку. Почему она не входит? Странная девица.

— Эмили? — окликнула ее тетушка Тильди.

С опущенной головой, шаркая ногами, Эмили вошла в гостиную.

— Эмили! Я тебя жду не дождусь! У меня тут побывало чертово дурачье с корзиной. Пытались сбить мне какой-то ненужный товар. Как я рада, что ты дома. Сразу почувствовала себя уютно...

Тетушка Тильди заметила, что Эмили уже добрую минуту не сводит с нее глаз.

— Эмили, что стряслось? Хватит глазеть. погоди, я принесу тебе чашку кофе. Вот она... Эмили, да что ж ты пятишься?.. Эмили, детка, не кричи! Не кричи, Эмили! Остановись! Будешь так кричать — сойдешь с ума. Эмили, встань с пола, не жмись к стенке. Эмили! Да что ты свернулась в клубок? Я тебе ничего не сделаю... Господи, не одно, так другое... Эмили, детка, что стряслось?..

Эмили стонала, пряча лицо в ладонях.

— Детка, детка, — молила Тильди. — Попей водички. Попей. Ага, ну вот.

Эмили широко раскрыла глаза, что-то увидела, закрыла; она корчилась и дрожала.

— Тетя Тильди, тетя Тильди, тетя Тильди, тетя...

— Хватит! — Тильди хлопнула ее по плечу. — Что с тобой?

Эмили принудила себя открыть глаза.

Она выкинула вперед пальцы. Они исчезли внутри тетушки Тильди.

— Что за глупые выходки! — вскричала Тильди. — Убери руку! Убери, говорю!

Эмили осела в сторону и задергала головой, ее золотые волосы тряслись и посверкивали.

— Тебя здесь нет, тетя Тильди. Тебя нет. Ты мне снишься.

— Ты не спишь.

— Ты умерла!

— Замолчи, детка!

— Это не ты, такого не может быть.

— Господь Гесема, Эмили...

Она взяла руку Эмили. Рука прошла сквозь ее руку. Внезапно вскипев, тетушка Тильди топнула ногой.

— Этот... жулик! Враль проклятый! Ворюга! — Ее худые руки сжались в бледные жилистые кулаки. — Мерзавец в черном. Он его украл, украл! Уволок, ей-богу уволок! Но как же...

Она не находила слов. Гнев перехлестывал через край. Бледно-голубые глаза метали искры. Она брызгала слюной, но длила негодующее молчание. Потом обратилась к Эмили:

— Детка, вставай! Ты мне нужна. Вставай, живо!

Эмили лежала и тряслась.

— Часть от меня здесь! — объявила тетушка Тильди. — Но с остальной, клянусь дьяволом, придется разбираться. И срочно. Принеси мою шляпу!

— Я... боюсь, — призналась Эмили.

Тильди уперла кулаки в бока:

— *Меня?*

— Да.

— С какой стати? Что я — бука? Ты меня знаешь почти с рождения! Нашла время сопли распускать. Живо на ноги, а то по носу схлопочешь!

Эмили встала, размазывая слезы; глаза ее бегали в поисках пути спасения.

— Где твой автомобиль, Эмили?

— У гаража... мэм.

— Хорошо.— Тетушка Тильди подтолкнула ее к двери.— А теперь...— Она пристально оглядела один конец улицы, другой.— В какой стороне морг?

На неверных ногах, цепляясь за перила, Эмили спускалась с веранды.

— Что ты задумала, тетя Тильди?

— Что? — Тильди ковыляла за ней; бледные, обтянутые кожей челюсти тряслись от ярости.— Как что — конечно, забрать назад мое тело! Забрать назад! Езжай!

Автомобиль взревел, Эмили, глядя на мокрую извилистую дорогу, вцепилась в руль. Тетушка Тильди потрясала зонтиком.

— Торопись, детка, торопись. Быстрее, пока они не вспороли мое тело и не накачали всякой дрянью, как у них, в похоронных бюро, принято. Куда оно будет годиться, распотрошенное!

— Ой тетя, тетя, ну не заставляй меня, отпусти! Ничего хорошего из этого не выйдет,— вздыхала де-вушка.

Старуха только хмыкала.

— Приехали, тетя.

Эмили отстегнула ремень и бессильно привалилась к рулю, но тетушка Тильди уже выскочила из машины и семенящей походкой поспешила вдоль подъездной аллеи туда, где четверо носильщиков выгружали из блестящего черного катафалка плетеную корзину.

— Эй вы! — напала она на одного из них.— Поставьте корзину на землю!

Носильщики едва ее заметили.

— Посторонитесь, леди, — сказал один из них. — Мы делаем свою работу. Не мешайте, пожалуйста.

— Там в корзине мое тело! — Тетушка Тильди размахивала зонтиком.

— Знать об этом не знаю, — отозвался второй. — Пожалуйста, мадам, не стойте на дороге. Груз тяжелый.

— Сэр, — обиделась тетушка Тильди, — да будет вам известно, я вешу всего-навсего сто десять фунтов!

Носильщик скользнул по ней взглядом:

— Меня ваш объем бедер не интересует, леди. Мне бы домой, ужинать. Жена меня убьет, если я опоздаю.

Четверка носильщиков двинулась вперед, тетушка Тильди последовала за ними в вестибюль и в препапаторскую.

Корзину ждал человек в белом халате, с довольной улыбкой на длинном лице и нетерпением во взгляде. Его жадное ожидание, да и весь он в целом не понравились тетушке Тильди. Поставив корзину, четверо носильщиков ушли.

Человек в белом халате, очевидно санитар морга, поглядел на тетушку Тильди и произнес:

— Прошу прощения, но здесь неподходящее место для дамы.

— Да-да, — обрадовалась тетушка. — Хорошо, что вы так думаете. Я с вами целиком согласна, но этих господ не убедишь. В точности это я и старалась внушить молодому человеку в черном!

Санитар удивился.

— О каком молодом человеке в черном вы говорите, мадам?

— О том, который с нехорошими замыслами проник в мой дом.

— У нас нет сотрудников, подходящих под это описание.

— Не важно. Как вы только что проницательно заметили, здесь неподходящее место для дамы. Я не хочу, чтобы я находилась здесь. Я хочу, чтобы я находилась дома. Чтобы стряпала окорок для гостей, которых ожидаю в воскресенье, ведь на носу Пасха. Нужно кормить Эмили, вязать свитеры, заводить часы...

— Не сомневаюсь, мадам, вы большой философ и большой филантроп, но меня ждет работа. Доставили тело.— Последние слова он произнес с заметным смаком, перебирая свои ножи, иглы, банки и прочие принадлежности.

Тильди рассвирепела.

— Коснитесь этого тела хоть кончиком ногтя, и я сотру вас в порошок! — И зонтиком, опять.

Санитар отстранил ее в сторону, как дряхлую маленькую моль.

— Будь добр, Джордж,— обходительнейшим тоном попросил он,— сопроводи эту леди к выходу.

Тетушка Тильди уставилась на приближавшегося Джорджа:

— А ну, кругом и марш отсюда!

Джордж обхватил ее запястья:

— Сюда, пожалуйста.

Тильди высвободила руки. Легко. Они как бы... выскользнули. Тильди даже удивилась. На старости лет — и вдруг открыть в себе новый талант.

— Видели? — Она была довольна своей ловкостью.— От меня так просто не избавиться. Отдавайте-ка назад мое тело!

Санитар небрежно откинул крышку корзины. Вглядевшись раз, другой, третий, он понял, что тело внутри — это... *кажется*... да возможно ли?... похоже... да...

нет... пожалуй... не может такого быть, но... Он вскрикнул. Обернулся. Выпучил глаза.

— Мадам,— осторожно начал он.— Э-э... эта леди. Она... она... ваша родня?

— Самая дорогая. Поосторожней с ней.

— Сестра-близнец, наверное? — Он с надеждой хватался за хрупкую соломинку логики.

— Нет, глупости. Это я — вы слышите? Я!

Санитар обдумал ее слова. Потряс головой.

— Нет, такого не бывает.— Он продолжал переключать свои инструменты.— Выведи ее, Джордж. Позови остальных, пусть помогут. Я не могу работать, когда рядом крутится дама с причудами.

Собрались четверо служащих. Тетушка Тильди — эдакая кружевная крепость, готовая к обороне,— скрестила на груди руки.

— Я с места не сойду,— сказала она и повторяла это всякий раз, когда ее, как шахматную фигуру, представляли из препараторской в хранилище, потом в вестибюль, потом в приемную, потом в ритуальный зал, где она окопалась в кресле в самом центре переднего помещения. В серую тишину тянулся ряд скамей, пахло цветами.

— Здесь нельзя сидеть, мэм,— сказал один из служащих.— Это — место, где тело будет дожидаться завтрашней церемонии.

— Именно здесь я останусь, пока не получу того, чего требую.

Бледные пальцы ее теребили без того растрепанный кружевной воротничок, челюсти были сжаты, одна нога, в высоком ботинке на пуговицах, отбивала агрессивный ритм. Всякий, кто приближался, получал удар зонтиком. А когда ее хватали, она как-то... выскальзывала.

Шум в конторе дошел до ушей мистера Каррингтона, президента морга, и он неспешным шагом двинулся вдоль ряда скамей на разведку.

— Тише, тише, — обратился он шепотом к служащим и приложил к губам палец. — Не забывайте, где вы находитесь. Что тут такое? О, мадам, могу я быть вам полезен?

Тетушка Тильди смерила его взглядом:

— Можете.

— Чем могу служить?

— Ступайте в заднюю комнату, — распорядилась тетушка Тильди.

— Д-да.

— И скажите тому юному энтузиасту-исследователю, пусть оставит мое тело в покое. Я дама незамужняя. Мои родинки, шрамы, прочие подробности, в том числе изгиб лодыжки, никто не должен видеть. Нечего ему там высматривать и выщупывать, тем более отрезать и вообще коверкать.

Мистер Каррингтон, пока не видевший связи между тем и другим телом, не знал что и подумать. Он смотрел на тетушку Тильди пустыми, беспомощными глазами.

— Он водрузил меня себе на стол, как голубя, вот-вот распотрошит и нафарширует! — объяснила она.

Мистер Каррингтон поспешил туда, чтобы проверить. Последовало четверть часа безмолвного ожидания, пока президент с санитаром испуганно перешептывались за закрытыми дверьми, сравнивая свои наблюдения. Наконец Каррингтон вернулся, заметно побледневший.

— Ну? — спросила тетушка.

— Э... вот. Непорядок полный. Вам нельзя... здесь... сидеть.

— Нельзя?

Каррингтон уронил очки, поднял.

— Вы создаете нам сложности.

— А как же! — взбеленилась тетушка Тильди. — Клянусь святым Виттом! Разуйте глаза, мистер Трупач, или как вас там, и скажите...

— Но он как раз откачивает из тела кровь.

— Что?

— Да, да, уверяю вас, да. Так что лучше вам уйти, сделать ничего нельзя. Кровь вытекает, вскоре в тело накачают свеженький формальдегид. — Президент нервно хохотнул. — Наш санитар также делает небольшое вскрытие, чтобы установить причину смерти.

Вскипев, тетушка вскочила на ноги.

— Он меня режет?

— Д-да.

— Он не имеет права, это разрешено только коронарам.

— Ну, мы иногда позволяем...

— Сию минуту идите туда и скажите, пусть этот Потрошитель вернет мою благородную новоанглийскую кровь в мое благородное новоанглийское тело, а если он оттуда что-нибудь вынул, пусть пришьет назад, чтобы работало как часы; а когда тело починят, я должна получить его обратно! Слышали?

— Но я ничего не могу сделать. Ничего.

— Ладно. Вот что я вам скажу. Я буду здесь сидеть все две сотни лет. И как только кто-нибудь подойдет близко — плеватьсЯ эктоплазмой прямо ему в левую ноздрю!

Взвесив эту мысль в своем слабеющем мозгу, Каррингтон застонал.

— Весь наш бизнес пойдет прахом. Вы этого не сделаете.

Тетушка весело улыбнулась:

— Неужели?

Каррингтон устремился по темному проходу между скамей. По пути он сделал несколько телефонных звонков. Через полчаса перед моргом заревели моторы. По проходу вдоль скамей, вслед за потерявшим самообладание президентом, поспешили трое вице-президентов морга.

— В чем затруднение, мадам?

В ответ они выслушали несколько отборных богохульств.

Началось совещание, а санитару было указано приостановить работу по крайней мере до той поры, когда будет принято решение. Санитар вышел из препараторской и, покуривая большую черную сигару, стал ждать; на его губах играла приветливая улыбка.

Тетушка уставилась на сигару.

— А пепел вы куда стряхивали? — в ужасе спросила она.

Санитар только непроницаемо скалился и пускал дым.

Совещание закончилось.

— Мадам, признайтесь честно: вы задумали выселить нашу службу на улицу?

Тетушка обвела взглядом их хищные лица:

— О, я бы не прочь.

Каррингтон вытер вспотевшие щеки.

— Вы можете получить свое тело обратно.

— Ага! — вскричала тетушка. И предусмотрительно осведомилась: — Целым?

— Целым.

— Без формальдегида?

— Без формальдегида.

— С кровью?

— Да с кровью, боже мой, с кровью, только забирайте и уходите!

Чопорный кивок.

— Вот это по-честному. Согласна. По рукам!

Обернувшись к санитару, Каррингтон шелкнул пальцами:

— Да не стойте тут как болван. Делайте дело!

— И поосторожней там с сигарой,— предупредила Тильди.

— Полегче, полегче,— проговорила тетушка Тильди.— Поставьте корзину на пол, чтобы я могла ступить внутрь.

Она не стала особенно разглядывать тело. Заметила только: «Вид натуральный». И упала навзничь в корзину.

Кожу зашипал арктический мороз, к горлу подкатила тошнота, голова закружилась. Словно сливаются две капли жидкости. Вода пытается просочиться в дорожное покрытие. Дело не быстрое. Трудное. Словно бабочка старается втиснуться обратно в брошенную сухую оболочку куколки!

Люди из морга наблюдали за усилиями тетушки Тильди. Мистер Каррингтон очень волновался. Он тискал себе пальцы, размахивал руками, словно надеясь помочь. Санитар, настроенный явно скептически, следил за происходящим с ленивым любопытством.

Просочиться в холодный продолговатый камень. Просочиться в статую, древнюю и застывшую. Втиснуться.

— Оживай, чертова кукла! — прикрикнула на себя тетушка Тильди.— Поднимись хоть чуть-чуть.

Тело приподнялось, корзина зашуршала.

— Где твои ноги, женщина!

Тело начало вслепую обшаривать корзину.

— Смотри! — крикнула тетушка Тильди.

Тело ощутило тепло комнаты, возникший откуда-то препарационный столик, к которому можно приклониться, хватая воздух.

— Двигайся!

Тело сделало скрипучий, неуверенный шаг.

— Слушай! — отрывисто скомандовала она.

В отвыкшие слышать уши полились звуки. Хриплое, нетерпеливо-настороженное дыхание санитаря (он был потрясен), хныканье мистера Каррингтона, собственный резкий голос.

— Иди! — крикнула она.

Тело сделало шаг.

— Думай!

В старом мозгу зашевелились мысли.

— А теперь — говори! — приказала тетушка Тильди.

Тело с поклоном обратилось к санитару:

— Очень вам обязана. Спасибо.

— А теперь, — заключила она, — плачь!

Из ее глаз полились слезы совершенного счастья.

И теперь, каждый день после четырех, если вам вздумается навестить тетушку Тильди, достаточно подойти к ее антикварному магазину и постучать в дверь. На ней висит большой траурный венок. Но это ничего не значит. Тетушка Тильди оставила венок на месте. Чувством юмора она не обделена. Вы стучитесь в дверь. Из-за двух засовов и трех замков до вас долетает пронзительный отклик:

— Кто там — человек в черном?

Вы смеетесь и говорите: нет-нет, тетушка Тильди, это я, и больше никого.

Она смеется и приглашает: «Входите, быстро», распахивает дверь и тут же захлопывает у вас за спиной, чтобы следом как-нибудь не проскользнул человек в черном. Потом отводит вас в комнату, наливает чашку кофе и показывает новейший из связанных свитеров. Она не такая проворная, как в молодости, и не так хорошо видит, но все же она молодцом.

— А если вы будете хорошо себя вести,— тетушка Тильди отставляет в сторону свою чашку кофе,— я вас кое-чем порадую.

— Чем же? — спрашивает посетитель.

— А вот чем.— Тетушка довольна своей уникальной особенностью и получает удовольствие от шутки.

Деликатным движением ее пальцы расстегнут белое кружево воротничка и блузки и на мгновение приоткроют то, что находится под ним.

Это длинный аккуратный шрам, оставшийся после аутопсии.

— Неплохо зашито, даром что мужской рукой,— признает она.— О, еще кофе? Пожалуйста.

Мертвец

*

Weird Tales

Июль 1945

[Это хороший рассказ], а также замечательный фильм. Я посмотрел его недавно. Вышло все... просто невероятно удачно. Двое «мертвецов» отправляются в могилу — такой вот хэппи-энд.

*

Этот чудесный рассказ, «Мертвец», не мог бы написать никто, кроме тебя.

Руперт Харт-Дэвис, английский издатель, который долгие годы сотрудничал с Брэдли. 1950

*

— Вот он, напротив, — произнесла миссис Рибмолл, указывая кивком на ту сторону улицы. — Видишь парня, что взгромоздился на бочонок со смолой перед магазином мистера Дженкенза? Это он. Его прозвали Чудила Мартин.

— Тот самый, который объявил себя мертвецом?! — воскликнул Артур.

Миссис Рибмолл кивнула.

— Крыша съехала напрочь. Послушать его, так он погиб во время последнего наводнения и никто не замечает.

— Знаю, он тут каждый день сидит,— удивился Артур.

— Сидит-сидит, а как же. Сидит и пялится в пустоту. По мне, это просто безобразие, что его до сих пор не посадили в тюрьму.

Артур соорудил гримасу парню на бочке.

— Ага!

— Брось, он даже не заметит. В жизни не встречала такой невоспитанности. Ничем ему не угодишь.— Она схватила Артура за руку.— Пошли, сынок, нам еще нужно кое-что купить.

Они двинулись по улице мимо парикмахерской. Когда они прошли, в окне показался мистер Симпсон; он пощелкивал стальными ножницами и жевал безвкусную резинку. Через засиженное мухами стекло он задумчиво косился на мужчину, сидевшего на бочонке со смолой.

— По мне, самое лучшее для Чудилы Мартина — это жениться,— вслух подумал он.

Глаза мистера Симпсона слабо блеснули. Повернув голову, он посмотрел на маникюршу, мисс Уэлдон, которая полировала неопрятные ногти фермера по фамилии Гилпатрик. Мисс Уэлдон не подняла глаз. Такие намеки ей приходилось слышать часто. Ее вечно поддразнивали таким образом.

Мистер Симпсон вернулся на свое место и вновь принялся за пыльные волосы Гилпатрика. Гилпатрик тихонько рассмеялся.

— Где найдешь такую женщину, чтобы вышла за Чудилу? Иной раз мне почти верится, что он на самом деле мертвый. Больно тяжкий от него идет дух в последнее время.

Мисс Уэлдон взглянула в лицо мистеру Гилпатрику и осторожно резанула его по пальцу одним из своих миниатюрных скальпелей.

— Тыфу, проклятье! Смотри, что делаешь, женщина!

Маленькие голубые глазки с белого личика мисс Уэлдон смотрели на него бестрепетно. Волосы у нее были мышиного коричневого цвета. Косметики она не носила и по большей части держала рот на замке.

Мистер Симпсон хихикнул и чиркнул ножницами из вороненой стали. «Вжик-вжик!» — говорил его смех.

— Мисс Уэлдон, она знает, что делает. Так что, Гилпатрик, полегче на поворотах. На нынешнее Рождество мисс Уэлдон подарила Чудиле Мартину флакон одеколона. Так что больше от него не воняет.

Мисс Уэлдон положила инструменты на столик.

— Простите, мисс Уэлдон, — извинился мистер Симпсон. — Все, я молчу.

Мисс Уэлдон неохотно снова взяла инструменты.

— Эй! — крикнул один из четырех мужчин, ожидавших своей очереди. — Он опять за свое! — Мистер Симпсон повернулся, едва не отхватив ножницами розовое ухо Гилпатрика. — Гляди-гляди, ребята!

В тот же миг из дверей конторы, расположенной напротив, вышел шериф и увидел то же, что и остальные. Он увидел, что делает Чудила Мартин.

Из ближайших магазинчиков сбежался народ.

Шериф первый поспел к канаве и устоялся туда.

— А ну, поднимайся, Чудила Мартин, — крикнул он. Шериф поковырялся в канаве носком блестящего черного ботинка. — Вставай давай! Никакой ты не мертвый. Ты такой же живой, как я. А вот будешь валяться в канаве, среди окурков и бумажек от жвачки, смерть от простуды тебе обеспечена. Вставай давай!

Тут до места действия добрался мистер Симпсон и оглядел лежавшего там Чудилу Мартина.

— Ни дать ни взять молочная бутылка.

— Занял ценное место для парковки, и это утром в пятницу, — посетовал шериф. — Когда парковочные места нужны как воздух. Эй, Чудила! Хмм. Ладно... подсобите-ка мне, парни.

Они вытащили тело на тротуар.

— Пусть тут и остается, — распорядился шериф и, топая ботинками, обошел тело. — Надоест — встанет. Он уже не в первый раз это вытворяет. Любит покрасоваться на публике. А ну, ребята, марш отсюда!

Стайка ребятишек прыснула врассыпную.

Вернувшись в парикмахерскую, Симпсон огляделся.

— Где мисс Уэлдон? Хм. — Он взглянул в окно. — Ах вот она, снова его обихаживает, пока он там лежит. Чистит, поправляет куртку, застегивает пуговицы. Идет обратно. Не вздумайте подшучивать: она обижается.

Часы в парикмахерской показали двенадцать, потом час, два и наконец три. Мистер Симпсон следил за стрелками.

— Спорим, Чудила Мартин не встанет до четырех. Кто-то отозвался:

— Ставлю на половину пятого.

— В последний раз... — Мистер Симпсон чиркнул ножницами. — В последний раз он пролежал все пять часов. Погода сегодня хорошая, теплынь. Может прокемарить и до шести. Мое слово — шесть. Деньги на бочку, господа!

Деньги были выложены на полку с кремами для волос.

Один из молодых посетителей обстригивал перочинным ножом палочку.

— Мне чуток странным кажется, как мы подтруниваем над Чудилой. Думаешь иной раз: что, если мы

в глубине души его побаиваемся? Я вот о чем: мы не позволяем себе поверить, что он и вправду мертв. Не наберемся духу, чтобы поверить. Нам этого не переварить. Оттого-то мы и шутим шутики. Пусть лежит, где лежит. Никого ведь не трогает. Лежит и только. Но я заметил, старик Хадсон ни разу по-настоящему не выслушал его своим стетоскопом. Пари держу, боится того, что услышит.

— Боится того, что услышит?

Смех. Симпсон смеялся, размахивая ножницами. Двое обросших бородой мужчин смеялись, пожалуй, чересчур громко. Вскоре смех смолк.

— Ну ты и шутник! — сказали все хором, хлопая себя по костлявым коленкам.

Мисс Уэлдон продолжала заниматься ногтями клиентов.

— Он встает!

Все, бывшие в парикмахерской, привстали со своих мест и вытянули шеи, чтобы посмотреть, как Чудила Мартин поднимается на ноги.

— Встал на одно колено, теперь на другое, а вот кто-то пришел ему помочь.

— Это мисс Уэлдон. Мчалась, поди, сломя голову.

— Сколько там на часах?

— Четверть пятого! Ты проиграл, Симп! Плати!

Расчеты были улажены.

— У этой мисс Уэлдон у самой не все дома. Это ж надо, таскаться за таким вот Чудилой.

Симпсон щелкнул ножницами.

— Она сирота, выросла тихоней. Ей нравятся молчаливые мужчины. А Чудила, тот вообще не открывает рта. Не в пример нам, грубым чурбанам, а, парни? У нас рот не закрывается. Мисс Уэлдон не нравится наша трескотня.

— Ну вот, пошли. Оба два. Мисс Уэлдон и Чудила Мартин.

— Сними-ка мне побольше за ушами, ладно, Симп?

По той же улице двигался вприпрыжку, стучая красным резиновым мячом, малыш Рэдни Беллоуз; над голубыми глазами колыхалась желтая челка, между губ виднелся кончик языка. На мяч он особенно не глядел, и тот отскочил к ногам Чудилы Мартина, успевшего взгромоздиться обратно на бочонок со смолой. Мисс Уэлдон как раз покупала продукты к ужину в соседнем бакалейном магазине, складывая в корзинку жестянки с супом и овощами.

— Можно мне забрать свой мяч? — спросил малыш Рэдни Беллоуз, обращаясь к Чудиле Мартину снизу вверх (разница составляла шесть футов два дюйма). Никто другой его слышать не мог.

— Можно тебе забрать твой мяч? — повторил Чудила Мартин с запинкой. Казалось, он ворочает в голове этот вопрос. Его спокойные серые глаза обкатывали Рэдни, как шарик из мягкой глины. — Да, можно; забирай свой мяч.

Рэдни медленно нагнулся, схватил ярко-красный резиновый мяч и медленно выпрямился. В его глазах играл таинственный огонек.

— А я что-то знаю.

Чудила Мартин опустил взгляд.

— Ты что-то знаешь?

Рэдни подался вперед:

— Вы мертвый.

Чудила Мартин сидел неподвижно.

— Вы взаправду мертвый. — Малыш Рэдни Беллоуз говорил шепотом. — Я один взаправду это знаю. Я вам верю, мистер Чудила. Я и сам как-то попробовал. Уме-

реть то есть. Это тебе не раз плюнуть. Потрудиться нужно. Я час пролежал на полу. Но тут зачесался живот, я его почесал, кровь побежала в голову, голова закружилась. Потом... я перестал. Почему? — Рэдни опустил взгляд на свои ботинки. — Потому что мне понадобилось в ванную.

Бледные щеки на длинном костлявом лице Чудилы Мартина оформились в медленную, понимающую улыбку.

— Да, это тебе не раз плюнуть. Потрудиться нужно.

— Я иногда о вас думаю, — сказал Рэдни. — Видел, как вы гуляете мимо моего дома. По ночам. Бывает, в два часа ночи. Я просыпаюсь. Знаю, вы ходите под окнами. Понимаю, что должен выглянуть, выглядываю, а вы там, бродите и бродите. Не куда-нибудь, а просто так.

— Некуда идти. — Неуклюжие мозолистые руки Чудилы лежали у него на коленях. — Я пытаюсь придумать... куда бы это... пойти... — Он притормозил, как лошадь, когда натянут удила. — Но думать трудно. Я пытаюсь и... пытаюсь. Иногда почти пойму, что делать, куда идти. Потом забываю. Однажды мне пришлось в голову: пойду-ка я к доктору, пусть напишет, что я мертвый, но как-то... — Он говорил медленно, тихим, хриплым голосом. — Как-то ноги не доходят.

Рэдни посмотрел прямо Чудиле в лицо:

— Если хотите, я схожу с вами.

Чудила Мартин бросил рассеянный взгляд на заходившее солнце.

— Нет. Я устал, утомился, но подожду. Раз уж дотянул до сейчас, любопытно посмотреть, что будет дальше. Когда наводнением смыло мою ферму со всеми коровами и меня накрыло водой, как цыпленка в ведре, я вышел оттуда налитый, что твой термос, до краев. Но

я знал, что я мертвый. Лежу, бывает, по ночам и слушаю, но сердце не стучит ни в ушах, ни в груди, ни в запястьях, хотя лежу тихо, даже не шелохнусь. Внутри у меня только мрак, расслабленность и понимание. Однако должна же быть причина, почему я до сих пор хожу по земле. Может, я был слишком молодым, когда умер. Двадцати восьми лет, и не женился еще. Я всегда хотел жениться, но времени не было. И вот я делаю разную работу там-сям по городу и коплю деньги, потому что есть я не ем — какая, к черту, еда? — и так мне, бывает, делается кисло и непонятно, что слягу я в канаву и жду, чтобы меня подобрали и засунули в сосновый ящик — созревать. Но одновременно... одновременно и не хочу этого. Хочется еще чего-то. Такое случается, когда мимо пройдет мисс Уэлдон и волосы у нее на ветру трепещут, как коричневые перышки... — Он вздохнул и смолк.

Рэдни Беллоуз чуть подождал, откашлялся и кинулся прочь, стукая мячом.

— До свиданья!

Чудила устоялся на место, где только что стоял Рэдни. Прошло пять минут, и он мигнул.

— А? Кто здесь? Вы что-то сказали?

Из бакалейного магазина вышла, неся корзинку с провизией, мисс Уэлдон.

— Не проводишь ли меня домой, Чудила?

Они шли в непринужденном молчании; она старалась не спешить, потому что он ступал с большой осторожностью. Ветер шелестел листвой придорожных кедров, вязов и кленов. Несколько раз его губы вздрагивали, он косился на мисс Уэлдон, потом закрывал рот и переводил взгляд вдаль, словно рассмат-

ривал что-то на самом горизонте. Наконец он произнес:

— Мисс Уэлдон?

— Да, Чудила?

— Я долго копил деньги. Набралась порядочная сумма. Я почти ничего не трачу, и... вы удивитесь,— сказал он искренне,— у меня скопилось около тысячи долларов. Может, больше. Бывало, считаю-считаю, устану и брошу. И...— Внезапно у него сделался озадаченный и немного раздраженный вид.— Мисс Уэлдон, чем я вам приглянулся? — спросил он.

Она немного удивилась, но потом ответила улыбкой. В обращенном на него приязненным взгляде чудилось что-то детское.

— Потому что. Ты тихий. Потому что. Ты не крикливый и не вульгарный. Как те, клиенты парикмахерской. Потому что. Я одинока, и ты был ко мне добр. Потому что ты первый вообще на меня посмотрел. Остальные меня не видят, никогда. Говорят, у меня нет в голове мыслей. Говорят, я глупая, потому что не окончила шесть классов. Но я так одинока, Чудила, и для меня так много значит, что я могу с тобой перекинуться словом.

Чудила крепко сжал ее маленькую белую ручку.

Мисс Уэлдон облизала губы.

— Мне хочется, чтобы они перестали склонять твое имя. Не обижайся, но вот бы ты не рассказывал им, что ты мертвый, Чудила.

Чудила остановился.

— Выходит, вы тоже мне не верите.

— Когда ты говоришь «мертвый», Чудила, это значит только, что тебе смертельно недостает хорошей женской стряпни, любви, благополучия. Вот об этом ты и вел речь, больше ни о чем!

В глубине его серых глаз проглядывала печаль.

— Я вел речь об этом? — Он посмотрел на ее взволнованное, светлое лицо. — Ну да, именно об этом. Ты правильно угадала. Об этом.

Они шагали рядом, шаги сносило ветром, как листву, а вечер темнел, звуки стихали, на небе показались звезды.

В тот же вечер около девяти под уличным фонарем стояли двое мальчиков и две девочки. Вдали медленной спокойной походкой шел какой-то одиночка.

— Это он, — сказал один из мальчиков. — Том, спрашивать будешь ты.

Том испуганно нахмурился. Девочки засмеялись. Том сказал:

— Ну ладно, но ты иди со мной.

По улице шагал Чудила Мартин, то и дело останавливаясь, чтобы рассмотреть облетевший лист и пошевелить его носком ботинка.

— Мистер Чудила? Эй, мистер Чудила!

— А? О, привет.

— Мистер Чудила, мы... — Том сглотнул и огляделся в поисках поддержки. — Мы тут... мы хотели... ну... мы хотели пригласить вас на нашу вечеринку!

Оглядев чистенькое, пахнущее мылом лицо Тома и красивый голубой жакет его шестнадцатилетней подружки, Чудила отозвался:

— Спасибо. Но я не знаю. Наверное, я забуду прийти.

— Нет, не забудете. Ведь нынче Хеллоуин!

Подружка Тома потянула его за рукав.

— Пошли, Том. Не надо. Пожалуйста, не надо. Он не годится, Том.

— Почему это он не годится?

— Он... он недостаточно страшный.

Том высвободил руку.

— Я сам разберусь.

Девочка зашептала умоляющим голосом:

— Пожалуйста, не надо. Он просто грязный старикашка. Пусть лучше Билл возьмет свечу, вставит в рот те страшные фарфоровые зубы и подрисует зеленым мелом глаза — мы все вусмерть перепугаемся. Только *его* не надо! — Она бойко вскинула непокорную голову, указывая на Чудилу.

Чудила Мартин стоял и разглядывал листья у себя под ногами. Он прислушивался к собранию звезд в небе и не сразу понял, что четверо молодых людей ушли. Из его рта выкатился, как галька, сухой круглый смешок. Дети. Хеллоуин. Недостаточно страшный. Билл лучше. Свеча и зеленый мел. Просто старикашка. Чудила попробовал свой смех на вкус — вкус оказался странный и горький.

И снова утро. Рэдни Беллоуз кинул мяч в стену магазина, поймал и кинул снова. Кто-то хмыкнул у него за спиной. Рэдни обернулся.

— Привет, мистер Чудила!

Чудила Мартин шагал, считая на ходу зеленые долларовые бумажки. Потом он остановился и застыл на месте. Его глаза смотрели бессмысленно.

— Рэдни,— крикнул он.— Рэдни! — Его ладони щупали воздух.

— Да, сэр, мистер Чудила!

— Рэдни, куда я шел? Вот сейчас — куда я шел? Шел куда-то купить что-то для мисс Уэлдон! Рэдни, помоги мне!

— Да, сэр, мистер Чудила.— Рэдни подбежал и остановился в его тени.

Рука опустилась, в ней были деньги, семьдесят долларов.

— Рэдни, сбегай купи платье для... мисс Уэлдон... — Ладонь раскрылась, деньги выпали, ладонь раскрылась шире, глотая воздух, желая чего-то, корчась, вопрошая. На лице Чудилы выразились немой ужас, страсть, волнение. — Место, я забыл место, о боже, помоги мне припомнить. Платье и пальто. Для мисс Уэлдон, в... в...

— В универмаге Краусмана? — подсказал Рэдни.

— Нет.

— Филлера?

— Нет!

— Мистера Лейбермана?

— Ага! Лейберман. Вот что, Рэдни, беги в...

— Универмаг Лейбермана.

— ...И купи новое зеленое платье для... мисс Уэлдон, и пальто. Новое зеленое платье с рисунком из желтых роз. Купи и принеси мне сюда. Нет, Рэдни, подожди.

— Да, сэр?

— Рэдни... как ты думаешь, можно мне будет привести себя в порядок у вас в доме? — осторожно спросил Чудила. — Мне нужно... помыться.

— Не знаю, мистер Чудила. Не угадаешь, что придет в голову родителям. Не знаю.

— Хорошо, Рэдни. Я понял. Гони!

Рэдни погнал во всю прыть. Чудила Мартин стоял на солнцепеке, что-то напевая сквозь зубы. Пробегая с деньгами мимо парикмахерской, Рэдни сунул голову внутрь. Мистер Симпсон, стригший мистера Грамбалла, застыл и уставился на мальчика.

— Эй! — крикнул Рэдни. — Чудила Мартин что-то поет!

— Что именно? — спросил Симпсон.

— Наподобие этого.— Рэдни напел мелодию.

— Боже правый! — воскликнул Симпсон.— Так вот почему мисс Уэлдон не явилась сегодня на рабочее место! Эта мелодия — свадебный марш!

Рэдни снова сорвался с места. Дурдом!

Крики, смех, журчанье и плеск воды. Задняя комната парикмахерской была целиком заполнена паром. Работа нашлась каждому. Мистер Симпсон опорожнял ведро горячей воды на спину Чудилы Мартина, сидевшего в оцинкованном корыте. Мистер Трамбалл, вооруженный большой лохматой мочалкой с ручкой, постукивал и возил ею по бледной спине Чудилы. Старик Гилпатрик оросил его полуквартой жидкого мыла, которое пенилось, пузырилось и источало нежный запах, а Коротышка Филиппс время от времени спрыскивал Чудилу одеколоном. То и дело поскальзываясь, все весело мельтешили в пару. «Полей еще!» Льется вода. «Щеткой потри!» Щетка скребет спину Чудилы. Мистер Симпсон, с резинкой во рту, посмеивался: «А я ведь все время твердил: женитьба — это то, что тебе нужно, Чудила!» Кто-то еще, воскликнув: «Поздравляю!», окатил его лопатки ледяной водой из бидона. Чудила Мартин этого даже не заметил. «Теперь ты прямо розовый букет!»

Чудила выдувал пузыри из сложенной чашечкой ладони.

— Спасибо. Спасибо за помощь. Спасибо, что меня отдраили. Очень хорошо. Спасибо. Самое то.

Симпсон прикрыл рукой свой смеющийся рот.

— Не за что, Чудила, не за что.

Кто-то за завесой пара шептал:

— Представь... ее... и его... пара... завтра выйдет... за идиота... почему...

— Эй вы, там, заткнитесь! — Симпсон нахмурился. Вбежал Рэдни.

— Вот оно, зеленое платье, мистер Чудила!

Через час Чудилу усадили в парикмахерское кресло. Кто-то одолжил ему пару черных туфель. Мистер Трамбалл, подмигивая направо и налево, принялся усердно их полировать. Мистер Симпсон подстриг Чудиле волосы и не взял денег.

— Нет, Чудила, деньги спрячь. Это тебе свадебный подарок. Да, сэр. — Он сплюнул. И брызнул на голову Чудилы розовой воды. — Вот так. Лунный свет и розы!

Чудила Мартин огляделся.

— До завтра не говорите никому о нашей свадьбе, ладно? — попросил он. — Нам с мисс Уэлдон не хочется, чтобы весь город надрывал себе бока. Вы ведь понимаете?

— Не бойся, Чудила, — кивнул Симпсон, завершая свою работу. — Будем держать рот на запоре. А где вы собираетесь жить? Купите ферму?

— Ферму?

Чудила поднялся с кресла. Кто-то одолжил ему красивый новый пиджак желто-коричневого цвета, еще кто-то тщательно отгладил ему брюки. Выглядел он щеголь щеголем.

— Да, — ответил Чудила, — я присмотрел себе недвижимость. Цена немаленькая, но оно того стоит. Отличная покупка. Идем, Рэдни. — В дверях он задержался. — Я купил дом на окраине города. Теперь пойду внесу плату.

Симпсон остановил его.

— Какой дом? Денег-то у тебя в обрез.

— Маленький, — пояснил Чудила, — но для нас сойдет. Кто-то построил его для себя, но потом переехал

на восток. Стоил всего пять сотен, вот я и купил его. Мы с мисс Уэлдон въедем туда сегодня, сразу как повенчаемся. Но, пожалуйста, до завтра не говорите никому.

— Не скажем, Чудила. Будь уверен.

Чудила вышел на светлую (четыре часа дня) улицу, Рэдни — за ним следом; завсегдатаи парикмахерской рухнули в кресла и схватились за бока.

Солнце постепенно приближалось к горизонту, ножницы шелкали, мухи жужжали, часы тикали, клиенты сидели, кивали, ухмылялись, махали руками, обменивались шутками...

На следующее утро малыш Рэдни Беллоуз сидел за завтраком, задумчиво черпая из тарелки кукурузные хлопья. Отец сложил на столе газету и посмотрел на мать.

— Сегодня весь город только и говорит, что о тайном бегстве Чудилы Мартина с мисс Уэлдон, — сказал он. — Никто не знает, где они.

— Да-да, — отозвалась мать, — я слышала, он купил ей дом.

— Я тоже слышал, — подтвердил отец. — Но сегодня я звонил Карлу Роджерсу. И он сказал, что не продавал никакого дома Чудиле. А ведь Карл — единственный в городе торговец недвижимостью.

Рэдни Беллоуз проглотил еще ложку хлопьев и перевел взгляд на отца.

— Нет-нет, он не единственный в городе торговец недвижимостью.

— О чем это ты? — удивился отец.

— Просто я в полночь выглянул в окно и кое-что увидел.

— Что ты увидел?

— Светила луна. И знаешь, что я увидел? Я видел, как по Элмглейдской дороге шли двое. Мужчина и женщина. Мужчина в красивом новом костюме и женщина в зеленом платье. Шли не торопясь. Держась за руки.— Рэдни остановился, чтобы набрать в грудь воздуху.— И эти двое были Чудила Мартин и мисс Уэлдон. А по Элмглейдской дороге не встретишь ни одного дома. Там только кладбище Тринити-Парк. И мистер Густавссон продает могилы на кладбище Тринити-Парк. Он держит в городе контору. Я ведь сказал, что мистер Карл Роджерс — не единственный в городе торговец недвижимостью. Так что...

— А,— раздраженно фыркнул отец,— тебе это приснилось!

Рэдни, склонившись над тарелкой с кукурузными хлопьями, косился на родителей краешком глаза.

— Да, сэр,— вздохнул он наконец.— Мне это просто приснилось.

Постоялец со второго этажа

*

Harper's
Март 1947

Он был постояльцем. Каждый день я встречал его за ланчем. Одевался он очень аккуратно, в полосатый костюм из индийского льна, на голове носил соломенную шляпу, хрусткую, как кукурузные хлопья. После ланча он отправлялся в нижнюю часть города к парикмахеру. Тут комбинация: мистер Винески и окна с цветными стеклами в холле у моей бабушки — я любил смотреть через них и видеть на улице разноцветных людей. Они появлялись во многих других моих рассказах: люди пурпурные, люди серые, «китайцы», «индейцы» (за красным стеклом). Так вот, тут у меня скомбинированы постоялец, раздумья, кто он такой, окна с цветными стеклами и наблюдение за тем, как бабушка разделявала цыплят. Соедините все эти метафоры и получите рассказ.

*

Он помнил, как тщательно и умело, ласкающими движениями, бабушка проникала в холодное взрезанное нутро цыпленка и извлекала оттуда удивительные вещи: влажные, глянцевитые, с мясным запахом кольца кишок, мускулистый комочек сердца, желудок, а в нем зернышки. Как искусно и изящно надрезала цыпленка грудью и пухлой ладошкой обирала с нее медали.

Одни из них шли в кастрюлю с водой, другие в бумажку — наверное, бросить потом собаке. За этим следовал ритуал набивки чучела вымоченной и приправленной пряностями булкой, а завершала дело, проворными тугими стежками, блестящая хирургическая игла.

При всех чудесах хирургии, однако, ни одна птица после операции не возродилась к жизни. Цыплят немедленно препровождали в преисподнюю, пытать острым вертелом, раскаленным жиром и кипящей водой, до той поры, пока за праздничным столом не собирались прочие хирурги с грозными скальпелями в руках.

За одиннадцать лет, прожитых Дугласом, он редко сталкивался с впечатлениями более захватывающими.

Чего стоила одна только коллекция ножей.

Будучи не при деле, они покоились в скрипучих ящиках большого кухонного стола. Это был волшебный стол, откуда бабушка — седовласая старая колдунья, однако не злая, с милым, добродушным лицом — извлекала атрибуты для своих магических операций. Для рассечения и исследования цыплят и прочей дичи они представлялись важнейшим инструментом.

Шевеля губами, Дуглас насчитал в общей сложности двадцать ножей различных форм и размеров. И каждый был отполирован так тщательно, что в нем виднелось четкое, хотя и искаженное, отражение рыжих волос и веснушек Дугласа.

Пока бабушка занималась расчленением животных, внуку полагалось вести себя тихо. Стоять по ту сторону стола, вытягивать шею и наблюдать было можно, но не болтать языком: это разрушило бы чары. Когда бабушка трясла над птицей серебряными судками, воображалось, будто оттуда сыплются не соль и пря-

ности, а дробленая мумия и индейские кости, а беззубый рот ее выпевает заклинания.

Пружина любопытства сжималась и сжималась, и наконец Дуглас набрался храбрости ее отпустить.

— Бабушка, а я внутри такой же? — Он указал на цыпленка.

— Как что, детка?

— Как он, внутри?

— Да, примерно такой же, только немного красивей и аккуратней.

— И сам живот у меня больше, — добавил Дуглас, гордый своим животом.

— Да, — подтвердила бабушка. — Больше.

— А у дедушки живот еще больше, чем у меня, бабуля. Он на него локтями может опираться.

Бабушка засмеялась и покачала головой.

Дуглас сказал:

— А Люси Уильямс, с нашей улицы, у нее...

— Помолчи, дитя! — прикрикнула бабушка.

— Но у нее...

— Забудь о Люси! Это другое дело. Помалкивай, и все тут.

— Но почему у нее другое дело?

— Еж иголкой вот-вот болтливый рот тебе зашьет, — отрезала бабушка.

Дуглас тут же отошел, но вскоре вернулся в задумчивости:

— Бабушка, а откуда ты знаешь, что у меня внутри?

— Знаю, и все. Ну, ступай себе.

Дуглас, хмурясь, потопал в гостиную; в голове вертелась мысль о том, много ли стоят знания, полученные от взрослых, если они ничем не подкрепляются. Взрослые правы, и все.

Звякнул колокольчик.

Сбежав в холл, Дуглас разглядел через стекло парадной двери соломенную шляпу. Злясь оттого, что колокольчик не умолкает, он распахнул дверь.

— Доброе утро, мальчик, а хозяйка дома?

С длинного гладкого лица красно-коричневого цвета на Дугласа смотрели холодные серые глаза. Посетитель был высок и худ, в руках держал чемодан и портфель, под мышкой — зонтик; тощие ладони прятались в теплых перчатках, голову венчала чудовищно новая соломенная шляпа.

Дуглас помотал головой:

— Она занята.

— Я пришел по объявлению. Хочу снять у нее верхние комнаты.

— У нас уже живут десять пансионеров, свободных мест нет, уходите.

— Дуглас! — Бабушка, неспешно пересекшая прихожую, внезапно выросла у Дугласа за спиной и поздоровалась с незнакомцем. — Проходите, пожалуйста. Прямо по лестнице. На мальчика не обращайте внимания.

— Ничего.

Посетитель, не улыбаясь, прямой как палка, ступил за порог. Дуглас следил, как они с бабушкой скрылись наверху, слышал бабушкин голос, объяснявший условия аренды. Стукнул чемодан, бабушка вскоре сошла в прихожую, чтобы взять из шкафа постельное белье, нагроутила его на Дугласа и велела мигом отнести в только что сданную комнату.

У порога Дуглас помедлил. Посетитель пробыл в комнате всего ничего, но она уже изменилась. На кровати лежала соломенная шляпа, зонтик, прислоненный к стене, походил на мертвую и окоченевшую лету-

чую мышь со сложенными крыльями. Дуглас прищурился, рассматривая зонтик. Незнакомец стоял посреди комнаты, опустив на пол чемодан.

— Вот. — Дуглас разложил белье на постели. — Мы садимся за стол ровно в двенадцать, если опоздаете, суп остынет. Его готовит бабушка, и он остынет.

В кармане курточки Дугласа звякнули отсчитанные новым жильцом десять центов.

— Мы подружимся, — заверил жилец.

Это было забавно: у человека в кармане одни центы. Целая куча центов. Ни серебра, ни десятицентовиков, ни четвертаков. Одни новенькие медные центы.

Дуглас поблагодарил.

— Когда поменяю на десятицентовик, кину в копилку.

— Копите деньги, молодой человек?

— Собрал шесть долларов и пятьдесят центов. Теперь будет шестьдесят. Это на август, поеду в лагерь.

— А сейчас мне нужно помыться, — сказал длинный и странный новый жилец.

Помнится, Дуглас как-то проснулся около полуночи. За окном бушевала буря, дом содрогался от холодного ветра, в окна стучал дождь. Небо разорвала бесшумная, жуткая вспышка молнии. Дуглас сохранил в памяти этот страх. Страх, который испытываешь, когда во внезапном свете видишь собственную комнату незнакомой и пугающей.

Вот и теперь произошло то же самое. Дуглас стоял и глядел на незнакомца. Комната уже не была прежней, она неуловимо поменялась, потому что этот человек, быстрый, как вспышка молнии, залил ее своим светом. Дугласу это не нравилось.

Дверь закрылась прямо перед его лицом.

Деревянная вилка опустилась и поднялась; на ней было картофельное пюре. Когда бабушка позвала постояльцев на ланч, мистер Коберман (так звали нового жильца) принес с собой эту вилку, а также деревянные нож и ложку.

— Миссис Сполдинг, — сказал он спокойно. — Это мой собственный столовый прибор; пожалуйста, используйте его. Сегодня я съем ланч, но с завтрашнего дня мне понадобится только завтрак и ужин.

Бабушка сновала туда-сюда с дымящимися супниками (суп, бобы, картофельное пюре), стремясь произвести впечатление на нового постояльца, Дуглас же со стуком поигрывал на тарелке серебряными столовыми приборами: он заметил, что мистера Кобермана это раздражает.

— Я знаю фокус, — объявил Дуглас. — Смотрите.

Он щипнул ногтем зубец вилки. Как фокусник, он стал указывать то на один, то на другой сектор стола. И в том месте возникал вибрирующий металлический звук, волшебный голос. Фокус, конечно, нехитрый. Дуглас просто-напросто прижимал тайком ручку вилки к столу. Деревянная столешница служила резонатором. А можно было подумать, что это волшебство.

— Там, там и вот там! — восклицал Дуглас, радостно пощипывая вилку.

Он указал на тарелку с супом мистера Кобермана, и звук пошел оттуда.

Решительное красно-коричневое лицо мистера Кобермана обратилось в страшную маску. Он оттолкнул от себя тарелку и, скривив губы, откинулся на спинку стула.

Появилась бабушка.

— В чем дело, мистер Коберман, что-нибудь не так?

— Я не буду есть суп.

— Почему?

Мистер Коberman уставился на Дугласа.

— Потому что я сыт, больше не могу. Спасибо.

Извинившись, мистер Коberman пошел наверх.

— Ты что такое вытворил, прямо сейчас? — строго спросила Дугласа бабушка.

— Ничего. Бабуля, а почему он ест деревянными ложками?

— Не твое дело. И вообще: когда тебе возвращаться в школу?

— Остался месяц и три недели.

— О боже! — вздохнула бабушка.

На полпути ко второму этажу находилось большое, обращенное к солнцу окно. Стекло состояло из цветных, размером в шесть дюймов, фрагментов: оранжевых, пурпурных, голубых, красных, зеленых. Попадались и желтые, а также удивительного винно-красного цвета.

В колдовские предвечерние часы, когда солнечные лучи падали прямо на площадку и через просветы ограждения вниз, Дуглас стоял возле окна как прикованный, глядя сквозь цветные стекла на мир.

Вот мир голубой. Дуглас прижал нос к голубому стеклышку, за ним виднелось голубое-преголубое небо, ходили голубые люди, ездили голубые автомобили и бегали голубые собаки.

Но вот — Дуглас переместился к другой панели — мир сделался желтым. Мимо проплывали две женщины с лимонной кожей — дочери Фу-Маньчжу, не иначе. Дуглас захихикал. Стекло насытило золотом даже солнечный свет, и он разливался по всему вокруг, как расплавленная ириска.

Наверху послышался шорох. Дуглас знал, что мистер Коберман стоит у двери и наблюдает.

Не оборачиваясь, Дуглас заметил:

— Миры разных цветов. Голубые, красные, желтые. Все разные.

После продолжительной паузы мистер Коберман растерянно отозвался:

— Верно. Разноцветные миры. Все разные, да.

Дверь закрылась. В холле было пусто. Мистер Коберман ушел к себе.

Дуглас пожал плечами и нашел новую панель.

— Ой! Все розовое!

Это было просто, как дождевая капля. Вычерпав из тарелки сухой завтрак, Дуглас ощутил в глубине своего существа простое, чисто белое пламя ненависти, горевшее красиво и ровно. Дверь мистера Кобермана в верхнем этаже стояла тем утром приоткрытой, комната была пуста. Дуглас с отвращением заглянул внутрь.

Теперь это была комната мистера Кобермана. Прежде, когда в ней жила мисс Садлоу, она сверкала яркими тонами: настурции, мотки хлопчатобумажных ниток для вязанья, цветные картинки на стенах. Когда тут жил мистер Кейплз, все в комнате говорило о его подвижной, спортивной натуре: теннисные туфли на стуле, скомканный свитер на кровати, мятые брюки в стенном шкафу, вырезки из журналов с красивыми девушками на комод. Но теперь...

Теперь комната сделалась вотчиной мистера Кобермана. Пустая, чистая, холодная, все со скрупулезной точностью расставлено по местам. Микробам, пылинкам, клеткам кислорода — всему были отведены строго определенные границы.

Дуглас закончил завтрак: на каждый кусок тоста с маслом приходилось два куска ненависти.

Он поднялся на площадку и выглянул в цветное окно.

Внизу, по тротуару, прогуливался, совершая свой обычный утренний моцион, мистер Коberman. Держался он прямо, на согнутой руке висела тросточка, соломенная шляпа торчала на голове как приклеенная.

Мистер Коberman выглядел голубым человеком, гуляющим по голубому миру с голубыми деревьями, голубыми цветами и... чем-то еще.

Это «что-то» относилось к мистеру Коbermanу. Дуглас прищурился. В голубом стекле мистер Коberman смотрелся по-особенному. Его лицо, костюм...

Но долго раздумывать Дугласу не пришлось. Мистер Коberman поднял глаза, увидел его, взмахнул, как для удара, тросточкой-зонтом, живо опустил ее и поспешил к передней двери.

— Молодой человек, — проговорил он, взбираясь по лестнице, — что это вы тут делаете?

— Просто смотрю.

— Смотришь, и все?

— Да, сэр.

Мистер Коberman стоял, борясь с собой. На лице у него серой проволокой выступили вены. Глаза подходили на глубокие черные дырки.

Молча повернувшись, он спустился по лестнице, чтобы еще разок обойти квартал.

Дуглас полчаса играл на заднем дворе в песочнице. Около половины десятого послышался звон и грохот разбитого стекла. Дуглас вскочил. Было слышно, как через прихожую, а потом обратно в кухню быстро

прошаркали домашние туфли бабушки. Бухнула снабженная пружинами дверь.

— Дуглас!

В руке у бабушки был старый ремень для правки бритв.

— Сколько можно повторять: не играй мячом об стену дома! Ох, ну хоть плачь!

— Я просто сидел вот тут, — запротестовал Дуглас.

— Ступай в дом! Полюбуйся, что ты наделал!

Большое цветное стекло громоздилось кучей радужных осколков на лестничной площадке. Венчал развалины баскетбольный мяч.

Не дав Дугласу времени заявить о своей невинности, бабушка семь раз больно хлестнула его по задку. Дуглас вскрикивал и подпрыгивал, как выпрыгивает из воды рыба, но, приземлившись, получал новую порцию. Дикарский танец сопровождался старым как мир песнопением.

Много позже Дуглас лелеял свою боль в песочнице, спрятав свой разум в куче песка, как прячется в раковине устрица. Ему было ясно, кто бросил мяч и разбил цветное стекло. Человек в соломенной шляпе, с палкой-зонтиком, сидевший в холодной серой комнате. Да, да, да. На песок закапали слезы. Ну погоди. Погоди.

Шуршала метла, тоненько звякало стекло: бабушка подметала сверкающие осколки. Потом вышла через заднюю дверь и ссыпала их в мусорный бак. Стекланные метеоры, голубые, розовые, белые, желтые, вычерчивали в воздухе яркие траектории. Вид у нее был расстроенный.

Когда она ушла, Дуглас вытянул себя из песка, чтобы взять и сохранить три кусочка драгоценного стекла: розовый, зеленый и голубой. Он догадывался, чем

мистеру Коберману не угодили цветные стекла. Эти (Дуглас звякнул стеклышками) неплохо будет попридержать.

Мистер Коберман работал по ночам, а весь день напролет отсыпался. Он приходил домой в восемь часов утра, съедал легкий завтрак, прогуливался вокруг квартала, потом взбирался, не сгибая спины, по лестнице и затихал до шести вечера, когда спускался к обильному ужину вместе с остальными постояльцами.

При таких обычаях мистера Кобермана от Дугласа требовалось соблюдать тишину. Он же был шумным ребенком, и в нем, как нарыв, зрело недовольство.

В результате, стоило бабушке отлучиться к соседке, миссис Эдди, или в бакалейный магазин миссис Сингер, Дуглас выпускал пар, топая вверх-вниз по лестнице под стук барабана. Немалым удовольствием было также медленно скатывать по ступенькам мячики для гольфа. Затем он пристрастился носиться по дому в погоне за индейцами и спускать воду во всех трех туалетах подряд.

Прошло три дня, и Дуглас убедился, что жалоб на него не поступает. На четвертый день, когда бабушка ушла в магазин, он минут десять немудряще орал прямо у мистера Кобермана под дверью.

Только после этого Дуглас решился осторожно приоткрыть дверь комнаты.

Шторы были задернуты, помещение тонуло в полумраке. Мистер Коберман лежал поверх одеяла, в пижаме, грудь его тихо вздымалась. Он не шевелился. Лицо тоже было неподвижно.

— Эй, мистер Коберман!

Бесцветные стены отзывались эхом на мерное дыхание постояльца.

— Мистер Коberman, эй!

Стукая мячиком для гольфа, Дуглас двинулся вперед. Ответа не последовало. Дуглас крикнул. Но и тут не получил ответа. Мистер Коberman лежал, как болванчик из папье-маше, с закрытыми глазами, всем довольный.

— Мистер Коberman!

Дуглас бегло обвел взглядом комнату. На комод лежали деревянные столовые приборы. Они подсказали Дугласу идею. Он выбежал и вернулся с серебряной ложкой. Поднес ее к лицу спящего и стал дергать зубцы.

Мистер Коberman моргнул. Завертелся на постели, недовольно бормоча и постанывая.

Отклик. Хорошо. Отлично.

Дуглас снова тронул вилку. От кошмара вибраций мистер Коberman дернулся, но пробудиться не смог. Видно было, что не сможет, даже если захочет.

Дуглас вспомнил о цветных стеклышках. Вынув из кармана розовый осколок, он посмотрел сквозь него на мистера Коbermana.

Одежда мистера Коbermana растворилась. Это было каким-то образом связано с розовым стеклом. Или с самой одеждой, поскольку она была на мистере Коbermane. Дуглас облизал губы. Он видел нутро мистера Коbermana.

И это было причудливое зрелище.

Поистине причудливое. И очень интересное.

Дуглас увлеченно вылупил глаза, но тут стукнула передняя дверь. Вернулась бабушка.

Разочарованный, он с невинным видом спустился по лестнице.

Когда прихожую оглашала медленная тяжелая поступь и в подставку со стуком опускалась тяжелая трость из красного дерева, это неизменно значило, что домой вернулся дедушка. Каждый вечер он являлся из своей газетной редакции в четверть шестого, незадолго до постояльца; из кармана черного пальто у него торчала сложенная собственная газета, там же находилась пачка мятной жвачки, используемой с очевидной целью испортить Дугласу за обедом аппетит.

Дуглас кидался обнять толстое брюхо — главный дедушкин щит в нескончаемой битве с житейскими невзгодами. Выглядывая из-за его края, дедушка кричал:

— Эй там, внизу, — привет!

Усевшись в большое моррисовское кресло и нацепив очки, дедушка принимался внимательно просматривать газету.

— Бабушка сегодня опять резала цыплят. Интересно было посмотреть, — сообщил Дуглас.

Дедушка не отрывался от газеты.

— Цыплят? Опять? Второй раз за неделю. Совсем оцыплячилась. Тебе нравится смотреть, как она их потрошит? Хладнокровный маленький живодер. Ха!

Дуглас ощутил, как глубинный взрыв смеха прокатился по громадным старым костям и отозвался эхом в коленной чашечке.

— Я просто любопытный, — отозвался Дуглас.

— Вот уж верно, — прогрохотал дедушка, хмурясь и кривя губы. — Помню тот день, когда на железнодорожной станции убило молодую женщину. Тебя это не смутило ни капельки. Подошел и давай разглядывать кровищу, и все прочее.

— Ну да, а почему не посмотреть?

— И тебя не тошнило? — Дедушка отложил газету.

— Нет.

— Да ты чудак. Притом неглупый. Таким и оставайся, Дуги-бой. Ничего не пугайся, никогда в жизни. Вокруг полно страхов, которых не стоит бояться. Трупы — это всего лишь трупы, кровь — это кровь. Единственное, чего следует бояться, мы создаем в собственных головах. Мы учим друг друга бояться. Учим определенной реакции на определенные стимулы. Смерть, например. На Востоке видят в смерти красоту и благородство. Но некоторые европейские культуры замутили воду, объявив смерть темным ужасом. Почему...

Он замолк, мигнул, сглотнул и рассмеялся.

— Что это я говорю? Ты ни слова не понимаешь...

— Да нет же, понимаю. Говори, дедуля. Это интересно.

— Любопытный. Это отец тебя вырастил любопытным. Но он ведь военный и был все время рядом с тобой, до прошлого года, когда тебя отправили сюда.

— Я не любопытный. Просто я — это я.

Дедушка кивнул:

— Тут ты прав! На самом деле для людей не существует норм. В человеческих культурах, пожалуй, нормы существуют, но для отдельных индивидуумов — нет, нет.

Похоже было, что подвернулся удобный случай. И Дуглас им воспользовался.

— Дедуля, а что, если у человека нет сердца, легких или желудка?

Дедушка привык к подобным вопросам.

— Что ж, значит, он мертвец.

— Нет. Я не об этом. Я вот о чем: у человека нет сердца, или легких, или желудка, но он себе расхаживает. Живой.

— Это было бы чудом,— раскатистым голосом отозвался дедушка.

— Я не о том,— поспешно возразил Дуглас.— Не о чуде. Я хотел сказать... что, если он внутри не такой? Не такой, как я.

— А, понятно. Ммм. Ну что ж, тогда это не совсем человек, так ведь, мой мальчик?

— Пожалуй.— Дуглас уставился на брюхо и кармашек для часов.— Дедуля. У тебя ведь есть и сердце, и мозг, и легкие, да, дедуля?

— Как же иначе!

— А откуда ты знаешь?

— Ух...— Дедушка замолк.— Хорошо.— У него вырвался смешок.— Говоря по правде, не знаю. Ни разу их не видел. У врача не бывал, рентген не делал. Может, я внутри сплошной, как картофелина.

— А я как же? У меня желудок есть?

— У тебя точно есть! — вмешалась вошедшая в гостиную бабушка.— Я ведь его кормлю. И легкие есть: крику от тебя столько, что мертвого разбудишь. И руки есть, грязные, пойдй вымой! Обед готов. За стол, дед. Дуглас, живей!

Она позвонила в черный лаковый колокольчик, висевший в холле.

Вниз по лестнице устремился поток жильцов, и если у дедушки было желание подробней расспросить Дугласа о том, к чему он завел такую странную беседу, возможности для этого уже не оставалось. Дальнейшего промедления с обедом не выдержали бы ни бабушка, ни картофель.

Прочие постояльцы за обедом смеялись и болтали, мистер Коberman сидел меж ними немой и хмурый (бабушка решила, что его беспокоит печень). Но тут

дедушка, откашлявшись, заговорил о недавних смертях в городе, и все замолкли.

— Оставим эти разговоры на потом, когда будем пить кофе, — вмешалась бабушка.

— Редактора газеты эти известия не могли не насторожить. — Дедушка обвел присутствующих внимательным взглядом. — Вот юная мисс Ларссон, что жила за оврагом. Три дня назад ее ни с того ни с сего обнаружили мертвой: все тело в странных татуировках, выражение лица такое, что куда там Данте. А другая молодая дама, как бишь ее? Уайтли? Исчезла, и ее так и не нашли.

— Такое бывало всегда, — заговорил, продолжая жевать, мистер Питерс, автомеханик. — Случалось вам видеть списки бюро по розыску пропавших? Вот такой длины. — Он показал. — Не представляю себе, что с ними сделалось, почти со всеми.

Разговор оборвала бабушка:

— Кто-нибудь хочет еще начинки?

Она стала раскладывать по тарелкам большие порции из унылого цыплячьего нутра. Дуглас, наблюдая, думал о том, как это у цыплят есть два разряда внутренностей: одни даны Богом, другие — человеком.

Ладно, а если внутренностей три разряда?

А?

Почему бы и нет?

Собеседники весело толковали о таинственной смерти таких-то и таких-то, вспомнили — ах да, — что не далее как на прошлой неделе умерла от сердечного приступа Марион Барсумиан, а нет ли тут связи... да вы с ума сошли, забудьте... такие разговоры, да после ужина, на полный желудок? И прочее подобное.

Раскурив сигареты, сотрапезники лениво побрели в гостиную, где дедушка позволял вставить слово кому-

то еще, только когда нуждался в перерыве, чтобы набрать в грудь воздуху.

— Кто его знает, — сказал автомеханик. — Может, в городе вампир завелся.

— Когда на дворе тысяча девятьсот двадцать седьмой год? Да будет вам.

— Верно-верно. Их берут только серебряные пули. Что-нибудь серебряное. Читал как-то в книге. Ей-богу.

Дуглас сидел на полу и рассматривал мистера Кобермана, который пользовался за едой деревянными ножами, вилками и ложками и держал в кармане одни только медные пенни.

— Пустая затея, — говорил дедушка, — присваивать названия. Мы даже не знаем, кто такие гоблины, или вампиры, или тролли. За каждым понятием может стоять что угодно. Как же распределять их по категориям, приклеивать ярлыки и приписывать им те или иные свойства? Глупо. Есть только люди — люди, которые делают то или иное. Да, именно так: люди, которые делают то или иное.

— Всем доброго вечера, — попрощался мистер Коберман, встал и отправился на свою вечернюю работу.

Кто-то включил радио. Затеялась карточная партия. Позднее послали за мороженым. В конце концов все пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.

Звезды, луна, ветер, тиканье часов, звон курантов на рассвете, встающее солнце — и вот наступило новое утро, новый день, и мистер Коберман вернулся после завтрака с прогулки. Дуглас стоял поодаль, как небольшой гудящий механизм, который ведет тщательное наблюдение через микроскопические глазки.

В полдень бабушка вышла в бакалейную лавку.

Дуглас немного покричал под дверью мистера Кобермана, потом попытался войти. На этот раз дверь оказалась запертой. Пришлось сбегать за универсальным ключом.

С ключом и осколками цветного стекла Дуглас вошел, прикрыл за собой дверь и различил глубокое дыхание мистера Кобермана. Потом поднес к глазу голубое стеклышко.

За стеклом Дугласу явились голубая комната и голубой мир, непохожий на тот, в котором он жил обычно. Такой же непохожий, каким был красный мир. Аквамариновая мебель, кобальтовое постельное белье, лазурный потолок, и тускло-синие лицо и руки мистера Кобермана, и его голубая вздымающаяся грудь. А также — что-то еще.

Глаза мистера Кобермана были широко открыты и глядели на Дугласа мрачно и голодно. Дуглас отпрянул и отвел голубое стеклышко в сторону. Глаза мистера Кобермана закрыты. Глянул через голубое стекло — глаза открыты. Без стекла — закрыты. Открыты. Закрыты. Любопытно. Дрожа от волнения, Дуглас продолжал эксперименты. Через стекло — глаза мистера Кобермана, похожие на сигнальные огни, алчно глядят сквозь закрытые веки. Без стекла — глаза плотно закрыты.

Глаза — это было еще не все...

Дуглас простоял в изумлении не меньше пяти минут. Он думал о голубых, красных, желтых мирах, существующих бок о бок, как цветные панели, обрамлявшие большое бесцветное стекло на лестнице. Бок о бок, цветные стекла, разные миры; мистер Коберман и сам это говорил.

Так вот почему было разбито окно. По крайней мере, это одна из причин.

— Мистер Коберман, проснитесь!

Нет ответа.

— Мистер Коберман, где вы работаете по ночам?

Мистер Коберман, где вы работаете?

Легкий ветерок качнул голубую штору.

— В красном мире, зеленом или желтом, мистер Коберман?

Все вокруг было охвачено молчанием голубого стекла.

— Тогда погодите.

Дуглас вышел из комнаты, спустился в кухню и выдвинул скрипучий ящик, где поблескивали ножи. Выбрал самый большой и острый. Спокойно вернулся в прихожую, поднялся на второй этаж, открыл дверь мистера Кобермана и закрыл ее.

Бабушка защищивала на противне корочку пирога. Вошел Дуглас и что-то положил на стол.

— Бабушка, что это?

Она бросила беглый взгляд поверх очков.

— Не знаю.

Предмет был прямоугольный, как коробка, и эластичный. По цвету — ярко-оранжевый. К нему были присоединены четыре трубки прямоугольного сечения, окрашенные в голубое. Пах он необычно. Не то чтобы хорошо, но и не плохо.

— Видела когда-нибудь такое, бабушка?

— Нет.

— Так я и думал.

Оставив непонятный предмет, Дуглас вышел из кухни. Через пять минут он вернулся с новой загадкой.

— А как насчет этого?

Это напоминало ярко-розовую цепочку с пурпурным треугольником на конце.

— Отстань от меня,— фыркнула бабушка.— Это всего-навсего цепочка.

Дуглас вышел. Когда он вернулся, у него были заняты обе руки. Кольцо, квадрат, пирамида, прямоугольник — и прочие формы.

— Это не все. Там еще много всего.

— Да-да,— рассеянно кивнула бабушка, занимаясь своим делом.

— Ты ошибалась, бабушка.

— Насчет чего?

— Насчет того, что все люди внутри одинаковые.

— Не говори ерунды.

— Где моя копилка?

— На каминной полке.

— Спасибо.

Протопав в гостиную, Дуглас потянулся за копилкой.

В четверть шестого из конторы явился дедушка.

— Дедушка, пойдем наверх.

— Хорошо, сынок. Зачем?

— Я тебе кое-что покажу. Неприятное. Но интересное.

Крякнув, дед последовал за внуком в комнату мистера Кобермана.

— От бабушки это секрет, ей не понравится.— Дуглас распахнул дверь.— Вот.

Дедушка разинул рот.

Последующую сцену Дуглас запомнил на всю жизнь. Над обнаженным телом стояли коронер и его помощники. Бабушка внизу спросила кого-то: «Что там происходит?», а дедушка сказал нетвердым голосом:

— Я съезжу с Дугласом куда-нибудь подальше, чтобы он забыл эту жуткую историю. Жуткую, омерзительную историю!

— А что тут такого плохого? — пожал плечами Дуглас. — Ничего плохого я не вижу. И чувствую себя нормально.

Коронер, содрогнувшись, произнес:

— Коberman мертв, дело ясное.

Его помощника прошиб пот.

— Видели эти штуки в миске с водой и в оберточной бумаге?

— О боже мой, да. Видел.

— Господи Иисусе.

Коронер склонился над телом мистера Коbermana.

— Лучше будет, ребята, если это останется тайной. Это было не убийство. Мальчик совершил акт милосердия. Бог знает, что могло бы случиться, если бы не он.

— Кто был этот Коberman — вампир? Чудовище?

— Может. Не знаю. Я ничего не знаю. Он был... не человек. — Руки коронера проворно двигались над швом.

Дуглас был горд своей работой. Ему пришлось попотеть. Он внимательно наблюдал за действиями бабушки и все запомнил. Про иголку, нитку и все прочее. В целом мистер Коberman представлял собой такое же аккуратное изделие, как те цыплята, которых бабушка отправляла в ад.

— Я слышал от мальчика, что этот Коberman не умер даже после того, как из него извлекли все эти штуки. Жил дальше. Боже.

— Это мальчик сказал?

— Да, мальчик.

— Тогда что убило Коbermana?

Коронер вынул из шва несколько ниток.

— Это...— сказал он.

Солнечный луч холодно блеснул на приоткрытом кладе: шести долларах и семидесяти центах в серебряных десятицентовиках, заполнявших грудь мистера Кобермана.

— Думаю, Дуглас мудро вложил свои деньги,— заключил коронер, восстанавливая шов на «фаршированной» груди.

Задники

Это как-то связано с задниками киностудии. Я любил голливудские задники. В детстве мне случалось бывать на студии «Парамаунт».

*

Задники стояли за высокими зелеными стенками из досок. Днем осыпавшиеся холсты палило и стягивало солнце, ночью увлажнял и растягивал туман. На Рю де ла Пэ было тихо. На Пикадилли-Серкус птички поклевывали крошки, оброненные несколько месяцев назад электриком, когда тут проходила съемка. Можно было разглядеть, где ново-старые здания сделались под струями дождя действительно старыми. Множество специалистов многие годы трудились над тем, чтобы состарить эти изображения Осло, Вены, Днепропетровска, Сингапура, Дублина, но вот взялось за дело само время, и усилия увенчались успехом.

Наступал вечер, с длинными тенями и прохладой. Стояла весна, но деревья из папье-маше не расцветали; они дожидались рабочих, которые прикрутят красоту проволокой и залакируют. Была еще только середина весны. Небо выглядело вполне, но земля нуждалась в режиссере, подобном Иисусу Христу: шелкнет хлыстом, махнет пухлой чековой книжкой и изольет-

ся на камни вся пышность, красота, все яркие краски природы.

Поблизости стоял в тени какой-то человек и ничего не делал. Спина его опиралась на телефонный столб, руки висели вдоль туловища, лицо ничего не выражало.

Другой мужчина, помоложе, завернул за угол рыночной площади рядом с собором Нотр-Дам, миновал Американский банк, мечеть, испанскую гасиенду; он заглядывал во все двери, явно кого-то разыскивая.

И вот они оказались лицом к лицу. Второй мужчина отпрянул и тут же кинулся вперед.

— Мэтт! Так вот ты где! — Он остановился.

Мэтт, то есть мужчина, стоявший в тени у телефонного столба, молчал, не двигался и даже не мигнул.

Мужчина помоложе удивился и, вглядываясь в сумрак, неуверенно спросил:

— Мэтт, это ты?

Человек у телефонного столба смотрел куда-то вдаль. Помедлив, он приоткрыл рот и произнес:

— Привет.

— Мэтт, это я, Пол! Мне не приходило в голову поискать здесь. Только сегодня вспомнил об этом месте. Сколько ты здесь пробыл?

— Долго, — медленно выговорил Мэтт, глядя на небеса.

Пол протянул руку.

— С сентября?

— Дольше, — невозмутимо отозвался человек в тени.

— Не может быть. — Юноша Пол снисходительно усмехнулся. — Ты исчез только в декабре.

Человек у столба не сходил с места.

— Если сказать, как долго я здесь пробыл, ты бы удивился. Мне здесь нравится.

— Ну ладно, а теперь ступай домой. Вера тебя простила.

— Я дома.

— Вера тебе обрадуется.

— Кто такая Вера?

— Давай, Мэтт, пойдем.

Человек у столба не двигался.

— Будь добр, не тяни меня за рукав. Я с тобой не пойду. Мое место не там. Все тамошние мне не нравятся. Мое место здесь. Это мой дом. И все вокруг знакомы.

— Ты устал.

— Я отдохнул. — Ни разу за весь разговор Мэтт не взглянул на юношу. — Я устану, если ты меня уведешь. Здесь я отдыхаю, нигде я так не отдыхал.

— Тебе не одиноко?

— Нет. Мне было одиноко с Верой, Томом и остальными. Когда я водился с ними, мне всегда было не по себе. Возвращайся-ка ты лучше к ним, Пол.

— Я пришел за тобой, и мне рано уходить, — заупрямился Пол.

— Ну что же, тогда придется уйти мне, — произнес человек в тени. — Доброй ночи, Пол.

Когда он, не выходя из тени, повернулся, оказалось, что его спинной хребет и шея представляют собой с оборотной стороны систему стоек и распорок, придающих устойчивость и объем его фальшивому, сделанному из папье-маше, фасаду.

Лавируя между темными зданиями, он медленно двинулся прочь.

Водосток

*

Mademoiselle

Май 1947

Мое воображение всегда поражал тот факт, что под многими городами текут подземные реки. Сейчас я заканчиваю свой новый роман («Давайте все убьем Констанцию»), где действие происходит там же, под Лос-Анджелесом, в тоннеле с руслом, которое наполняется только во время дождя. Драматическая сцена разыгрывается на подземной высохшей реке, которая начинается от Билона-Крик и проходит под городом, достигая — ни много ни мало — Глендейла и Голливуда. Выходишь через крышку люка — и вот он, океан, в двух шагах. Я как раз пишу эту сцену.

*

С полудня непрерывно лил дождь, и уличные фонари тускло светили сквозь серую завесу. Обе сестры давно сидели в столовой. Одна из них — Джульет — вышивала скатерть, младшая — Анна — застыла возле окна и, прислонившись лбом к стеклу, смотрела на темную улицу и на темное небо.

Анна не меняла позы, но губы у нее шевелились, и после долгого размышления она произнесла:

— Раньше я об этом никогда не думала.

— О чем? — переспросила Джульет.

— Только сейчас пришло в голову. На самом деле под городом находится и другой город. Мертвый город, вот тут — прямо у нас под ногами.

Джульет сделала стежок на белой ткани:

— Отойди от окна. Дождь как-то странно на тебя повлиял.

— Нет, правда. Ты когда-нибудь задумывалась о водостоках? Они в городе повсюду, под каждой улицей: там можно ходить, ни капельки не сгибаясь; где только их нет, этих тоннелей, и ведут они прямо в море, — говорила Анна, замороженно следившая за тем, как на асфальте образуются лужи, а дождевые потоки с неба на каждом углу вливаются в канализационные люки, чтобы вылиться через отдаленный створ. — Тебе бы не хотелось жить в водостоке?

— Ну уж нет!

— А ведь как весело было бы жить в водостоке, тайком от всех, поглядывать снизу на людей через рези решеток — и чтобы тебя никто не видел? Так бывало в детстве, когда мы играли в прятки в дождливый день и тебя пробирала гусиная кожа: тебя ищут не доищутся, а ты тихохонько сидишь себе где-нибудь у них под боком в укромном местечке, в тепле, и от волнения дохнуть боишься. Мне это страшно нравилось. Люблю всех дурачить. Наверное, жить в водостоке было бы то же самое.

Джульет не сразу оторвала глаза от вышивки:

— Анна, ты ведь моя сестра, разве нет? Тебя *родили* — так? Но вот иногда слушаю я тебя и думаю, что наша мама нашла тебя где-нибудь под деревом, принесла домой и посадила в горшок. Ты росла-росла, пока не выросла, и какой была — такой навсегда и останешься.

Анна ничего не ответила, и Джульет снова взялась за иголку. Комната выглядела тусклой, сестры тоже никак не оживляли ее серости. Прошло минут пять: Анна не отрывалась от оконного стекла. Потом с ре-

шителъным видом отстранилась, устремила взгляд в пространство и сказала:

— Ты, наверное, подумаешь, что это мне приснилось. Ну, пока я тут сидела — весь этот час. Думала. Да, это был сон.

На этот раз промолчала Джульет.

Анна прошептала:

— Видно, это вода меня усыпила; я задумалась о дожде — откуда он берется и куда исчезает сквозь решетки возле тротуаров, подумала о тех глубинах, и вдруг появились *они*. Мужчина и женщина. Внизу, в водостоке, под мостовой.

— И чего ради они там оказались? — спросила Джульет.

— А разве нужна какая-то причина?

— Не нужна, если у них с головой не в порядке, — продолжала Джульет. — В подобном случае никаких причин не требуется. Сидят себе в водостоке — и пускай сидят.

— Но ведь они не просто так сидят там, под землей, — проговорила Анна с понимающим видом, склонив голову набок и поводя глазами под полуприкрытыми веками. — Нет, эти двое — они влюблены друг в друга.

— Ну и ну, — отозвалась Джульет, — они что, забрались туда любовь крутить?

— Нет, они там уже много-много лет.

— Ты хочешь сказать, что они живут в водостоке не первый год? — возмутилась Джульет.

— А я разве сказала, что они живут? — удивленно переспросила Анна. — Ну конечно же нет. Они *мертвые*.

Дождь швырял в окно пригоршни дробы; стучавшие о стекло капли собирались вместе и струйками стекали вниз.

— Вот как,— протянула Джульет.

— Да,— радостно подтвердила Анна.— Мертвые. И он, и она.— Эта мысль, казалось, доставляла ей удовлетворение, словно это было удачное открытие, которым она гордилась.— Он походит на очень одинокого человека, который в жизни никогда не путешествовал.

— Откуда ты знаешь?

— Он походит на человека, который никогда в жизни не путешествовал, но всегда этого хотел. Это видно по глазам и по немощному телу.

— Выходит, ты знаешь, как он выглядит?

— Да. Он очень болен и очень красив. Бывает ведь, что болезнь делает мужчину красивым? При болезни лицо худеет и становится более выразительным.

— Так он же мертв? — спросила старшая сестра.

— Уже пять лет.

Анна говорила медленно, ее веки ритмично то приподнимались, то опускались, словно она собиралась поведать долгую историю и, зная об этом, хотела развернуть ее постепенно, а потом ускорять и ускорять ход повествования, пока оно не захватит ее самое, а глаза ее расширятся и рот приоткроется. Но пока она не спешила — и только голос слегка дрожал:

— Пять лет назад этот человек шел по улице и знал, что проходил по этой самой улице множество раз и что ему предстоит проходить по ней еще много-много вечеров, и вот он подошел к крышке люка — такому большому железному кружочку посередине улицы — и услышал, как под ногами у него, под металлической крышкой, шумит река, которая бежит к морю, к другим странам и краям.— Анна вытянула вперед правую руку.— Он неторопливо наклонился, поднял крышку водостока, поглядел вниз на пенистый поток и подумал о той, кого хотел любить и не мог, и тогда полез

в люк, спускаясь по железным ступенькам все ниже и ниже, пока не скрылся совсем и не задвинул за собой крышку люка, на которую дождь лился всю ночь...

— А что будет с ней? — спросила Джульет, занятая шитьем. — Когда умрет она?

— Точно не знаю. Она там новенькая. Она только что умерла, только-только, но умерла взаправду. И мертвая она очень, очень красивая. — Анна залобовалась образом, возникшим у нее в голове. — Только смерть делает женщину по-настоящему красивой, а самые прекрасные женщины — это утопленницы. Тело становится гибким, а волосы струятся в воде подобно клубам дыма. Руки, ноги и пальцы двигаются в воде замедленно и бесцельно: вода придает всей фигуре грацию и элегантность. Ни одного неуклюжего жеста. Утопленница то и дело поворачивает голову — почитать проплывающие мимо газеты невидящими глазами. — Анна довольно покивала. — Ни одна на свете школа хороших манер и светского этикета не научит женщину держаться с такой дивной непринужденностью и гибкостью, быть такой раскованной и безупречной. — Анна попыталась изобразить это гибкое совершенство взмахом широкой загрубевшей руки, но жест получился резким и судорожным. Она опустила руку и целых пять минут оставалась в задумчивости. — Он ждал ее, целых пять лет. А она до сих пор не знала, где его искать. И вот теперь они вместе, отныне и навсегда! В сырое время года они будут оживать. А в сухую погоду — дождей иногда месяцами не бывает — они затаятся в крохотных потайных нишах под водостоками, как японские водяные цветы — старые, высохшие, сморщенные, тихие.

Джульет поднялась и зажгла еще одну лампу в углу столовой:

— Мне что-то не хочется слушать эти твои рассуждения.

Анна рассмеялась:

— Ну давай я тебе расскажу, как у них все начинается, как они оживают, когда наступает сезон дождей. Я все это до мелочей представила. — Она подалась вперед, оперлась локтями на колени, с головой уйдя в рассказ и пристально вглядываясь в потоки дождя, хлеставшего за окном по горловинам водостоков. — Вот они тихохонько лежат себе глубоко внизу, совсем высохшие, а над ними, в небе, копят электрические разряды, надвигаются темные тучи — и скоро польется дождь! — Она откинула назад свои тусклые, с проседью, волосы. — На первых порах сверху сыплются мелкие капельки. Автомобили на улицах ими усеяны. Потом вспыхивает молния, гремит гром — и засушливому сезону конец: капли бегут по канавам, становятся все больше и больше, сливаются вместе и стекают под землю. Ручейки несут с собой обертки от жевательной резинки, окурки, театральные билеты, и проездные тоже!

— А ну, отойди от окна — живо.

Анна выставила руки перед собой, заключив воображаемую картину в квадратную раму:

— Я знаю, что сейчас происходит под мостовой, в огромном квадратном резервуаре. Он громадный. И совершенно пустой уже не одну неделю — солнце с неба не сходило. Он пустой: если крикнуть — раздастся эхо. Стоя внизу, можно услышать только, как наверху проезжает автомобиль. Далеко-далеко и высоко над тобой. Весь этот резервуар похож на высохшую полую верблюжью кость, завалывшуюся в ожидании где-нибудь в пустыне. Держу пари, что дно все-

го водостока сплошь покрыто плотно слежавшимися старыми цирковыми афишами и газетами тридцать шестого или сорокового года, где печатались сообщения о войне или умерших кинозвездах. — Анна подняла руку, указывая наверх, словно сама пребывала в ожидании внутри водостока. — И вот — крохотная струйка. Капает на пол. Будто кого-то наверху ранили ножом и кровь просочилась оттуда вниз. Послышался грохот! А может, всего лишь по улице проехал грузовик? Вода стекает вниз. Она проникает всюду сквозь мелкие отверстия. Мелкими завитками и змейками. Она замутнена табаком. Образуются лужицы. И наконец — вода устремляется вперед. Потоки соединяются с потоками. В итоге один гигантский удав катится по усеянному макулатурой полу — с мощным, величественным напором. Со всех сторон, с юга и с севера, с разных улиц, льются все новые и новые потоки и объединяются в шипящий, сверкающий кольцами водоворот. Резервуар заполняется от стены до стены, доверху, и поток направляется в сторону океана — океан его к себе притягивает! Вьются, переплетаясь, многие течения. Десять тысяч водостоков поглощают нечистые сливы, бумагу, всякий мусор. И вода добирается до тех крохотных сухих ниш, о которых я тебе говорила. Она медленно затопляет тех двоих — высохших и мертвых, будто японские цветы. — Анна стиснула ладони и медленно, один за другим, переплела пальцы. — Вода их пропитывает. Сначала приподнимается рука женщины. Чуть-чуть всколыхнувшись. Кисть руки — единственная живая часть ее тела. Потом распрямляется вся рука и одна нога. А ее волосы... — Анна притронулась к собственным волосам, падавшим ей на плечи. — Ее волосы расправля-

ются и распускаются в воде, точно цветок. Ее голубые веки сомкнуты...

В комнате становилось все темнее, Джульет не отрывалась от шитья, Анна же продолжала без умолку рассказывать обо всем, что виделось ей в воображении. По ее словам, вода поднялась и увлекла женщину с собой: та свободно развернулась и выпрямилась в водостоке во весь рост — мертвая и безучастная.

— Вода неравнодушна к этой женщине — и она предоставляет воде делать с ней, что заблагорассудится. Все понятия приносит ей вода. Женщина пролежала тихо и недвижно так долго — и она готова жить снова, любой жизнью, какой захочет наделить ее вода.

А где-то в другом месте мужчина тоже распрямился в воде. Анна рассказывала и об этом: как течение, медленно его увлекая, медленно увлекало и ее — друг к другу, пока они не встретились.

— Вода открывает им глаза. Теперь зрение к ним вернулось, но друг друга они не видят. Они кружат в воде, не соприкасаясь. — Анна с закрытыми глазами слегка поводила головой. — Они следят друг за другом, но способны пользоваться только теми мышцами, которые дала им вода. Они излучают фосфорическое сияние. И улыбаются. Вот — их руки соединились. — Анна помедлила, глубоко вздохнула и задумалась, трогая кончиками пальцев правой руки пальцы левой. — Волна — волна заставляет их соприкоснуться. Они сталкиваются. Отдаляются. Сталкиваются снова. Легонько. Сначала касаются руками. Потом ногами. И потом — телами.

Джульет наконец отложила шитье и строго поглядела на сестру. В полутемной комнате слышался только мерный шум дождя.

— Они кружатся,— тихо шептала Анна, медленно водя пальцами по воздуху.— Сталкиваются, легонько. Поворачиваются. Вертятся. Ударяются слегка головами, губы их едва соприкасаются. Много-много раз их бледные вытянутые тела слегка ударяются друг о друга, много раз.

— Анна!

— Они плавают друг над другом и меняются местами. Течение их сближает, а потом разъединяет. Туда и сюда.— Анна показала жестахми как.— Это совершенная любовь, она лишена всякого «я» — только два тела, несомые водой, а вода очищает их и устраняет все изъяны. В такой любви нет ничего низкого.

— Дурной твой язык! — воскликнула ее сестра.

— Да нет же, ничего дурного в этом нет,— возразила Анна, на миг обернувшись.— Они ведь ни о чем не думают, разве нет? Просто они там, далеко внизу, в глубине, им там спокойно и заботиться не о чем. Плещутся, будто детки в ванне.

Анна, наложив правую руку на левую, медленно и бережно переплела дрогнувшие пальцы. Тусклый осенний свет, проникавший в комнату через залитое дождем окно, казался на ее пальцах струившейся блеклой водой, в толщу которой они были погружены и поочередно перебежали один над другим. Недолгая греза подходила к концу.

— Он — высокий и невозмутимый, с раскрытыми ладонями.— Анна показала, какой он высокий и как непринужденно выглядит в воде.— Она — маленькая, тихая, расслабленная.— Анна неторопливо провела правой рукой по левой.— Им обоим так чудесно, спешить некуда, времени хоть отбавляй, они это знают.— Анна выставила руки перед собой, замороженно на них глядя. Бросила взгляд на сестру, продолжая дер-

жать руки на весу. — Всегда лучше любить, когда любить можно долго, заботливо, не сломя голову. Они там могут любить сколько угодно и заботиться друг о дружке, потому как их никто не видит, некому на них прикрикнуть или изругать. Никто им не помешает. Разве что ключья бумаги проплывут мимо — или журнал какой-нибудь. Но даже если вдруг кто-то на них наткнется — они ведь мертвые!

Анну, казалось, очень обрадовало заново сделанное ею открытие. Она посмотрела на свои белые руки:

— Они мертвые, пойти им некуда, и никто им ничего не скажет. Они и ухом не поведут, если их заметят и закричат: «Гляньте! Мужчина и женщина, совсем голые, оба в воде — ну не ужас ли?» — Анна тихонько рассмеялась. — Они просто-напросто останутся у себя в воде, беспечно кружась один вокруг другого, и какое им дело, что о них скажут, кто как поглядит, и совсем не важно, кто именно — даже родители или, допустим, сестры. — Анна кивнула в сторону Джульет. — Помнишь этот детский стишок — как там? «Не боюсь я ремня, мне порка — чихня, и тебе не прикончить меня!» Только для этих мужчины и женщины иначе: «Тебе нас не воскресить!» Их надо было бы воскресить, оживить еще до того, как им скажут, что они грешны и порочны. Но никому это не под силу, слишком поздно. И в этом-то вся прелесть! И вот они там, ничто их не касается и ничто не тревожит, их тайное убежище — глубоко под землей, в недрах водостока, где их постоянно носит туда-сюда. Они касаются друг друга руками и губами, а когда попадают в створ на перекрестке улиц, течение бросает их навстречу — и вода обжигает их холодом! — Анна захлопала в ладоши. — Их ударяет об стену. Так они застывают на месте, прижатые друг к дружке — может быть, на целый час, а те-

чение их слегка покачивает, и все распрекрасно. А потом...— Анна разъединила руки.— Потом, быть может, они путешествуют вместе, рука об руку, то всплывая, то погружаясь, беспечно и привольно, под всеми улицами, выделявая шальные антраша, когда их увлечет внезапный поток — она походит на вспышку белого огня, и он тоже.— Анна раскинула руки; окно окатывали дождевые брызги.— И вот они несутся по течению к морю, через весь город, по одному тоннелю и по другому, улица за улицей — Дженеси-авеню, Креншо, Эдмонд-Плейс, Вашингтон, Мотор-Сити, набережная,— и вот наконец оказываются в океане. Могут теперь направиться куда пожелают, по всему белому свету, на самой глубине, а позже вернуться обратно: через впускной шлюз водостока снова проплыть под городом, под дюжиной табачных лавочек и под четырьмя дюжинами винных, под шестью дюжинами бакалейных магазинов и под десятком театров, под железнодорожным вокзалом и под сто первым шоссе, под ногами тридцати тысяч прохожих, которые даже понятия не имеют и в жизни не думают о водостоке.— Голос Анны дрогнул, но вскоре снова выровнялся.— А потом — время идет, гром над улицей стихает. Дождь прекращается. Влажный сезон окончен. В тоннелях сверху покапает — и перестанет. Вода убывает.— Анна выглядела огорченной: казалось, это очень ее печалит.— Река впадает в океан. Мужчина с женщиной чувствуют, что вода мало-помалу опускает их на дно. И вот они там.— Анна в несколько приемов опустила руки на колени и с грустью, не отводя глаз, в них всмотрелась.— Они соприкасаются ногами, но из ног уходит жизнь, которую давала им вода извне. Они соприкасаются коленями и бедрами, но вот спадающая вода укладывает их рядом, бок о бок, и постепенно

исчезает, а тоннель пересыхает. Остаются только маленькие лужицы и мокрые обрывки бумаги. И оба они так и лежат. Слабо и довольно улыбаясь. Они не шевелятся и совсем не стыдятся. Как детки, лежат рядом на сухом полу, и кожа у них тоже высыхает. Они едва-едва касаются друг друга. А наверху, по всему миру, светит солнце. Они лежат в темноте — и засыпают, до следующего раза. До следующего дождя. — Руки Анны лежали у нее на коленях, раскрытыми ладонями вверх. — Чудной мужчина, чудная женщина, — пробормотала она. Наклонила голову и крепко зажмурилась. Потом вдруг выпрямилась и впиалась взглядом в сестру. — А ты знаешь, кто этот мужчина? — едко спросила она.

Джульет не ответила: уже минут пять она пораженной следила за сестрой. Губы у нее побелели, рот приоткрылся. Анна перешла на крик:

— Этот мужчина — Фрэнк, вот кто! А я — та самая женщина!

— Анна!

— Да, Фрэнк, и он там — внизу!

— Но Фрэнка нет, уже не первый год, и он точно не там, внизу, Анна!

Теперь Анна заговорила, не обращаясь по отдельности ни к кому, а словно бы ко всем сразу — к Джульет, к окну, к стене, к улице.

— Бедный Фрэнк! — со слезами восклицала она. — Я знаю — он ушел именно туда. В этом мире ему нигде не было места. Его матушка портила ему жизнь как только могла! Он увидел водосток и понял, какое это чудесное тайное убежище и что оттуда можно попасть в океан и странствовать по всему миру: все равно что вернуться в материнскую утробу, где было так уютно и укромно и где никто к тебе не придирается.

О, бедный Фрэнк. И бедная, бедная Анна — никого у меня нет, кроме сестры. Ах, Джул, ну почему все так вышло — и почему я не удержала Фрэнка, пока он был тут! Но если бы я старалась его не отпустить, он бы взбунтовался — и я тоже, а тогда Фрэнк перепугался бы до смерти и удрал, как мальчишка, а я бы его возненавидела, если бы он ко мне притронулся. Господи, Джул, на что мы годимся!

— Прекрати сейчас же — слышишь, прекрати сию же минуту!

— Дождь идет уже три дня, и все это время я сидела здесь — и думала, думала. И когда сообразила, что Фрэнк там, внизу, то поняла, что ему там самое место, а когда открыла кран на кухне, то услышала, как он зовет меня оттуда — из водостока, голос его доносился по нескончаемым металлическим трубам, он меня звал и звал. А когда мылась утром в ванной, он выглянул из-за сетки в душе и увидел меня. Мне пришлось срочно намылиться! Я видела, как за сеткой блеснул его глаз!

— Мыльный пузырь! — гневно бросила Джульет.

— Нет, глаз.

— Капля воды.

— Нет, глаз Фрэнка!

— Шарнир, гайка, винтик.

— Зоркий, прекрасный глаз Фрэнка!

— Анна!

Анна съезжилась в углу возле окна, держась за него одной рукой, и беззвучно заплакала.

— Ну что, ты всё? — послышался спустя какое-то время голос сестры.

— Что «всё»?

— Если успокоилась, то помоги мне это закончить, а то мне ввек не разделаться.

Анна подняла голову: лицо у нее было бледным и ничего не выражало. Джульет смотрела на нее с легким нетерпением. Нетерпение легкое, но в нем сквозила такая настойчивость, что противиться было невозможно. Нечего было возразить, нечему сопротивляться. Но эта настойчивость — мягкая, ненавязчивая — длилась бесконечно, год за годом.

Анна встала и со вздохом шагнула к сестре:

— Что я должна сделать?

— Вот здесь и здесь, — показала ей Джульет.

— Хорошо, — кивнула Анна и уселась с шитьем у холодного окна, за которым по-прежнему не прекращался дождь.

Ее пальцы проворно управлялись с иглой и ниткой, но думала она о том, как темно сейчас на улице, и как темно в комнате, и как трудно стало разглядеть круглую чугунную крышку водостока. В непроглядной черноте позднего вечера вспыхивали неяркие отблески и отсветы. В паутине дождя с треском сверкнула молния.

Прошло полчаса. Сонная Джульет сняла очки, положила их рядом с шитьем, откинула голову на спинку кресла и на миг задремала. Секунд тридцать спустя — не больше — она услышала, как яростно хлопнула входная дверь, в дом ворвался ветер, слышались торопливые шаги по дорожке: кто-то опрометью спешил на черную улицу.

— Что там такое? — Джульет выпрямилась, нахватав очки. — Кто там? Анна, к нам кто-то приходил? — Она уставилась на пустое сиденье у окна, где только что была Анна. — Анна! — крикнула она, вскочила на ноги и выбежала в прихожую.

Входная дверь была распахнута, дождь просачивался в дверной проем тончайшей туманной взвесью.

— Она, наверное, выскочила погулять, — проговорила Джульет, вглядываясь в мокрую черноту. — И вот-вот вернется. Правда ведь, ты сейчас вернешься — Анна, дорогая? Анна, откликнись, ты вправду через минутку вернешься, дорогая моя сестричка?

На улице приподнялась и со стуком захлопнулась крышка канализационного люка.

Дождь что-то нашептывал улице всю ночь, падая на плотно закрытую крышку водостока.

Следующий

*

Playboy

Декабрь 1955

Я проводил [в Мексике] затянувшийся отпуск, путешествуя с Грантом [Бичем] — отличным парнем: именно он побудил меня отправить мои рассказы издателям, и я продал за неделю три рассказа — только потому, что он меня подзуживал. За три дня — неслыханное дело — я продал три рассказа. В журналы «Мадемуазель», «Чарм» и «Колльерс». [Мексика в те времена] представляла собой смесь убожества и неповторимости, насилия и смертоубийства. Рассказать было о чем. А этот город [Гуанахуато], где я спустился в катакомбы, а добравшись до самого конца, огляделся в недоумении: как же, черт подери, отсюда выбраться? Меня ожидали там мумии — целых четыре дюжины, выстроившись в ряд с каждой стороны. Я прошел там до упора, как отпечетый дурак. Теперь надо было возвращаться — и снова пройти сквозь строй. Перепуганным до смерти. Вернувшись, я сказал Гранту: «Не хочу я ночевать в этом городе». Он ответил: «Что ж, понятно». Мы сели в машину, но мотор не завелся. Пришлось остаться на ночь и отдать машину в починку. Я не мог сомкнуть глаз до самого утра. С площади доносился стук молотков: это гробовщики сколачивали гробы. Сущий кошмар. А рассказ я написал и продал в «Ю-Эс-Эй мэгэзин», где он так и не был опубликован.

*

Вид из окна напоминал карикатуру на городскую площадь. Наличествовали тут и свежие компоненты: конфетная коробка эстрады, где по вечерам в четверг и

воскресенье оркестранты извергали музыку; покрытые зеленоватой патиной изящные медно-бронзовые скамейки, сплошь изукрашенные затейливыми фигурками и завитками; изящно выложенные голубой и розовой плиткой прогулочные дорожки: голубые, как только что подведенные женские глаза, и розовые, как женские потаенные дива; дополняли картину изящно подрезанные на французский манер деревья с кронами — точными подобиями шляпных коробок. В целом вид из окна гостиничного номера притягивал воображение немыслимой иллюзорностью, свойственной, скажем, какой-нибудь французской деревушке девяностых годов. Но нет, это была Мексика! Заурядная площадь в небольшом мексиканском городке колониального стиля с изящным государственным Оперным театром (где за входную плату в два песо крутили фильмы «Распутин и императрица», «Большой дом», «Мадам Кюри», «Любовная интрига», «Мама любит папу»).

Утром Джозеф вышел на нагретый солнцем балкон и присел на корточки перед решеткой, нацелив свой портативный фотоаппарат «Брауни». За спиной у него слышно было, как в ванной лилась вода, и оттуда донесся голос Мари:

- Ты что там делаешь?
- Снимаю, — пробормотал Джозеф себе под нос.
- Что-что? — переспросила Мари.

Джозеф щелкнул затвором, выпрямился, потом, скосив глаза, перевел кадр и сказал:

— Заснял городскую площадь. Господи, ну и орали же там прошлой ночью! До половины третьего глаз не сомкнул. Угораздило же нас попасть сюда, когда местный «Ротари» устроил здесь попойку...

- Какие у нас на сегодня планы?

— Пойдем смотреть мумии.

— Вот как... — протянула Мари. Наступила пауза. Джозеф вернулся в номер, положил фотоаппарат и прикурил сигарету.

— Ну, если ты против, пойду и посмотрю сам, один.

— Да нет, — нерешительно возразила Мари. — Я тоже пойду. Только, может, лучше совсем выкинуть это из головы? Городок такой уютный.

— Глянь-ка! — воскликнул вдруг Джозеф, краем глаза заметив какое-то движение за окном. Он выскочил на балкон и застыл на месте, забыв о дымившейся в руке сигарете. — Скорее, Мари!

— Я вытираюсь.

— Давай поскорее! — Джозеф, зачарованный, смотрел вниз, на улицу.

Позади него послышался шорох, повеяло ароматами мыла, омытой водой плоти, мокрого полотенца, одеколona: Мари встала рядом.

— Стой, где стоишь, — предупредила она. — Я буду смотреть так, чтобы меня не заметили. А то я совсем голая... Что там такое?

— Смотри, смотри! — крикнул Джозеф.

По улице двигалась процессия. Впереди шел человек с ящичком на голове. За ним — женщины в черных *rebozos**: они на ходу срывали зубами шкурки с апельсинов и выплевывали их на мостовую; бок о бок с ними увивались дети, мужчины им предшествовали. Некоторые ели сахарный тростник, вгрызаясь в корку и отдирая ее крупными кусками, чтобы добраться до сочной мякоти внутри, которую они жадно сосали. Всего в толпе было человек пятьдесят.

* Край плаща, накидка — для прикрытия нижней части лица (исп.)

— Джо... — выдохнула Мари за спиной у Джозефа, схватив его за руку.

Мужчина во главе процессии нес на голове не совсем обычную поклажу, стараясь держать ее ровно, точно это был петушиный гребень. Ящичек был накрыт серебристой атласной тканью с серебристой же каймой и серебристыми розочками. Мужчина придерживал ящичек смуглой рукой, другая рука свободно болталась.

Это были похороны, а ящичек был гробом.

Джозеф искоса взглянул на жену.

Кожа Мари после ванны была нежно-розовой, но теперь она сделалась белее парного молока. Сердечный спазм целиком втянул прежний цвет в некую потаенную внутреннюю полость. Мари вцепилась в косяк балконной двери и не отрываясь смотрела на шествие жующей толпы, вслушивалась в их негромкий разговор и приглушенный смех. О своей наготе она просто забыла.

— Видать, какой-то малыш переселился в лучшие края — или малышка, — заметил Джозеф.

— А куда они... ее... несут?

Выбор женского местоимения показался Мари естественным. Она уже мысленно отождествила себя с крошечным разлагающимся тельцем, упакованным в коробку, будто недозрелый плод. Сейчас, в эту самую минуту, ее несли наверх, стиснутую в кромешной тьме, как персиковую косточку, безмолвную и испуганную; пальцы отца касаются обивки гроба, но внутри тихо, нерушимый покой.

— На кладбище, разумеется, — куда же еще?

Облачко сигаретного дыма на миг застлало недоуменное лицо Джозефа и тотчас рассеялось в воздухе.

— На то самое кладбище? — пристально глядя на Джозефа, спросила Мари.

— А в таких городках всегда только одно кладбище. С похоронами тут обычно не тянут. Эта малышка, надо думать, умерла всего несколько часов назад.

— Несколько часов? — Мари неловко повернулась — голая, жалкая, — кое-как удерживая полотенце в ослабевших руках, и двинулась к постели. — Несколько часов назад она была жива, а теперь...

Джозеф продолжал:

— Вот они и торопятся затащить ее на гору. Климат для покойников здесь неподходящий. Жара, бальзамировать нечем. Надо побыстрее управиться.

— Но подумай, какой ужас — то самое кладбище, — будто во сне, пробормотала Мари.

— А, ты про мумии, — отозвался Джозеф. — Ну, не зачем тебе расстраиваться.

Сидя на кровати, Мари без конца разглаживала лежавшее у нее на коленях полотенце. Глаза казались такими же незрячими, как и ее коричневые соски. Мари не видела ни Джозефа, ни комнаты. Знала, что, если он щелкнет пальцами или закашляется, она и головы не поднимет.

— На похоронах они едят фрукты — и смеются, — проговорила Мари.

— До кладбища недалеко, к тому же и подъем крутой.

Мари содрогнулась. Дернулась, будто рыба в попытке сорваться с глубоко проглоченного крючка. Она откинулась на подушку, а Джозеф смотрел на нее таким взглядом, каким изучают неудачную скульптуру, — придиричиво, бесстрастно, с невозмутимым спокойствием. Мари равнодушно думала о том, сколько

его рукам пришлось потрудиться над ее телом — разминать, сплющивать, формовать. Теперь ее тело уж точно было другим: начинал он не с этим. Поправлять что-либо уже поздно. Глина, которую скульптор бездумно смешал с водой, меняет свой состав. Прежде чем приступить к формовке, нужно согреть ее руками, теплом рук выпарить влагу. Но теплых чувств между ними больше не осталось, давно забыты и дарившие наслаждение взаимные касания. Не стало тепла, чтобы выгнать застойную влагу, пропитавшую все ее тело, отяжелившую груди. А если тепло исчезло, горько и тревожно видеть, как быстро сосуд накапливает в оживших клетках воду, которая их разрушает.

— Я что-то неважно себя чувствую, — проговорила Мари, лежа на кровати и не переставая обдумывать, так ли это на самом деле. — Совсем неважно, — повторила она, так как Джозеф ничего не ответил. Полежав еще минуту-другую, Мари приподнялась. — Давай уедем отсюда сегодня же вечером, Джо.

— Но городок-то — просто одно загляденье.

— Да, но мы уже все тут повидали. — Мари вскочила с постели.

Она знала наперед, что последует за ее словами. Оживление, напускная веселость, притворное подбадривание — сплошная фальшь.

— Можно отправиться в Пацкуаро. Прямо сейчас: раз-два и готово. Укладывать вещи тебе не придется — милый, я сделаю все сама! Снимем номер в отеле «Дон Посада». Говорят, места там просто чудесные. И все дома оплетены бугенвиллеей, — добавила она.

— Вон, видишь? — Джозеф показал на цветы у окна. — Это и есть та самая бугенвиллея.

— А еще там можно порыбачить, ты же обожаешь рыбалку, — торопливо зачастила Мари. — И я тоже буду

ловить рыбу, я научусь, непременно научусь — я ведь всегда мечтала научиться рыбачить! Говорят, что тарасканские индейцы с виду точь-в-точь монголы и плохо понимают по-испански. А оттуда мы можем отправиться в Паракутин — это рукой подать от Урапана, а там продают такие чудные лакированные шкапулки. Ох, как это будет здорово, Джо! Я сейчас возьмусь за вещи. Ты только ни о чем не беспокойся и...

— Послушай, Мари! — окликнул ее Джозеф на пути в ванную.

— Да?

— Ты, кажется, сказала, что неважно себя чувствуешь?

— Ну да, да. И сейчас тоже. Но стоит мне только подумать, какие замечательные там места...

— Но мы же не осмотрели в этом городе и десятой части, — пустился в резонные объяснения Джозеф. — На горе стоит памятник Морелосу — я собирался его сфотографировать. А дальше на этой улице есть образчики французской архитектуры... Мы одолели триста миль, пробыли тут всего один день — и опять срываться с места? К тому же я внес плату за предстоящий ночлег...

— Деньги можно вернуть, — возразила Мари.

— Ну почему тебе так не терпится отсюда удрать? — с участливым простодушием допытывался Джозеф. — Тебе что, не нравится этот город?

— Да нет, почему же, я просто в восторге. — Мари улыбалась, но щеки у нее были как мел. — Здесь так много зелени — и все так мило.

— Вот и ладно, — заключил Джозеф. — Задержимся еще на денек. Тебе понравится. Решено.

Мари открыла рот, словно хотела что-то сказать.

— Что-что? — переспросил Джозеф.

— Да нет, ничего.

Мари закрылась в ванной. С шумом принялась рыться там в аптечке. В стакан полилась вода. Наверное, она принимала какое-то желудочное средство.

Джозеф выкинул сигарету в окно, подошел к двери ванной.

— Мари, тебя что, эти мумии так встревожили?

— Н-не.

— Тогда, значит, похороны?

— Н-не.

— Слушай, дорогая, если ты и вправду так напугана, я могу собраться в один момент — ты же знаешь.

Ответа Джозеф дождался не сразу.

— Нет, ничуть я не напугана.

— Ну и молодец, хорошая девочка.

Кладбище было обнесено толстой саманной стеной, и по ее четырем углам простирали каменные крылья каменные ангелочки: их закопченные головы покрывал птичий помет, руки украшали амулеты из того же вещества, такие же веснушки испещряли и лица.

В теплом плавном потоке солнечного света, схожем с бездонной ровной рекой, Джозеф и Мари взобрлись на гору; косые голубые тени следовали за ними. Помогая друг дружке, они подошли к воротам кладбища, открыли голубую испанскую решетку и вошли внутрь.

Праздник *El Dia de Muerte* — День мертвых — отмечался совсем недавно: ленты, обрывки ткани и яркие блески все еще свисали, подобно безумным прядям волос, и с воздвигнутых надгробий, и с вырезанных вручную и любовно отполированных распятий,

и с гробниц, похожих на мраморные шкатулки для драгоценностей. Над холмиками из гравия в ангельских позах застыли статуи, на украшенных затейливой резьбой камнях — громадных, в человеческий рост — ангелы расправляли края своих одежд, а могильные плиты — широкие до нелепости — напоминали собой кровати, выставленные сушиться на солнце после ночной случайности. Внутри каждой из четырех стен кладбища в квадратные ниши были помещены гробы, снабженные мраморными табличками с высеченными на них именами и жестяными, дешевыми (ценой в один песо) изображениями вдвинутых туда мертвецов. Кое-где к портретам были прикноплены безделушки, особенно ценившиеся усопшими при жизни: серебряные брелоки, серебряные руки и ноги (или фигурки целиком), серебряные чашки, серебряные собачки, серебряные церковные медальоны, отрезки красного крепа и голубых лент. Попадались и раскрашенные маслом жестяные пластинки: на них ангелы возносили покойника на небеса.

Снова оглядывая могилы, Джозеф и Мари всюду замечали следы, оставленные недавним празднеством Смерти. Пятна застывшего воска на камнях — от горевших тут праздничных свечей. Увядшие орхидеи, прилипшие к молочно-белым камням наподобие раздавленных пурпурно-ярких тарантулов: обвислые и иссохшие, они сохраняли чудовищно развратный вид. Валялись тут и скрученные листья кактусов, побеги бамбука и тростника, мертвые дикие выюнки, сохлые венки из гардений и бугенвиллей. Кладбище имело вид бального зала после разгульной ночи, откуда сбежали все танцоры, оставив после себя беспорядочно сдвинутые столы, россыпь конфетти, оплывшие свечи, ленты и несбывшиеся мечты.

Оба — Джозеф и Мари — недвижно стояли на безмолвном, прогретом солнцем кладбище, среди могильных плит и надгробий. В дальнем углу кладбища суетился какой-то человек — невысокий, скуластый, с примесью испанской молочной светлоскожности во внешности, в очках с толстыми стеклами, в черном пиджаке, серой шляпе, серых неглаженных брюках и аккуратно зашнурованных ботинках. Человек в очках деловито расхаживал среди могил, очевидно наблюдая за работой другого человека в комбинезоне, орудовавшего лопатой. У очкастого коротышки под мышкой была зажата сложенная втрое газета, а руки он держал в карманах.

— *Buenos días, señora y señor**, — произнес он, обратив наконец внимание на Джозефа и Мари и подойдя к ним ближе.

— Это именно тут место для *las mommias*?** — спросил Джозеф. — Они ведь и вправду существуют, так?

— *Si****, мумии. Существуют — и находятся здесь. В подземелье.

— *Por favor*, — сказал Джозеф. — *Yo quiero veo las mommias, si?*****

— *Si, señor******.

— *Me Espanol es mucho estúpido, es muy malo******, — извинился Джозеф.

— Нет-нет, *señor*. Вы прекрасно говорите! Сюда, пожалуйста.

Он повел Джозефа и Мари за собой между увитыми цветами надгробиями к могильному камню в тени

* Добрый день, сеньора и сеньор (исп.).

** Мумий (исп.).

*** Да (исп.).

**** Будьте любезны, я хотел бы видеть мумии (исп.).

***** Да, сеньор (исп.).

***** Я очень плохо говорю по-испански (искаж. исп.).

стены. Это был большой плоский камень, лежавший вровень с гравием, на тонкой дверце висел замок. Его отперли, и деревянную заслонку со скрежетом отвалили в сторону. Открылось круглое отверстие, внутри которого ступеньки винтовой лестницы углублялись в землю.

Джозеф и шевельнуться не успел, как его жена поставила ногу на первую ступеньку.

— Постой,— сказал Джозеф.— Давай сначала я.

— Нет, ничего,— ответила Мари и начала спускаться вниз по спирали, пока совсем не скрылась в темноте подземелья.

Двигалась она осторожно: ступеньки были узкими — их ширины едва хватало даже для детской ступни. В темноте Мари слышала, как смотритель спускается вслед за ней, наступая ей чуть ли не на макушку. Затем тьма рассеялась, и они оказались в длинном беленом коридоре на глубине двадцати футов. Свет сюда попадал через геометрически правильные прорезы, несущие религиозную символику. Длина коридора составляла пятьдесят ярдов, и слева он упирался в двойную дверь с высокими стеклами, на которой имелась надпись, запрещающая вход посторонним. В правом конце коридора высилась груда каких-то белых палочек и круглых белых булыжников.

— О, да это же черепа и кости ног,— заинтересованно произнесла Мари.

— Это солдаты, сражавшиеся за отца Морелоса,— пояснил смотритель.

Они подошли к этому нагромождению поближе. Кости были аккуратно сложены одна на одну, будто поленья для костра, а сверху лежало множество голых черепов.

— Черепа и кости меня не волнуют, — сказала Мари. — С человеком они мало соотносятся. Почти совсем нет. Черепа и кости ничуть не страшные. Похожи скорее на насекомых. Или на камни, или на бейсбольные биты, или на гольши. Если ребенок подрастет, не подозревая, что внутри у него скелет, мысли о костях ему и в голову не придут, верно? Со мной так и было. На этих костях не осталось ничего человеческого. Нечему ужаснуться. Чтобы испугаться, нужно заметить перемену в чем-то знакомом. А тут ничего не менялось. Скелеты как скелеты, такими они всегда и были. Того, что изменилось, нет, а следов от перемены никаких. Занятно, правда?

Джозеф кивнул.

Мари совсем расхрабрилась:

— Ну что ж, давайте взглянем на мумии.

— Сюда, *señora*, — указал дорогу смотритель.

Он повел их по коридору от груды костей и, получив от Джозефа песо, отпер застекленную дверь и широко ее распахнул. Глазам Джозефа и Мари предстал еще более длинный, тускло освещенный коридор, по обе стороны которого стояли люди.

Эти люди ждали за дверью, выстроившись в длинный ряд под сводчатым потолком: пятьдесят пять вдоль левой стены, пятьдесят пять вдоль правой и пятеро в дальнем конце.

— Ну и ну, вот так штука! — вырвалось у Джозефа.

Мумии напоминали собой скорее предварительные заготовки скульптора: проволочный каркас, первичные наброски сухожилий, мышц, тонкого кожного слоя. Изваяния были незавершены — все сто пятнадцать.

Пергаментная кожа была натянута между костями, точно для просушки. Разложение тел не коснулось: испарились только внутренние соки.

— Климат такой, — объяснил смотритель. — Тела сохраняются долго. Из-за крайней сухости воздуха.

— И как долго они здесь находятся? — спросил Джозеф.

— Кто год, кто пять лет, *señor*, иные — десять, а то и все семьдесят.

При этой мысли нельзя было не растеряться от ужаса. Стоило только взглянуть направо — на фигуру, прикрепленную, как и прочие, к стене с помощью крюка и проволоки. Это был мужчина самого омерзительного вида, с ним соседствовало тело — очевидно, принадлежавшее женщине, во что поверить было просто невозможно. Далее помещался мужчина устрашающей внешности, а еще дальше — женщина с опечаленным лицом, словно она сожалела о том, что умерла и оказалась в столь неподходящем месте.

— Что они тут делают? — спросил Джозеф.

— Ничего, только стоят, сеньор.

— Да, но почему?

— Их родственники не внесли плату за могилы.

— А что, существует какая-то плата?

— *Si, señor*. Двадцать песо в год. Или же — для постоянного захоронения — сто семьдесят песо. Но здешний люд, сами знаете, голь перекатная: за сто семьдесят песо многим из них надо горбатиться года два. Потому они и несут своих покойников прямо сюда. Сперва, заплатив двадцать песо, хоронят в земле на год — с благим намерением вносить такую же плату каждый следующий год. Но на следующий год оказывается, что им необходимо купить ослика — или же в семье появляется новый рот, а то и целых три. Покойники, однако, есть не просят, но, с другой стороны, и за плуг не встанут. Бывает, что заводится и другая жена — или крыша нуждается в починке. Мерт-

вещи, попомним, в постель с живыми не ложатся и, как сами понимаете, крышу ими не залатаешь. Вот и получается, что на покойников деньги тратить некому.

— И что тогда? — спросил Джозеф. — Ты слушаешь, Мари?

Мари считала тела. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.

— Что? — негромко переспросила она.

— Ты слушаешь?

— Слушаю вроде. Что? А, да! Слушаю.

Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать.

— Ну что же, тогда, — продолжал смотритель, — по истечении года я вызываю *trabajando**, он берется за лопатку и принимается копать, копать и копать. Знаете, на какой глубине мы их захораниваем?

— Шесть футов? Как обычно?

— О нет, сеньор, нет, не угадали. Догадываясь, что по истечении года плата, скорее всего, внесена не будет, самых неимущих мы хороним на глубине в два фута. Меньше хлопот, понимаете? Решать приходится, естественно, исходя из достатка семьи умершего. Кое-кого иногда хороним на три, иногда на четыре фута, а то и на пять или даже на шесть — в зависимости от того, какими средствами располагает семья. Главное — убедиться в том, что спустя год не понадобится откапывать мертвеца заново. И позвольте заверить вас, сеньор, если уж мы хороним человека на глубине в шесть футов — значит, не сомневаемся, что доставать оттуда его нам не придется. И, знаете ли, еще ни разу мы не промахнулись: настолько точно определяем финансовые возможности наших клиентов.

* Рабочий (исп.).

Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Губы Мари шевелились почти беззвучно.

— Вот так. А вырытые тела прикрепляются здесь к стене — рядом с остальными *compañeros**.

— И родственникам известно, что они здесь?

— *Si*. — Человечек наставил указательный палец. — Вот этот, *yo veo*?** Новенький. Провел здесь год. Его *madre y padre**** знают, где он. А есть ли у них деньги? То-то и оно, что нет.

— Родители, должно быть, места себе не находят?

— Да что вы, им до этого и дела нет! — убежденно ответил человечек.

— Ты слышала, Мари?

— О чем? — (Тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре.) — Да, им до этого и дела нет!

— А что, если плату внесут — но позднее? — поинтересовался Джозеф.

— В этом случае, — ответил смотритель, — тело захоронят вновь, но только на тот срок, за какой внесена плата.

— Смахивает на вымогательство, — заметил Джозеф.

Коротышка-смотритель, не вынимая рук из карманов, пожал плечами:

— Надо же нам на что-то жить.

— Но вы ведь прекрасно отдаете себе отчет в том, что никому не под силу выложить разом такую сумму — сто семьдесят песо, — продолжал Джозеф. — И так, вы берете с них по двадцать песо, год за годом, — быть может, на протяжении тридцати лет. А неплательщи-

* Приятелями (*исп.*).

** Видите? (*исп.*)

*** Мать и отец (*исп.*).

кам угрожаете выставить их *tamacita** или *niño*** в этих катакомбах.

— Надо же нам на что-то жить, — повторил человек.

Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три.

Мари стояла посреди длинного коридора, мертвецы окружали ее со всех сторон.

Все они вопили.

Они, казалось, восстали, рывком поднялись из могил, выпрямившись во весь рост: стиснув руки на иссохшей груди, вопили разверстыми ртами, вывалив языки, раздув ноздри.

И словно застыли в этом порыве.

Рты были открыты у всех мумий. Вопль не прекращался. Все они умерли — и знают об этом. Чувствуют каждым ободранным мускулом, каждым обезвоженным органом.

Мари замерла на месте, прислушиваясь к их слитному воплю.

Говорят, будто собаки слышат звуки, недоступные человеческому уху: тон их настолько высок, что для нормального слуха они как бы не существуют.

Коридор наполнился воплями. Вопли неслись из разинутых от ужаса ртов — неслышные вопли.

Джозеф приблизился к одному из выстроившихся в ряд тел:

— Скажи: а-а-а...

Шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, считала Мари в гуще воплей.

— Вот любопытный экземпляр, — проговорил владелец.

* Мамочку (*исп*)

** Ребенка (*исп*)

Перед ними стояла женщина: руки обхватили голову, рот широко разинут (видны хорошо сохранившиеся зубы), длинные глянцевитые волосы беспорядочно всклокочены. Глаза глядели из черепа голубовато-белыми крохотными яйцами.

— Такое иногда случается. Эта женщина страдала каталепсией. Однажды упала замертво, но на самом деле не умерла: где-то глубоко-глубоко в груди сердце продолжало неслышно стучать. И вот ее похоронили на кладбище в недорогом, но прочном гробу...

— А вы разве не знали, что она страдала каталепсией?

— Ее сестры знали. Но на этот раз решили, что она и взаправду скончалась. А у нас в городе, где всегда так жарко, с похоронами не мешкают...

— То есть похоронили спустя несколько часов после мнимой смерти?

— *Si*, вот именно. Ни о чем таком мы бы в жизни никогда не заподозрили, если бы на следующий год сестры, экономя деньги для покупок, не отказались вносить плату за погребение. Итак, мы без лишнего шума раскопали могилу, подняли гроб наверх, сняли крышку, отставили в сторонку и глянули на покойницу...

Мари не сводила глаз с рассказчика.

— Под землей эта несчастная очнулась. Она билась в отчаянии, истошно визжала, дубасила об изнанку гроба кулаками, пока не скончалась от удушья — вот в этой самой позе, обхватив голову, выкатив глаза, со вздыбленными волосами. Будьте любезны, сеньор, обратите внимание на ее руки — и сравните с руками соседей, — продолжал смотритель. — У всех прочих пальцы мирно покоятся на бедрах, словно бутончики. А у нее? Охо-хо! Скрючены, судорожно расто-

пырены — понятно, что она пыталась выбить руками крышку гроба!

— Быть может, это следствие трупного окоченения?

— Уж поверьте мне, сеньор, при трупном окоченении никто не колотит по гробовым крышкам. Не кричит криком, не обдирает себе ногти, пробуя вывернуть слабо вбитые гвозди, сеньор, не силится в отчаянии хотя бы чуть-чуть раздвинуть доски — лишь бы глотнуть капельку воздуха, сеньор. У других рты тоже разинуты, *si*, но это оттого, что в тела не впрыснули балласта жидкости. Мускулы всего лишь расслабились естественным образом, создав иллюзию крика, сеньор. Но эту сеньориту постигла воистину чудовищная *muerte**.

Мари шла по коридору, еле волоча за собой ноги, оборачиваясь то в одну сторону, то в другую. Обнаженные тела. Одежда с них давно отшелушилась. Груди тучных женщин напоминали комки прокисшего теста, вывалившиеся в пыли. Чресла мужчин — втянутые, увядшие орхидеи.

— Мистер Гримаса и мистер Зевок! — объявил Джозеф.

Он наставил объектив фотоаппарата на двух мужчин, как будто бы занятых разговором: рты приоткрыты на полуслове, расставленные руки одеревенели в давно прерванной жестикуляции.

Джозеф шелкнул затвором, перевел кадр и нацелил объектив на другую мумию. Снова шелкнул затвором, перевел кадр и перешел к следующему экспонату.

Восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три. Отвисшие челюсти, языки высунуты, как у дразня-

* Смерть (*исп.*).

щихся детей, радужные оболочки выцвели в зрачках, закатившихся кверху. Волосы, просушенные солнцем до колючести, остро торчат по отдельности, точно иглы дикобраза, — над губами, на щеках, из век и ресниц. Клочковатые бородки на кадыке, на груди, в паху. Плоть — будто кожа на барабане, пергамент или зачерствелый хлеб. Женщины — громадные фигуры, дурно слеplенные из комьев жира, подтопленного смертью. Разлохмаченные прически, похожие на птичьи гнезда, которые то строили, то разоряли, то строили заново. Зубы как на подбор, здоровые, крепкие — полная челюсть. Восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь. Глаза Мари напряжены до предела. Дальше по коридору, дальше — медлить нельзя. Торопливый, скорый подсчет — без остановки. Вперед! Быстрее! Девяносто один, девяносто два, девяносто три! Вот мужчина со вспоротым животом: дыра зияет, будто дупло, куда лет в одиннадцать кидают детские любовные письма. Взгляд Мари уперся в отверстие под грудной клеткой. Внутри словно бы поорудовал строитель. Позвоночник, тазовые кости. И прочее — сухожилия, пергаментная кожа, суставы, глаза, заросший подбородок, уши, онемелые ноздри. И неровный глубокий разрез вокруг пупка, куда ложкой можно спровадить целый пудинг. Девяносто семь, девяносто восемь! Имена, адреса, даты, подробности.

— Вот эта женщина умерла в родах!

Свободно болтающийся недоношенный плод был прикручен проволокой к запястью женщины, похожий на замороженную голодом куколку.

— А это солдат. На нем еще сохранились клочья мундира...

Взгляд Мари впился в дальнюю стену. До того глаза ее метались туда и сюда, взад и вперед — от одного ужаса к другому, рикошетили от черепа к черепу, пе-

ребирали ребро за ребром, замирали, гипнотически замороженные зрелищем бессильных, бесполох, бесплотных чресел — зрелищем мужчин, которых обезвоживание превратило в женщин, а женщин — в свиноматок с обвисшими сосками. Взгляд кидался, вселяя страх, стремительней и стремительней, от разбухшей груди к неистово распыленному рту, от стены к стене — и обратно, снова и снова, будто мяч в игре: вот он застрял в немыслимом оскале, кричащим плевром переброшен в клешни, потом застревает между тощими грудями. Выстроившийся в ряд незримый хор безмолвным гулом подстрекает игроков, и мячик взгляда исступленно мечется от стены к стене — отскакивая, отпрыгивая, отлетая — и катится дальше по всей этой невообразимой процессии, сквозь жуткий строй подвешенных на крюки, вплоть до самого крайнего — пока зрение не разбивается вдребезги о коридорный тупик, где сосредоточен воедино последний истошный вопль всех здесь собранных!

Мари обернулась и метнула взгляд вдаль — туда, где ступени лестницы ввинчивались в поток солнечного света. Насколько же даровита смерть! Что за изобилие и разнообразие мимики и жестов, какое множество поз и телодвижений — не найти двух одинаковых. Тела напоминали вытянутые кверху оголенные трубки гигантской неиспользуемой каллиопы, вместо срезанных клапанов — отчаянно вопящие рты. И теперь будто гигантская обезумевшая рука надавила на все клавиши одновременно — и тут из высоченной каллиопы вырвался слитный стоголосый и нескончаемый вопль.

Затвор фотоаппарата щелкал поминутно, и Джозеф переводил кадр. Затвор щелкал, а он переводил кадр.

Морено, Морелос, Канине, Гомес, Гутьеррес, Вильяносул, Урета, Ликон, Наварро, Итурби, Хорхе, Филомена, Нена, Мануэль, Хосе, Томас, Рамона... Этот — любил прогулки, тот — пел, а у того было три жены. Один умер от такой-то болезни, а другой — от такой-то, третий же — совсем от иной. Четвертого застрелили, а пятого пырнули ножом. Шестая ни с того ни с сего рухнула замертво, у седьмого остановилось сердце. Двенадцатый был чересчур смешлив, тринадцатая обожала танцульки, четырнадцатая слыла писаной красавицей. У пятнадцатой было десять детей: шестнадцатый — один из них, так же как и семнадцатая. Восемнадцатого звали Томас — он чудно играл на гитаре. Следующие трое выращивали у себя на полях маис, и у каждого было по три любовницы. Двадцать второго не любил никто. Двадцать третья продавала на обочине мостовой возле Оперного театра тортильи, шлепая и подбрасывая их на сковородке на топившейся углем печурке. Двадцать четвертый избивал жену: теперь она, гордая и счастливая, расхаживает по городу с высоко поднятой головой, любезничая с ухажерами, а он торчит здесь, ошеломленный случившейся несправедливостью. Двадцать пятый наполнил легкие несколькими квартами речной воды — и его вытащили на берег рыболовной сетью. Двадцать шестой считался незаурядным мыслителем, а теперь его мозг, размером с мизинец, дремлет в черепе, подобный сушеной сливе.

— Хочу сделать цветные снимки каждого экспоната. Записать, как его — или ее — звали и кто из них отчего умер, — сказал Джозеф. — Если это опубликовать, получится потрясающая, полная иронии книжонка. Чем дольше размышляешь над этим, тем оно увлекательней. Краткая история чьей-то жизни — и тут же

прилагается соответствующее изображение каждого, кто тут стоит.

Джозеф легонько похлопал сначала по одной груди, потом по другой. Отозвалось слабое глухое эхо, словно он стучался в двери.

Мари с трудом прорывалась через вопли, преградившие ей путь подобно тенетам. Она направилась ровным шагом точно по середине коридора — не слишком медленно, но и не быстро — к винтовой лестнице, не глядя по сторонам. За спиной у нее неумолчно щелкал затвор фотоаппарата.

— Для новых поступлений у вас место найдется? — полюбопытствовал Джозеф.

— *Si, señor.* Места сколько угодно.

— Не хотелось бы оказаться следующим на очереди в вашем списке.

— Да-да, сеньор, кому же хочется?

— А нельзя ли приобрести одну из этих?

— О нет, сеньор, что вы! Нет-нет, ни в коем случае, сеньор.

— Я заплачу вам пятьдесят песо.

— Нет-нет, сеньор, никоим образом.

На рынке с шатких лотков продавали леденцы в форме черепов, оставшиеся после празднества Смерти. Торговки, закутанные в черные *rebozos*, сидели спокойно, лишь изредка перебрасываясь словами. Перед ними был разложен товар: сахарные скелетики, сахарные трупики и белые конфеты-черепушки. На каждом черепе золотом было причудливыми буквами выведено имя: Хосе, Кармен, Рамон, Тено, Гьермо или Роза. Цены были бросовые: празднество Смерти миновало. Джозеф заплатил песо и купил парочку сахарных черепов.

Мари, стоя рядом с ним на узкой улочке, смотрела, как смуглые продавщицы кладут черепа Джозефу в кулек.

— Не надо,— проговорила Мари.

— Но почему? — возразил Джозеф.

— Не надо *сразу* после того.

— После подземелья?

Мари кивнула.

— Да что в них плохого?

— Они, наверное, ядовитые.

— Оттого, что в форме черепа?

— Нет. Сахар на вид сомнительный, и еще неизвестно, кем они изготовлены: может, у этих людей кишечная колика.

— Милая моя Мари! Да у всех мексиканцев кишечная колика.

— Ну и ешь тогда сам!

— Увы, бедный Йорик,— произнес Джозеф, заглянув в кулек.

Они двинулись по узенькой улочке: оконные рамы высоких домов были выкрашены желтым; из-за розовых железных решеток просачивался пряный запах тамаля*, слышался оттуда и плеск воды забытого фонтанчика, струи которой падали на невидимые кафельные плитки. В клетках из бамбука, тесно сбившись, чирикали птички; кто-то играл на пианино Шопена.

— Надо же, здесь — и вдруг Шопен! — поднял глаза Джозеф.— До чего странно... Интересный, между прочим, мост. Подержи-ка.

Пока Мари держала кулек со сладостями, Джозеф сфотографировал красный мостик, соединявший два

* Национальное мексиканское блюдо: толченая кукуруза с мясом и красным перцем.

белых здания, по которому вышагивал мужчина, перекинув через плечо ярко-красную мексиканскую шаль.

— Отлично, — сказал Джозеф.

Мари приблизилась к нему, поглядела в сторону, а потом снова на него. Губы ее беззвучно шевелились, глаза беспокойно моргали, тонкая жилка на шее напряглась, будто проволока, бровь слегка подергивалась. Она ступила на обочину, покачнулась, взмахнула руками, что-то проговорила и, в попытке удержать равновесие, выронила кулек.

— Господи боже! — Джозеф подхватил кулек. — Смотри-ка, что ты натворила! Разиня!

— Я чуть лодыжку себе не сломала.

— Это были самые что ни на есть отборные черепа — и оба теперь никуда не годятся. А я хотел довезти их до дома, показать друзьям.

— Извини, — бесцветным тоном проговорила Мари.

— Фу-ты ну-ты, черт бы его побрал! — Джозеф с сердитым видом смотрел внутрь пакета. — Где теперь такие найдешь? Нечего и надеяться!

Подул ветер. Улица была пуста. Джозеф хмуро разглядывал раскрошенные леденцы на дне кулька. Вокруг Мари бегали уличные тени; солнце освещало противоположную сторону улицы, нигде не видно было ни души. Весь мир отошел куда-то далеко, а они остались наедине друг с другом — за две тысячи миль от чего-либо, на улочке призрачного городка, за которым простиралась пустота — только голая пустыня, где в небе кружили ястребы. Кварталом дальше, высоко на крыше Оперного театра сверкали на солнце позолотой греческие статуи. Где-то в пивнушке из граммофона неслась надрывная мелодия «Ау, Marimba... corazon...»*, все эти чужие незнакомые слова уносил ветер.

* Сердце (*исп.*)

Джозеф скомкал кулек и раздраженно сунул его в карман.

Пора было возвращаться в гостиницу на ланч в половине третьего.

Сидя за столом с Мари, Джозеф молча всасывал с ложки альбондигасский суп. Раз два Мари отпускала веселые замечания о настенной росписи, но Джозеф, глядя на нее в упор, только молча прихлебывал суп. Сверток с порушенными черепами лежал на столе...

— *Señora...*

Смуглая рука убрала суповые тарелки. На столе появилось большое блюдо с энчиладами*.

Мари вгляделась в блюдо.

Энчилад было шестнадцать.

Мари взялась за нож и вилку, чтобы взять себе одну, однако вдруг замешкалась. Поместила нож и вилку по обеим сторонам своей тарелки. Окинула глазами расписанные стены, потом посмотрела на мужа, перевела взгляд на энчилады.

Шестнадцать. Одна к одной. Длинный ряд, плотно уложенный.

Мари принялась считать.

Одна, две, три, четыре, пять, шесть.

Джозеф взял одну энчиладу и положил в рот.

Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.

Мари опустила руки на колени.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Подсчет закончился.

— Я не хочу есть, — сказала Мари.

Джозеф положил перед собой еще одну энчиладу. Начинка была завернута в тонкую, как папирус, кукурузную лепешку. Лепешка была нежная. Джозеф поочередно разрезал их одну за другой и совал в рот. Ма-

* Блинчики с острой мясной начинкой

ри мысленно пережевывала энчилады вместе с Джозефом — крепко зажмутив глаза.

— Что с тобой? — спросил Джозеф.

— Ничего, — ответила Мари.

Оставалось еще тринадцать энчилад: они походили на крохотные тючки или свитки.

Джозеф съел еще пять.

— Я что-то неважно себя чувствую, — сказала Мари.

— Поешь — станет лучше.

— Не хочу.

Джозеф покончил с энчиладами, потом открыл кулек и вынул оттуда один из полураздавленных черепов.

— Может, не здесь? — спросила Мари.

— Почему бы нет? — Джозеф поднес к губам сахарную глазницу, откусил. — Неплохо, неплохо, — заметил он, распробовав. Кинул в рот еще кусочек черепа. — Совсем неплохо.

Мари взглянула на череп, который Джозеф жевал, увидела имя, на нем выведенное.

Мари.

Просто диво, как споро Мари помогла Джозефу упаковаться. В спортивной кинохронике показывают прыжки в воду: если прокрутить ленту назад, то прыгун мгновенно, описав в воздухе причудливую обратную дугу, благополучно вновь приземляется на трамплине. Вот и сейчас, на глазах у Джозефа, платья и костюмы по собственной воле влетали в баулы и чемоданы; шляпы, будто птицы, стрелой устремлялись в круглые яркие шляпные картонки; туфли и ботинки вереницей спешили по полу и, точно мыши, сами собой прыгали в саквояжи. Чемоданы с шумом захлопывались, щелкали замки, поворачивались ключи.

— Ну вот! — крикнула Мари. — Все готово!

— В рекордно короткое время, — добавил Джозеф. Мари двинулась к выходу.

— Погоди, я помогу, — сказал Джозеф.

— Да нет, мне не тяжело.

— Но не тебе же таскать тяжести. Ты сроду и не таскала. Я вызову посыльного.

— Чепуха! — Мари, с трудом волочившая за собой чемоданы, едва переводила дыхание.

За дверью мальчишка-посыльный перехватил у нее чемоданы:

— *Señora, por favor!**

— Мы ничего не забыли? — Джозеф заглянул под обе кровати, вышел на балкон, оглядел площадь, вернулся в номер, зашел в ванную, проверил шкафчик над умывальной раковиной. — Вот! — В руках он держал какой-то предмет. — Ты забыла свои часы.

— Неужели? — Мари торопливо надела их на руку и шагнула за дверь.

— Не знаю, не знаю... — проворчал Джозеф. — Какого черта нужно трогаться с места, когда вечер на носу?

— Сейчас только половина четвертого. Всего лишь половина четвертого.

— Не знаю, не знаю, — с сомнением повторил Джозеф.

Он еще раз напоследок оглядел комнату, вышел в коридор, захлопнул и запер дверь и спустился по лестнице, побрякивая ключами.

Мари ждала его уже в машине, удобно устроившись на сиденье: свернутое пальто лежало у нее на коленях, а руки в перчатках лежали сверху. Выйдя из гостиницы, Джозеф проверил вещи, сгруженные в багажник,

* Сеньора, будьте любезны! (исп.)

подошел к передней дверце и постучал пальцем в окошечко. Мари открыла дверцу, и Джозеф уселся за руль.

— Ну, наконец-то — в путь! — со смехом воскликнула Мари.

Щеки у нее разгорелись, глаза лихорадочно блестели. Она подалась вперед, словно этим движением могла заставить машину весело покатиться вниз по склону.

— Спасибо тебе, дорогой, что разрешил мне вернуть деньги, которые ты предварительно уплатил за наш номер. Уверена, что сегодня вечером в Гвадалахаре нам будет гораздо лучше, спасибо!

— Угу, — промычал Джозеф.

Он вставил ключ зажигания и нажал на стартер.

Мотор не завелся.

Джозеф снова надавил на стартер. Губы Мари болезненно дрогнули.

— Мотор надо прогреть, — заметила она. — Ночью было холодно.

Джозеф сделал еще одну попытку. Толку никакого.

Руки Мари бессильно упали на колени.

Джозеф пытался завести мотор еще шесть раз — безрезультатно.

— Так, — произнес он, откинувшись на спинку сиденья.

— Попробуй еще разок, сейчас заработает, — попросила Мари.

— Бесполезно. Там какая-то поломка.

— Ну же, попробуй еще разок.

Джозеф попробовал.

— Мотор заведется, я уверена, — настаивала Мари. — Зажигание включено?

— Зажигание включено. Да-да, включено!

— Не похоже, что оно включено.

— Включено, видишь? — Джозеф продемонстрировал ей это поворотом ключа.

— Ну так давай, пробуй.

— Пробуй, пробуй! — пробормотал Джозеф, когда по-прежнему ничего не вышло. — Я же тебе говорил.

— Ты не так это делаешь, еще немножко — и сейчас мотор бы завелся! — вскричала Мари.

— Посадим аккумулятор — и черта лысого его здесь достанешь!

— Ну и пускай. Я уверена, сейчас все получится!

— Раз ты такая умная, пробуй сама! — Джозеф выскочил из машины и указал Мари на водительское место. — Давай валяй.

Мари, закусив губу, уселась за руль. Руки ее двигались, будто совершая некий мистический ритуал, призванный одолеть силу притяжения и трения, а заодно одержать победу над всеми законами природы. Она изо всех сил надавила на стартер босоножкой. Мотор хранил торжественное молчание. Сквозь стиснутые зубы у Мари вырвался стон. Она вдавила стартер до упора, а когда задергала дроссельную заслонку, по салону распространился явственный запах.

— Ну вот, ты перезалила карбюратор! — воскликнул Джозеф. — Отлично! Давай-ка пересаживайся на свое место.

Джозеф подозревал трех мальчишек, и они принялись толкать машину под гору. Джозеф прыгнул на сиденье и взялся за руль. Машина резво, с дребезжанием, покатила, подпрыгивая на ухабах.

Лицо Мари засветилось ожиданием:

— Вот теперь-то она заведется!

Машина не завелась. Она мирно, слегка подсакивая на булыжниках, докатилась до заправочной станции у подножия холма и остановилась у бензоколонки.

Мари сидела молча, не говоря ни слова до тех пор, пока к ним не вышел служащий. Ее дверца была закрыта, стекло поднято, и ему пришлось подойти с другой стороны для того, чтобы обратиться с вопросами к супругу.

Механик оторвался от внутренностей мотора, хмуро поглядел на Джозефа, и они негромко заговорили по-испански.

Мари опустила стекло и прислушалась.

— Что он говорит?

Мужчины продолжали совещаться.

— Что он говорит? — настойчиво повторила Мари.

Смуглый механик показывал на мотор, Джозеф кивал, и беседа продолжалась.

— Что там такое? — не унималась Мари.

Джозеф недовольно бросил:

— погоди минуточку, ладно? Я не могу слушать вас обоих сразу.

— Что там не так?

— Мотор...

Механик взял Джозефа под локоть. Переговоры затягивались.

— Что он тебе говорит?

— Он говорит, что... — начал было Джозеф, но мексиканец подвел его к открытому капоту, и оба над ним наклонились, изучая обнаруженную неполадку.

— Сколько это будет стоить? — выкрикнула Мари им в спины, высунувшись из окошечка.

Механик что-то сказал Джозефу.

— Пятьдесят пять песо, — перевел Джозеф.

— Сколько времени это займет? — спросила Мари.

Джозеф обратился с вопросом к механику. Тот пожал плечами, и оба минут пять о чем-то спорили.

— Сколько времени это займет? — крикнула Мари. Обсуждение возобновилось.

Солнце клонилось к закату. Мари смотрела, как оно освещает верхушки деревьев за стеной кладбища. Тени постепенно росли, пока вся долина не потемнела, и только небо оставалось чистым и нетронутым, сохраняя голубизну.

— Два дня. А может, и три, — сказал Джозеф, повернувшись к Мари.

— Два дня! А нельзя починить машину так, на скорую руку, чтобы мы смогли отправиться прямо сейчас в другой город, а там нам доделают остальное?

Джозеф задал вопрос механику, тот ответил.

Джозеф обратился к жене:

— Нет, он должен сделать всю работу сам.

— Но это же глупо, глупо, ничего он не должен, ему вовсе незачем делать всю работу одному, объясни ему это, Джо, скажи, пусть он поторопится и закончит ремонт...

Ее не слушали. У них снова завязался обстоятельный разговор.

На этот раз все происходило с черепашьей скоростью. Распаковкой своего чемодана Джозеф занялся сам, Мари оставила свой у двери.

— Мне ничего не понадобится, — объяснила она, почему не стала его отпирать.

— А ночная сорочка?

— Посплю голой.

— Послушай, я ведь тут совсем ни при чем. Это всё проклятый мотор.

— Спустись к ним попозже и проследи, как там идет работа.

Сказав это, Мари села на край кровати. Номер был другим. Мари отказалась возвращаться в старый. Заявила, что не выдержит. Потребовала новое помещение, и могло показаться, что они вселились в другую гостиницу, в другом городе. Отсюда открывался вид на грязный переулок и на трубы канализации — не то что в прежнем: на площадь с деревьями в форме шляпных коробок.

— Сойди вниз и понаблюдай за работой, Джо. Если их не контролировать, они не одну неделю провозятся, ты же знаешь! — Мари вскинула глаза на Джозефа. — Тебе надо быть сейчас там, а ты тут торчишь.

— Я схожу, — отозвался Джозеф.

— И я с тобой. Хочу купить кое-какие журналы.

— Американские журналы в таком городке ты вряд ли сыщешь.

— А что, даже и поискать нельзя?

— К тому же денег у нас в обрез, — продолжал Джозеф. — Не хочется телеграфировать в банк.хлопот не оберешься, и времени уходит целая прорва.

— Но на журналы-то денег хватит?

— На парочку хватит.

— Сколько захочу — столько и куплю! — возбужденно выпалила Мари, не вставая с кровати.

— Господи, да у тебя в машине их там миллион. «Пост», «Колльерс», «Меркьюри», «Атлантик мансли», «Барнаби», «Супермен» — целая куча. Ты и половины статей не осилила.

— Эти журналы старые, — возразила Мари. — Они старые. Я их просмотрела, а когда просмотришь, то уже...

— А ты попробуй не только просматривать, но и почитать, — едко бросил Джозеф.

Когда они спустились вниз и вышли на площадь, было уже темно.

— Дай мне несколько песо,— попросила Мари, и Джозеф сунул ей деньги.— И научи, как спрашивать журналы по-испански.

— *Quiero una publicacion Americano**,— не сбавляя шага, ответил Джозеф.

Мари с запинкой повторила эту фразу и рассмеялась:

— Спасибо.

Джозеф направился к автомастерской, а Мари повернула к ближайшей *Farmacia Botica***. С обложек всех журналов, выставленных на стендах, на нее глядели чужие, незнакомые иллюстрации, чужие, незнакомые надписи. Мари бегло окинула глазами заголовки и перевела взгляд на старика-продавца за прилавком.

— У вас есть американские журналы? — спросила она по-английски, затруднившись с произношением испанских слов.

Старик непонимающе уставился на нее.

— *Habla Engles?**** — спросила Мари.

— *No, señorita*****.

Мари попыталась вспомнить испанскую фразу.

— *Quiero...* нет, не так! — Она запнулась и начала снова: — *Americano...* э-э... жур-нал-ло?

— *Oh, no, señorita!*

Мари широко развела руками, потом сложила их на поясе, будто губы сомкнулись. Рот у нее открылся и закрылся. Внутренность лавочки перед ее глазами

* Мне нужно американское издание (исп.).

** Аптеке (исп.).

*** Вы говорите по-английски? (искаж. исп.)

**** Нет, сеньорита (англ., исп.).

словно задернули занавесой. Ее вдруг окружили люди — невысокие, пропеченные солнцем саманные люди, которым она ничего не могла сказать и не понимала ни слова из того, что они произносили. Она попала в город, жители которого ничего не могли ей сказать — и она не могла сказать им ни слова, разве только краснея от смущения и неловкости. И город окружала пустыня, простиравшаяся на многие мили, а дом был далеко-далеко, где-то в другой жизни.

Мари резко повернулась и торопливо вышла.

Во всех остальных лавочках ей попадались только такие журналы, на обложках которых были изображены то залитые кровью быки, то жертвы убийц, то приторно-слащавые священники. Но наконец-то, после долгих поисков, ей удалось напасть на три жалких номера «Пост»: разразившись счастливым смехом, она одарила продавца в этой лавочке щедрыми чаевыми.

Прижав обеими руками журналы к груди, Мари заторопилась по узкой дорожке, перепрыгнула через канаву, с мурлыканьем пробежала по улице, перескочила на другой тротуар, сделала еще одно антраша, улыбнулась про себя и быстрым шагом пошла вперед. Журналы она крепко прижимала к себе, глаза ее были полуприкрыты, она вдыхала отдававший углем воздух и чувствовала, как в ушах у нее шумит ветер.

Звездный свет позванивал блесками на позолоте греческих статуй — высоко на крыше Оперного театра. Мимо Мари прошаркал в темноте мужчина, удерживая на голове корзину с хлебом.

Мари, увидев мужчину с корзиной на голове, внезапно застыла на месте, улыбка пропала; руки, прижимавшие журналы к груди, разом ослабли. Она проводила мужчину взглядом: тот одной рукой бережно придерживал корзину, чтобы она не покачнулась. По-

ка Мари провожала его взглядом, журналы выскользнули у нее из рук и рассыпались по земле.

Поспешно собрав журналы, Мари бросилась к гостинице — и, взбегая по лестнице вверх, едва не споткнулась.

Мари сидела в номере. Журналы окружали ее со всех сторон, лежали справа и слева, возле ног на полу. Из них Мари построила для себя некий замок, защитившись крепостной стеной с опускной решеткой из слов, — в нем и затворилась. Это были те самые журналы, которые она без конца покупала и листала раньше, а по другую сторону барьера, внутри — у нее на коленях, лежали еще не раскрытыми три потрепанных экземпляра журнала «Пост» (хотя руки ее дрожали от нетерпеливого желания их развернуть и жадными глазами читать и перечитывать). Мари перевернула первую страницу. Она решила изучать все подряд, не пропуская ни строчки. Не пропускать ничего — ни единой запятой, ни одной пустячной заметки, вглядываться в каждую цветную иллюстрацию. Кроме того (это открытие заставило ее улыбнуться), в тех журналах, что лежали у нее под ногами, уйма рекламных объявлений и комиксов: прежде она оставляла их без внимания, а теперь, чуточку попозже, примется за эти кусочки вплотную.

Сегодня вечером она прочитает первый «Пост» — да, сегодняшней вечер посвятит первому, лакомому номеру. Будет смаковать страницу за страницей и завтра вечером, если завтрашний вечер тоже придется провести здесь. Но быть может, мотор заработает — и тогда по воздуху разнесется запах выхлопных газов, резиновые шины ровно зашелестят по шоссе, а ветер будет врываться в окно и трепать ее волосы. Но пред-

положим — всего лишь предположим, — что и завтра тоже придется переночевать здесь, в этой гостинице. Ну что из того: в запасе у нее есть еще два журнала — один на завтрашний вечер, а другой на послезавтрашний. Как ловко удалось ей расписать все это у себя в голове! Первую страницу Мари перевернула.

Перевернула вторую. Глаза ее бегали по строчкам, а пальцы, помимо воли, забрались под следующую и нетерпеливо по ней постукивали, готовясь ее перевернуть. На запястье у Мари тикали часы, время шло, а она так и сидела, перелистывая страницу за страницей, жадно всматриваясь в фигуры людей на фотографиях. Людей, обитавших в другой стране, в другом мире — там, где неоновые вывески отважно теснили ночную тьму алыми полосами, где все запахи были по-домашнему привычными, а в разговорах звучали славные добрые слова. Она же сидит здесь, переворачивая страницы: строки прыгали перед глазами, страницы ворошились так быстро, что превращались в веер. Мари отбросила первый журнал, схватила второй и управилась с ним за полчаса. Отшвырнула и его, взялась за третий, но минут через пятнадцать и он полетел в сторону. Вдруг выяснилось, что дышит она судорожно и трудно, дрожа всем телом, хватая воздух ртом. Коснулась рукой затылка.

Откуда-то издалека веяло ветерком.

Волосы на затылке у Мари потихоньку встопорщились.

Бледной рукой она осторожно дотронулась до них, будто до необлетевшего одуванчика.

За окном, на площади, уличные фонари раскачивались подобно обезумевшим сигнальным огням. Газеты пробегали по канавам целыми стадами овец. Тени сходились в кружок и метались под шаткими светиль-

никами то туда, то сюда: на мгновение появлялась одна тень, потом другая; потом все тени исчезали, все заливалось холодным светом и снова меркло, зачерненное холодной голубоватой тенью. Фонари со скрипом раскачивались на своих высоких металлических скобах.

У Мари задрожали руки. Она воочию видела, как они дрожат. Задрожала и она сама — всем телом. Под броским и ярким узором самой кричащей, самой вызывающей юбки, специально надетой ею для сегодняшнего вечера, в которой она крутилась и выделяла шальные курбеты перед гробовидным зеркалом, под юбкой из искусственного шелка — ее тело было туго натянуто и трепетало проволоочной струной. Зубы у нее стучали, склеивались и снова колотились друг о дружку. Губы, слипаясь, размазывали помаду.

В дверь постучал Джозеф.

Они готовились ко сну. Джозеф пришел с известием, что машину уже чинят, но ремонт требует времени, и завтра он отправится понаблюдать, как идет дело.

— Только не стучи больше в дверь, — сказала Мари, раздеваясь перед зеркалом.

— Тогда не запирайся.

— Хочу, чтобы дверь была на замке. Но не надо в нее колотить. Просто скажи, что это ты.

— А что в этом такого — подумаешь, стукнул?

— Странно очень.

— Странно? О чем ты — не понимаю.

Мари не ответила. Она, подбоченившись, обнаженной смотрелась в зеркало. Грудь, бедра, все тело двигалось, было живым: она ощущала под ногами прохладный пол, чувствовала кожей воздушное пространство

вокруг себя; груди отозвались бы на прикосновение, внутри живота не отдалось бы глухое эхо.

— Бога ради,— не выдержал Джозеф.— Хватит уже собой любоваться.— Он улегся в постель.— Чего ты там вытворяешь? С какой стати обхватила голову?

Он погасил свет.

Мари не могла заговорить с Джозефом: она не знала слов, которые знал он, и не понимала ничего из того, что он говорил. Поэтому она подошла к своей постели, нырнула в нее, а Джозеф лежал в своей, повернувшись к жене спиной. Он будто бы тоже был из числа пропеченных солнцем жителей этого города, а сам город находился где-то далеко-далеко — наверное, на Луне, а планета Земля находилась невесть где, за много световых лет, и добираться туда надо было звездолетом. Если бы только они могли тогда заговорить друг с другом, какой прекрасной стала бы ночь, как легко стало бы дышать, как свободно потекла бы у Мари кровь по сосудам на лодыжках, на запястьях, под мышками! Но ни слова не было произнесено, и ночь состояла из десяти тысяч секунд, отмеряемых тиканьем часов; десять тысяч раз переворачивалась Мари под одеялом, пахнувшим блевотиной; подушка накаляла ей щеку, будто крохотная белая печка, а чернота комнаты напоминала москитную сетку, заброшенную и на саму Мари. Если бы только они перебросились хотя бы словечком — пускай только одним. Но молчание не было нарушено, и вены на запястьях у Мари пульсировали без устали, а сердце, превратившись в мехи, непрерывно раздувало уголек страха, и этот уголек раскалялся до темно-рдяного пылания, вновь и вновь озаряя ее изнутри нездоровым огнем, на который она мысленно взирала, не в силах оторвать глаз. Легкие работали напряженно, без устали,

будто Мари была утопленницей и сама себе делала искусственное дыхание. Ко всему прочему, разгоряченное тело Мари обливалось потом: она накрепко завязла между тяжелыми простынями, подобно прихлопнутой и зажатой между белыми страницами солидного фолианта букашке — раздавленной и потому пахуче-влажной.

Пока тянулись так долгие полуночные часы, Мари начало представляться, будто она, как прежде, ребенок. Сердце ее неумолчно бухало, будто исступленный шаман неистово колотил в бубен, а когда этот гул немного стихал, медленно наплывали образы далекого детства — золотистые, точно бронза. Весь мир в те дни наполняло солнце: солнце играло бликами на зеленой листве, на спокойной воде, переливалось на светлых детских волосах. Карусель памяти являла воображению былые лица: они проплывали мимо одно за другим совсем близко и уносились в сторону; вдруг возникало новое лицо, слышался обрывок забытого разговора — и снова все это терялось, исчезало. Круг, еще круг — и еще круг... О, эта ночь тянулась бесконечно! Мари утешала себя тем, что завтра машина заведется непременно: ей чудился ровно тарахтящий мотор, мерещилось шуршание колес по дороге — и в темноте она не могла сдержать довольной улыбки. А что, если вдруг машина не заведется? От этой мысли Мари корчилась и ежилась в темноте, как клочок пылающей бумаги. Вся она превратилась в ничтожный комок — и осталось только неумолчное тиканье наручных часов: тик-так, тик-так, тик-так, и так без конца, и так без конца, до полного изнеможения...

Наступило утро. Мари взглянула на мужа: он, раскинувшись, спокойно спал на своей кровати. Она вяло поболтала рукой в прохладном пространстве между

кроватями. Всю ночь ее рука провисела в этом пустом холодном промежутке. Однажды Мари выбросила, простерла руку к Джозефу, однако расстояние было слишком большим — не намного, но все-таки, — и она не смогла до него дотянуться. Она быстро отдернула руку назад — надеясь, что он не услышал и не почувствовал ее безмолвного жеста.

Вот он, Джозеф, — лежит перед ней. Веки безмятежно опущены, ресницы мягко спутаны, будто переплетенные пальцы. Дышит так ровно, что грудная клетка вроде бы и не колышется. Как обычно, успел уже к утру высвободиться из пижамы. Грудь обнажена до пояса. Ноги прикрыты одеялом. Голова лежит на подушке, профиль выглядит задумчивым.

На подбородке пробилась легкая щетина.

Утренние лучи высветили глазные белки Мари. Только они и двигались в комнате, неспешно вращаясь и замирая, окидывая взглядом телосложение мужчины, лежавшего напротив.

На щеках и подбородке Джозефа явственно различался каждый волосок — и каждый был само совершенство. Крохотный зайчик, проникший между щотрами, уперся в его подбородок и четко обрисовывал, подобно зубчикам на валике музыкальной шкатулки, малейший волосок на лице.

Запястья Джозефа поросли курчавыми волосиками, каждый из них по отдельности — тоже само совершенство — отливал глянцевитой чернотой.

Волосы на голове лежали ровными прядями, гладкими до самых корней. Ушные раковины отличались точеной красотой. За чуть приоткрытыми губами виднелись зубы — прекрасные зубы.

— Джозеф! — пронзительно крикнула Мари. — Джозеф! — еще раз пронзительно крикнула она, в ужасе замолотив руками по воздуху.

«Бом! Бом! Бом!» — это загремел колокол крытого черепицей большого кафедрального собора, стоявшего на противоположной стороне улицы.

Голуби взмыли вверх белым бумажным вихрем, словно за окном разлетелось по сторонам множество журналов. Они описали над площадью спиралевидный круг. «Бом! Бом!» — продолжали греметь колокола. Засигналил гудок такси. Где-то далеко в переулке шарманка заиграла «Cielito Lindo»*.

Потом все стихло; слышно было только, как в умывальную раковину капает из крана вода.

Джозеф открыл глаза.

Жена сидела на кровати, не сводя с него взгляда.

— Мне показалось... — Джозеф зажмурился. — Да нет... — Он закрыл глаза и потрянул головой. — Это просто колокола звонят. — Он вздохнул. — Который теперь час?

— Не знаю. Нет, знаю — восемь часов.

— Силы небесные, — пробормотал Джозеф, переворачиваясь на другой бок. — Еще целых три часа можно поспать.

— Тебе пора вставать! — крикнула Мари.

— Не пора. Ты же знаешь, работу в гараже раньше десяти не начнут. Этих деятелей растормошить замахешься, так что успокойся.

— Нет, ты встанешь! — воскликнула Мари.

Джозеф слегка обернулся к ней. Солнце превратило черные волоски на его верхней губе в медные.

— Да с какой стати? С какой стати, черт побери, я должен вскакивать?

— Тебе нужно побриться! — почти что взвизгнула Мари.

* «Красавица моя» — букв. «небушко ясное» (*исп.*) — мексиканская народная песня.

Джозеф застонал:

— Значит, только потому, что мне нужно побриться, я должен вскочить как встрепанный ни свет ни заря — и броситься намыливать себе физиономию?

— Да, тебе это необходимо!

— Я не собираюсь бриться до тех пор, пока мы не окажемся в Техасе.

— Хочешь выглядеть как бродяга?

— Хочу и буду. Я брился каждое утро тридцать дней подряд, будь я проклят, повязывал галстук и отутюживал на брюках стрелку. А теперь — ни стрелки, ни галстука, ни бритья, ничего вообще.

Джозеф таким резким рывком натянул на себя одеяло, что оголил ноги.

Нога свешивалась с кровати, налитая в солнечных лучах теплой белизной, каждый отдельный черный волосок поражал совершенством.

Глаза Мари расширились, неотрывно прикованные к ноге Джозефа.

Она поднесла руку ко рту и крепко его зажала.

Джозеф весь день то выходил из гостиницы, то возвращался. Бриться не стал. Он слонялся по выложенной плиткой площади. Вышагивал так медленно, что Мари, смотревшей на него сверху, хотелось прикончить его на месте — взять и поразить молнией. Джозеф, под деревом, подстриженным наподобие шляпной коробки, остановился покалякать с гостиничным управляющим: стоит и водит носком ботинка по бледно-голубым плиткам. Закинув голову, наблюдает за птицами на деревьях, созерцает статуи на крыше театра, облаченные в свежую утреннюю позолоту. Вот задержался на углу — внимательно приглядеться к движению транспорта. Какое уж там движение транспорта!

Джозеф нарочно стоит на углу, нарочно тянет время — и даже ни разу не оглянется. Нет бы сорвался с места, ринулся сломя голову по переулку вниз с холма, забарабанил кулаками в дверь гаража, наорал на механиков, схватил их за шкурку и ткнул носом в мотор — нечего, мол, прохлаждаться!

Как же! Стоит себе и стоит, пялится на эту дурацкую проезжую часть. Вот мимо проковыляла свинья, проехал велосипедист, за ним «форд» 1927 года выпуска, прошли трое полуголых детишек. Ну же, иди, иди, беззвучно вопила Мари: у нее руки так и чесались выбить стекло.

Джозеф вразвалку двинулся по улице. Завернул за угол. На всем пути до гаража будет задерживаться у витрин, глазеть на вывески, изучать картины, вертеть в руках керамические фигурки. Кто знает, не зайдет ли глотнуть пивка. О господи, ну конечно же, еще и пивка.

Мари прошла по площади, погуляла на солнышке, поохотилась за новыми журналами. Вернулась в гостиницу и занялась ногтями — покрыла их лаком, приняла ванну, снова погуляла по площади, чуточку перекусила и опять вернулась в номер понасыщаться журналами.

В кровать она не ложилась. Ей было страшно. Всякий раз, оказавшись в постели, она впадала в полусон-полугрезу: беспомощно печальное воображение представляло ей все ее детские годы. Память наполнялась давними друзьями и детьми, которых она не видела и о ком не вспоминала целых двадцать лет. Начинала думать о том, что хотела сделать, но так и не сделала. Целых восемь лет после окончания колледжа собиралась навестить Лайлу Холридж, но почему-то так и не собралась. А какими подругами они были! Милая

Лайла! В постели Мари принималась думать о книгах — о тех замечательных новых и старых книгах, которые собиралась купить, но теперь уже никогда не купит и не прочтает. А она обожала книги, обожала их запах. Ей вспоминалось прошлое — сколько же там было грустных промашек. Всю жизнь она мечтала иметь у себя книги о стране Оз, да так их и не купила. А почему бы не купить? Жизнь-то еще не кончена! Первое, что она сделает по приезде в Нью-Йорк, — немедленно купит эти книги! И немедленно отправится навестить Лайлу! Свидится также с Бертом, и с Джимми, и с Хелен, и с Луизой! И поедет в Иллинойс побродить по родным местам, где прошло детство. Если только вернется в Штаты. Если. Сердце в груди у Мари болезненно заколотилось, замерло, переждало удар и забилось снова. *Если* она когда-нибудь вернется домой.

Мари лежала, придиричиво прислушиваясь к биению сердца.

Глухой удар — еще глухой удар — и еще один. Пауза. Глухой удар — еще глухой удар — и еще. Пауза.

Что, если сердце остановится прямо сейчас?

Вот!

В груди у нее — тишина.

— Джозеф!

Мари вскочила. Схватила за грудь — стиснуть, сжать, снова заставить работать умолкшее сердце!

Сердце раскрылось внутри, затворилось, загрохотало и сделало двадцать нервных, стремительных ударов, похожих на выстрелы!

Мари упала на постель. Что, если сердце снова остановится и больше уже не забьется? Что тогда? Что предпринять? Она умрет от испуга, вот и все. Не смешно ли? Умереть от страха, услышав, что сердце останови-

лось. Глупости. Она должна прислушиваться к его биению, не давать ему замереть. Ведь надо вернуться домой, повидаться с Лайлой, закупить книг, снова потанцевать, погулять в Центральном парке и... надо прислушаться...

Глухой удар — еще глухой удар — и еще один. Тишина.

Джозеф постучал в дверь. Джозеф постучал в дверь, а машина не была отремонтирована, и предстояла еще одна ночь. Джозеф так и не побрился, и каждый волосок у него на подбородке красовался по отдельности — один совершеннее другого, а лавочки, где продаются журналы, были закрыты, и журналов там больше не осталось, и они поужинали (так, отщипнула кусочек), и Джозеф вышел вечером прогуляться по городу.

Мари снова сидела в кресле — и волосы у нее на затылке медленно вздымались, словно по ним проводили магнитом. Мари чувствовала себя очень слабой — не могла шевельнуться и встать, тела она лишилась: вся она состояла из биения сердца и чудовищной пульсации тепла и боли, заключенной в четырех стенах. Пылающие веки ее набрякли, словно вынашивали плод, — за ними пряталось дитя ужаса.

Глубоко внутри себя Мари ощутила, как один из крохотных зубцов соскочил с резьбы. А впереди еще ночь, подумалось ей, и еще одна, и еще. И каждая продлится дольше вчерашней. Соскочил с резьбы первый зубец, маятник впервые пропустил удар. Но за первым зубцом последует и второй, и третий — все они взаимосвязаны. Зубцы сплетены между собой: маленький с другим — чуть побольше; этот, который чуть побольше, — с большим, большой — с огромным, огромный — с таким, что еще огромней; тот, что еще огромней, —

с громадным, громадный — с колоссальным, колоссальный — с необъятным...

Алая жилка — не толще красной нити, натянулась и затрепетала, нерв — тоньше волокна в красной льняной ткани — задрожал, извиваясь. Глубоко внутри у нее застопорилась крохотная деталь механизма — и вся машина, разладившись, была готова вот-вот неминуемо развалиться на части.

Мари поломке не противилась. Согласилась, что ее сотрясает ужас, что на лбу проступают крупные капли пота, что позвоночник сверху донизу пронизывает боль, что рот наполняется отвратным вином. Она чувствовала себя испорченным гирокомпасом, стрелка которого металась то в одну сторону, то в другую, путалась, дрожала и жалобно хныкала. Краска схлынула с ее лица, как потухает свет в выключенной электрической лампочке, а на стеклянных щеках погасшего резервуара проступают обесцвеченные нити и волоски накала...

Джозеф был здесь, в номере, он давно уже вошел, но как — Мари даже не слышала. Он был здесь, в номере, но разницы никакой это не внесло, его приход ничего не изменил. Джозеф готовился ко сну и расхаживал по номеру, не говоря ни слова, и Мари тоже не говорила ни слова, а только рухнула в постель, пока он перемещался в наполненном табачным дымом пространстве и однажды заговорил с ней, но она его не услышала.

Мари следила за временем. Каждые пять минут взглядывала на часы, часы содрогались, и содрогалось время, а пять пальцев превращались в пятнадцать — колыхаясь и вновь преобразуясь в пять. Дрожь не утихла. Мари попросила воды. Она не находила себе места в постели. За окном дул ветер, скособоочивая фона-

ри и расплескивая брызги иллюминации; они исподтишка наносили зданиям боковые удары — и тогда окна загорались, будто широко распахнутые глаза, которые тут же закрывались, если свет устремлялся в другом направлении. На нижнем этаже гостиницы после ужина стояла тишина, в их безмолвный номер не проникали никакие звуки.

Джозеф подал Мари стакан воды.

— У меня бледное лицо, Джозеф, — сказала Мари, зарывшись в складки одеяла.

— Нормальное, — ответил он.

— Нет, не нормальное. Я плохо себя чувствую. И мне страшно.

— Бояться нечего.

— Я хочу поехать в Штаты поездом.

— Поезд идет из Леона, а здесь железной дороги нет, — ответил Джозеф, закуривая очередную сигарету.

— Давай поедem туда на машине.

— Возьмем здесь такси со здешним водителем, а свою машину бросим?

— Да. Я хочу уехать.

— Утром ты совсем поправишься.

— Нет. Нет, не поправлюсь.

— Поправишься.

— Я знаю, что не поправлюсь. Я плохо себя чувствую.

— Переправка нашей машины обойдется не в одну сотню долларов, — заметил Джозеф.

— Не важно. У меня на счету лежит двести долларов. Я заплачу. Пожалуйста, давай поедem домой.

— Завтра выглянет солнышко — и тебе станет лучше. Это у тебя все оттого, что стемнело.

— Да, солнце зашло и ветер сильный, — прошептала Мари, закрывая глаза, повернув голову и при-

слушиваясь. — О, какой одинокий ветер. Мексика — непонятная страна. Сплошь то заросли, то пустыня или безлюдные пустыри. Там и сям небольшой городок, вроде этого, с редкими фонарями, которые можно погасить одним щелчком пальцев...

— Мексика — довольно большая страна, — возразил Джозеф.

— Разве здешним жителям не бывает одиноко?

— Они привыкли к такой жизни.

— Выходит, страха они не испытывают?

— У них есть вера.

— Как жаль, что у меня ее нет.

— Если ты примешь веру, то перестанешь думать, — сказал Джозеф. — Стоит слишком глубоко во что-то поверить, и места для свежих идей уже не останется.

— Сейчас, — еле слышно проговорила Мари, — мне больше всего именно этого и хотелось бы. Не надо мне места ни для каких свежих идей, хорошо бы просто перестать думать — и поверить во что-нибудь настолько сильно, чтобы некогда было бояться.

— А ты разве чего-то боишься?

— Если бы у меня была вера, — продолжала Мари, не слушая Джозефа, — у меня был бы рычаг, чтобы себя приподнять. Но сейчас у меня рычага нет — и я не знаю, как себя приподнять.

— О господи... — промычал Джозеф, усаживаясь на стул.

— Когда-то я была верующей.

— Баптисткой?

— Нет, тогда мне было лет двенадцать. Но это в прошлом. Хочу сказать о том, что было дальше.

— Ты мне никогда об этом не рассказывала.

— Ты должен был бы знать.

— Что еще за вера? Гипсовые статуи святых в ризнице? Или какой-нибудь особый святой, перед которым надо читать молитвы по четкам?

— Да.

— И он откликнулся на твои молитвы?

— На некоторые. А потом — нет, никогда. Больше ни разу. Уже годы прошли. Но я все еще молюсь.

— И что это за святой?

— Святой Иосиф.

— Святой Иосиф. — Джозеф встал и налил себе в стакан воды из графина. В тишине комнаты слышно было, как лилась одинокая струйка. — Мы с ним тезки.

— Совпадение, — проговорила Мари.

Оба минуту-другую смотрели друг на друга.

Джозеф отвел глаза.

— Гипсовые статуи святых, — пробормотал он, глотнув воды.

Спустя некоторое время Мари его окликнула:

— Джозеф?

— Да.

— Подойди ко мне и возьми меня за руку, ладно?

— Ох уж эти женщины, — со вздохом произнес Джозеф.

Он подошел и взял Мари за руку. Через минуту Мари высвободила руку и спрятала ее под одеяло. Рука Джозефа осталась пустой. Закрыв глаза, дрожащим голосом она проговорила:

— Ладно, забудь. Когда воображаешь, получается лучше, правда. Когда мысленно по моей воле ты держишь мою руку в своей.

— Бог ты мой, — сказал Джозеф и направился в ванную.

Мари выключила свет. В темноте видна была только узкая полоска света под дверью ванной. Мари при-

слушалась к сердцу. Оно билось упорно с частотой сто пятьдесят ударов в минуту, а ее костный мозг по-прежнему пронизывала мелкая жалобная дрожь, словно в полости каждой кости ее тела была заключена, как в бутылке, трупная муха, которая ныряла вверх-вниз, жужжала, билась и трепетала где-то глубоко, глубоко, глубоко. Взор Мари обратился вовнутрь себя: там при-таилось ее сердце, разбивающее себя вдребезги о грудную клетку.

В ванной шумела вода. Мари слышала, как Джозеф чистит зубы.

— Джозеф!

— Да? — отозвался он из-за закрытой двери.

— Подойди сюда.

— Чего тебе?

— Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Ну прошу тебя, прошу, пожалуйста.

— Что еще?

— Сначала открой дверь.

— Ну что там такое? — настойчиво переспросил Джозеф за закрытой дверью.

— Пообещай мне... — начала Мари и запнулась.

— Пообещать что? — после долгой паузы переспросил Джозеф.

— Пообещай... — повторила Мари и не смогла продолжить.

Она лежала на кровати. Джозеф не ответил. Мари слушала, как наручные часы и ее сердце бьются в унисон. На наружной стене гостиницы скрипел под напором ветра фонарь.

— Пообещай мне, если что-нибудь... случится... — Слова Мари, приглушенные и немощные, доносились до нее самой издали, как если бы она разговаривала с Джозефом, стоя на вершине одного из холмов, окру-

жавших город.— Если со мной что-нибудь случится, ты не похоронишь меня на этом ужасном подземном кладбище!

— Не говори глупостей,— сказал Джозеф за дверью.

— Ты мне обещаешь? — переспросила Мари с широко раскрытыми в темноте глазами.

— О таких глупостях незачем и говорить.

— Пообещай мне — пожалуйста!

— Утром ты встанешь как ни в чем не бывало.

— Пообещай, иначе я не усну. Усну, если только ты мне скажешь, что не дашь меня там похоронить. Я не хочу, чтобы меня там похоронили.

— Ну вот, приехали! — взорвался Джозеф.

— Пожалуйста! — повторила Мари.

— Да с какой стати я должен раздавать всякие нелепые обещания? — раздраженно спросил Джозеф.— Завтра ты придешь в норму. Но если все-таки померешь, то будешь очень мило смотреться между мистером Гримасой и мистером Зевком, с вьонком в волосах.— Джозеф от души расхохотался.

Наступило молчание. Мари недвижно лежала в темноте.

— А ты разве не считаешь, что будешь очень мило выглядеть? — со смехом спросил Джозеф из-за двери.

Лежа в темноте, Мари не отозвалась.

— Правда не считаешь?

Кто-то, чуть слышно ступая, прошел по площади, шаги замерли.

— Ну и как? — спросил Джозеф, продолжая чистить зубы.

Мари лежала в постели, недвижно уставившись в потолок; грудь у нее вздымалась и опадала все чаще и чаще, воздух входил и выходил, втягивался через ноздри и улетучивался, из закушенных губ вытекала

тоненькая струйка крови. Глаза у Мари были широко распахнуты, руки вслепую стискивали простыню.

— Ну и как? — снова поинтересовался Джозеф из-за двери.

Мари молчала.

— Еще как мило, — ответил Джозеф сам себе. — Милей некуда, — пробормотал он, с шумом пустив струю воды. Он прополоскал рот. — Еще как мило.

С кровати не донеслось ни звука.

— Женщины такие забавные, — обратился Джозеф к своему отражению в зеркале.

Мари лежала недвижно.

— Еще как мило, — повторил Джозеф. Он громко прополоскал горло каким-то антисептиком и сплюнул его в раковину. — Завтра ты придешь в норму.

От Мари — ни слова.

— Нашу машину починят.

Мари не отозвалась.

— Утро покажет, — сказал Джозеф, отвинчивая пробки с тюбиков и накладывая на лицо освежающий крем. — Машина, скорее всего, будет готова завтра — самое позднее, послезавтра. Ты не против, если мы здесь еще одну ночь переночуем?

Мари не ответила.

— Не против?

Молчание.

Полоска света под дверью ванной погасла.

— Мари!

Джозеф распахнул дверь.

— Спишь?

Мари лежала с широко раскрытыми глазами, грудь у нее ходила ходуном.

— Спит, — сказал Джозеф. — Ну, женушка, спокойной ночи.

Он забрался в постель.

— Устала.

Ответа не последовало.

— Устала, — повторил Джозеф.

Ветер за окном раскачивал фонари; в прямоугольном номере было темно до черноты. Джозефа начинала одолевать дремота.

Мари лежала с широко раскрытыми глазами, часы тикали на ее запястье, грудь ходила ходуном.

Это был прекрасный день: солнце вступало в тропик Рака. Автомобиль катил по боковой дороге, выбираясь из покрытой зарослями местности на пути в Соединенные Штаты, мирно гудел посреди зеленых холмов, сворачивая на каждом повороте и оставляя за собой слабый, тотчас исчезающий в воздухе след выхлопных газов. Внутри сияющего автомобиля за рулем сидел Джозеф в шляпе-панаме. Его розовое лицо светилося здоровьем, небольшой фотоаппарат притулился у него на коленях. Левый рукав его желтовато-коричневого пиджака, выше локтя, охватывала повязка из черного шелка. Обозревая мелькавшую за окошечком местность, он рассеянно махнул рукой в сторону соседнего сиденья, но тут же спохватился. Он сконфуженно улыбнулся и снова устремил взгляд в окошечко, мурлыкая себе под нос нескладную мелодию. Протянул правую руку и коснулся сиденья рядом с собой...

Оно было пусто.

Последний неизвестный.

Послесловие

*

Клайв Баркер

Иногда, чтобы не сказать «часто», гений проявляет себя в мелочах, таких как миниатюрные шедевры Гойи (рассказывали, что на их создание уходило по полдня), или яйца Фаберже (где каждая блестящая деталь — совершенство), или мастерская короткая проза крупнейшего из ныне живущих американских авторов в жанре «темной фантастики», Рэя Брэдли.

Вы держите сейчас в руках любовно воспроизведенный первый сборник рассказов Брэдли — в таком виде он не выходил уже более полувека. Это не означает, что данные рассказы не были доступны читателям — большая их часть переиздавалась; однако первый образчик характерного для Брэдли смешения фантазий — светлых, солнечных с мрачными, сумеречными — представляет особый интерес для читателя, желающего понять, как действует человеческое воображение.

По большей части Рэй вроде бы описывает реальный мир, на самом же деле он его слегка преображает — и собственная страна Рэя Брэдли обогатилась еще одним полуостровом. Он не один такой мастер в пантеоне, который я для себя собираю. Другой выдающийся творец миров — Уильям Блейк, и, хотя великий английский поэт-мистик и художник мыслил

и фантазировал совсем не так, как Брэдбери, я ставлю их рядом, поскольку открыл их для себя в одно и то же время. В юности я смотрел на них обоих как на путеводные звезды; их проза и стихи открывали мне доступ в миры беспредельного воображения — миры уникальные и неповторимые. Блейк, разумеется, никогда не ограничивал себя одним словом, когда можно было употребить тысячу; его книги пророчеств — это шедевры усложненности, спиральный перечень тайных священных миров Блейка. Зачастую их бывает трудно расшифровать; местами они представляются нарочито туманными, словно Уильям Б. сознательно прятал от тебя свои исключительно плотные умственные процессы. Рэй Б., напротив, предоставляет читателю все необходимое, чтобы тот получил удовольствие от чтения. Однако не обольщайтесь. При первом прочтении получаешь удовольствие от красоты и занимательности рассказа, но проникнуть до конца в замысел автора, как правило, не удастся. Сборник прочитан и отложен в сторону, а истории эти (необычно пестрая подборка: иные поэтичные и затейливые, иные хороши именно своей простотой) будут вспоминаться еще долго.

Помню, когда я только познакомился с творчеством Брэдбери, я немало вечеров блаженно изучал его рассказы едва ли не под лупой, стараясь понять, как он делает то, что делает. Не случайно получилось так, что именно в эти вечера я впервые ощутил свое жизненное призвание. Несомненно, я и без его путеводительства нашел бы в конце концов дорогу к своему литературному Самарканду, однако его пример, само его присутствие в этом мире послужили мне мощным стимулом. Меня необычайно вдохновляла мысль, что, как

он увлек меня в миры пугающие и невероятные, так, быть может, и я сумею когда-нибудь увлечь своих читателей. В последующие тридцать лет случалось неоднократно, что моя творческая энергия иссякала и на обнаженном после отлива дне не обнаруживалось ничего, кроме остовов затхлых идей, и тогда, бывало, я пересматривал книги Брэдбери, черпая в них вдохновение, чтобы снова взяться за перо.

Одно из больших преимуществ фантастики заключается в том, что, по сравнению с литературой, основанной на актуальности, она не так устаревает. Прошло полвека, и мы до сих пор читаем Рэя, тогда как многие его современники, заслужившие в свое время больше отзывов и считавшиеся более значительными авторами, исчезли с книжных полок. Несомненно, такая долговечность имеет и свою оборотную сторону. Иные из литературных приемов Рэя кажутся на современный взгляд утрированными, однако, по правде, Рэя нельзя отделить от его излишеств. Они составляют неотъемлемую часть его как автора. То, что в ином контексте можно было бы назвать витиеватостью, является всего лишь элементом методологии Рэя. Он упивается перезрелыми плодами; его язык зачастую привлекателен именно своей сгущенностью, как язык Китса или Джерарда Мэнли Хопкинса* (которые также не чурались излишеств). В конце концов, какое это имеет значение? Подобные суждения неспособны ни приумножить, ни умалить заслуги всех, кто упомянут выше. Выбирая слова, максимально действующие на вкус и душу, Брэдбери так ярко воспроиз-

* Джон Китс (1795–1821) — английский поэт-романтик. Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) — английский поэт, практически не замеченный при жизни и заново открытый через 30 лет после смерти.

водит как существующую, так и иную реальность, что она прочно впечатывается в воображение читателя. Этой, наряду с другими, причиной я объясняю то, что, по моему мнению, не существует ни одной достойной экранизации сочинений Брэдли; многие рассказы из данного сборника стали эпизодами сериала «Театр Рэя Брэдли», но в телефильмах отсутствовало нечто важное, а именно — его восхитительная проза.

Давайте уясним для себя: когда нас тянет раскрыть какое-нибудь из сочинений Рэя Брэдли, нам нужно не что иное, как его голос. Он — как один из наших домочадцев, горячо любимый, только слегка «того», и мы восхищаемся его приключениями на границе нашей реальности, по соседству с Марсом, Хеллоуином и Днем мертвецов.

И наконец, рассуждая о творчестве Рэя Брэдли, нельзя обойти молчанием еще один персонаж — тот, который неотступно преследует писателя, мучая его и вдохновляя. Я говорю, конечно, о жнеце с косой — о Смерти. Писатель повествует о бренности всего сущего с силой чарующей, но нередко рвущей сердце. Последние дни лета, нисходящий тон осени, минута, когда навсегда теряется чистота детства. Иногда у него звучит нота сентиментальности, но, как правило, она не бывает неуместной. Собственно, чем старше я становлюсь, тем больше ценю умение Брэдли создавать неопределенность: мгновенно превращать горе в удовольствие, даровать миг спокойствия перед встречей с конечной неизвестностью.

Говоря короче, перед нами писатель, заслуживший место в истории американской литературы, и началом его долгого восхождения к высотам славы стала

книга, которую вы держите в руках. Вот вам еще одна причина, чтобы ценить эти рассказы.

Главная же причина проста: спустя полвека эти рассказы нисколько не утратили своей волшебной силы. Спасибо таланту Брэдбери, создавшему мир своеобразный и неповторимый, спасибо нашей удаче, позволившей нам войти с ним в этот мир.

27 июля 2001

Содержание

<i>Донн Олбрайт. Заметки издателя. (Перевод Л. Бриловой)</i>	7
<i>Благодарности. (Перевод Л. Бриловой)</i>	9
<i>Джонатан Эллер. Темный карнавал. История. (Перевод Л. Бриловой)</i>	10
<i>Рэй Брэдбери. Возвращение на Темный карнавал. (Перевод Л. Бриловой)</i>	24

ТЕМНЫЙ КАРНАВАЛ

<i>Возвращение. (Перевод Л. Бриловой)</i>	37
<i>Скелет. (Перевод Л. Бриловой)</i>	63
<i>Банка. (Перевод Л. Бриловой)</i>	87
<i>Озеро. (Перевод Л. Бриловой)</i>	108
<i>Дева. (Перевод Л. Бриловой)</i>	117
<i>Надгробный камень. (Перевод Л. Бриловой)</i>	119
<i>Когда семейство улыбается. (Перевод Л. Бриловой)</i>	129
<i>Гонец. (Перевод С. Сухарева)</i>	143
<i>Страница. (Перевод С. Сухарева)</i>	155
<i>Крошка-убийца. (Перевод С. Сухарева)</i>	178
<i>Толпа. (Перевод С. Сухарева)</i>	208
<i>Воссоединение. (Перевод Л. Бриловой)</i>	223

Кукольник. (Перевод С. Сухарева)	234
Гроб (Поминки по живым). (Перевод Л. Бриловой)	250
Срок. (Перевод Л. Бриловой)	262
Попрыгунчик. (Перевод Л. Бриловой)	265
Коса. (Перевод Л. Бриловой)	289
Поиграем в «отраву». (Перевод Л. Бриловой)	309
Дядюшка Эйнар. (Перевод Л. Бриловой)	317
Ветер. (Перевод Л. Бриловой)	330
Ночь. (Перевод Л. Бриловой)	344
Жила-была старушка. (Перевод Л. Бриловой)	355
Мертвец. (Перевод Л. Бриловой)	375
Постоялец со второго этажа. (Перевод Л. Бриловой)	391
Задники. (Перевод Л. Бриловой)	413
Водосток. (Перевод С. Сухарева)	416
Следующий. (Перевод С. Сухарева)	431
 <i>Клайв Баркер. Последний неизвестный.</i>	
Послесловие. (Перевод Л. Бриловой)	485

Литературно-художественное издание

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Рэй Брэдбери

ТЕМНЫЙ КАРНАВАЛ

Ответственный редактор *А. Гузман*
Художественный редактор *А. Стариков*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *В. Сергеев*
Корректоры *Н. Тюрина, В. Дроздова*

В оформлении использован рисунок *Виталия Аникина*

ООО «Издательский дом «Домино».
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60.
Тел. (812) 272-99-39. E-mail: dominospb@hotmail.ru

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 12.11.2010. Формат 84х108 1/32.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,04.
Тираж 4 000 экз. Заказ 475

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



ISBN 978-5-699-45738-0



9 785699 457380 >

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо», 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо»
зарубежными оптовыми покупателями**
обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: International@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
International@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,**
обращаться по тел. 411-68-59, доб. 2115, 2117, 2118.
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**
Компания «Канц-Эксмо»: 142700, Московская обл., Ленинский р-н,
г. Видное-2, Белокаменное ш., д. 1, а/я 5.
Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс (044) 495-79-80/81.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс: (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12.
Тел.: 937-85-81, 780-58-81.

Волгоградский пр-т, д. 78. Тел. 177-22-11;
ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

ДЖЕЙМС РОЛЛИНС

АВТОР МИРОВЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ЖАНРА

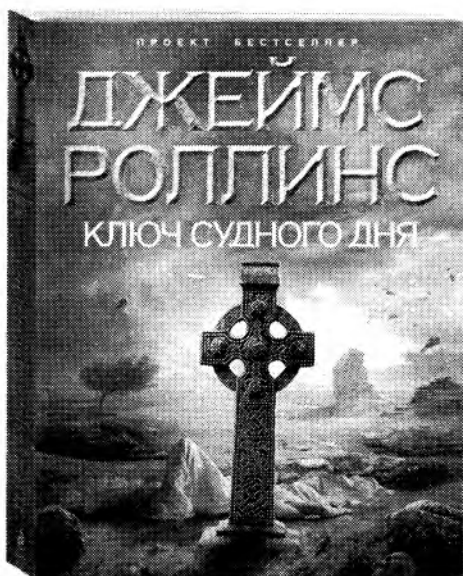
В России уже продано свыше 700 000 экземпляров книг
Джеймса Роллинса

*Джеймс Роллинс безусловно и заслуженно удерживает
первенство в остросюжетном жанре.*

Publishers Weekly

*Роллинс рассказывает нам фантастическую и захватывающую
приключенческую историю.*

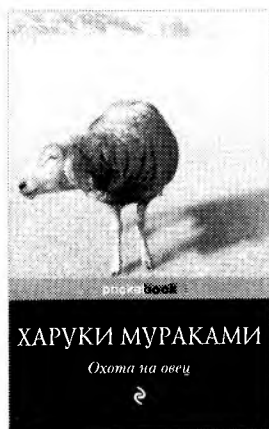
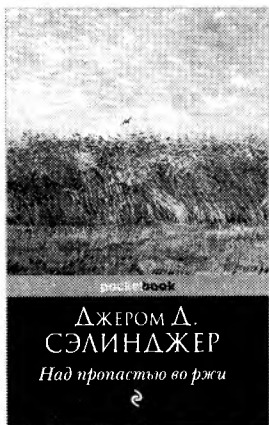
Booklist



В СЕРИИ ВЫШЛИ:
Последний оракул
Пирамида
Бездна
Печать Иуды
Песчаный дьявол
Черный орден
Айсберг
Амазония
Кости волхвов
Пещера

РАСКРЫТЬ ДРЕВНЮЮ ТАЙНУ И СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

www.eksmo.ru



- Уже более
100 наименований
- Суммарно по серии
продано более
1 миллиона книг
- Более 5 миллионов
читателей по всей
России, а также в
странах ближнего
зарубежья

АВТОРЫ СЕРИИ:
ИЭН МАКБЮЭН, ВИКТОР ПЕЛЕВИН, ЭНН РАЙС
АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ И ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИКИ

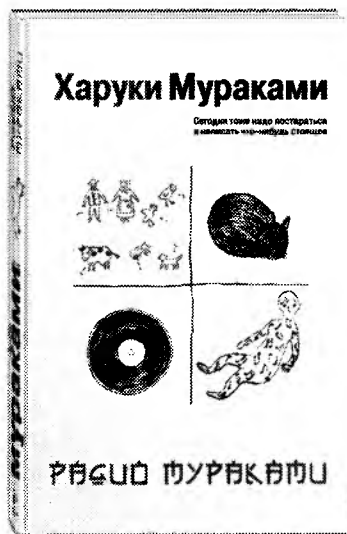
книги,
которые хочется читать!

Харуки МУРАКАМИ

**КОЛЛЕКЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
от легенды современной литературы**

**За последние 6 лет в России продано
более 3 000 000 экземпляров книг Харуки Мураками**

Уникальность таланта Харуки Мураками состоит в том, что его мировая известность даже выше, чем та невероятная популярность, которую он снискал у себя на родине, в Японии. В нашей стране Мураками-мания началась десять лет назад, и все его книги, выходявшие на русском, стали национальными бестселлерами. Воистину, если бы Мураками не существовало, его стоило бы придумать. Так же, как он придумывает свои невероятные сюжеты, всякий раз создавая изысканную притчу/сказку/реальность...



В СЕРИИ ВЫШЛИ:

Счетлячок и другие рассказы
Токийские легенды
TV-люди
Мой любимый sputnik
Норвежский лес
Страна Чудес без тормозов и Конец Света
Кафка на пляже
Хроники Заводной Птицы
Слушай песню ветра. Пинбол 1973
К югу от границы, на запад от солнца
Послепрак
Подземка
Охота на овец
Призраки Лексингтона
Хороший день для кенгуру

МУРАКАМИ-мания продолжается!

www.eksmo.ru

RAY BRADBURY

DARK CARNIVAL



Вы держите сейчас в руках любовно воспроизведенный первый сборник рассказов Брэдбери — в таком виде он не выходил уже более полувека. Первый образчик характерного для Брэдбери смешения фантазий — светлых, солнечных с мрачными, сумеречными — представляет особый интерес для читателя, желающего понять, как действует человеческое воображение.

Выбирая слова, максимально действующие на вкус и душу, Брэдбери так ярко воспроизводит как существующую, так и иную реальность, что она прочно впечатывается в воображение читателя.

Говоря короче, перед нами писатель, заслуживший место в истории американской литературы, и началом его долгого восхождения к высотам славы стала книга, которую вы держите в руках. Вот вам еще одна причина, чтобы ценить эти рассказы.

Главная же причина проста: спустя полвека эти рассказы нисколько не утратили своей волшебной силы. Спасибо таланту Брэдбери, создавшему мир своеобразный и неповторимый, спасибо нашей удаче, позволившей нам войти с ним в этот мир.

*Клайв Баркер
(2001)*

ISBN 978-5-699-45738-0



9 785699 457380 >


ЭКСМО